

ОПТИНСКИЙ АЛЬМАНАХ

Оптина Пустынь и русская культура

Сборник

*К 200-летию со дня рождения и к 150-летию со дня
кончины Ивана Васильевича Киреевского (1806–1856)*



Введенский ставропигиальный
мужской монастырь Оптиная Пустынь

2008

*Разрешено к печати Издательским
Советом Русской Православной Церкви*

Составители:

монах Лазарь (Афанасьев)

Владимир Воропаев (доктор филологических наук, профессор МГУ)

«Существеннее всяких книг и всякого мышления — найти святого православного старца, который бы мог быть твоим руководителем, которому ты мог бы сообщать каждую мысль свою и слышать о ней не его мнение, более или менее умное, но суждение святых отцов. Такие старцы, благодаря Бога, еще есть в России...»

Письмо И. В. Киреевского А. И. Кошелеву

10 июля <1951 г.>

Содержание

Предисловие	6
<i>Монах Лазарь (Афанасьев)</i>	
Православный философ	7
<i>Владимир Воропаев</i>	
Благодатная Обитель	36
<i>Варвара Каширина</i>	
«Скучная богомолка»	45
<i>Владимир Илларионов</i>	
Оптина Пустынь в жизни Льва Толстого	53
<i>Ольга Фетисенко</i>	
Окрест Оптиной	63
<i>Иван Есаулов</i>	
«Мы поверили бы французу и немцу...»	76
<i>Варвара Каширина</i>	
«Драгоценнейшее из всех изданий Оптиной Пустыни» .	82
<i>Варвара Каширина, Галина Черкасова</i>	
К истории иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»	100
<i>Константин Леонтьев и Оптиная Пустынь</i>	
<i>Владимир Добров</i>	
Константин Леонтьев в Оптиной Пустыни и у стен Троице-Сергиевой Лавры	109
Из писем К. Н. Леонтьева	121
<i>Из русской классики</i>	
<i>Борис Зайцев</i>	
Достоевский и Оптиная Пустынь	136
<i>Монах Лазарь (Афанасьев)</i>	
Венок близким моей душе деятелям культуры XIX века .	146
Список сокращений	151

Предисловие

Оптина Пустынь и русская культура (главным образом литература, отчасти история и философия) — тема мало исследованная, но очень значительная. Оптиная Пустынь XIX — начала XX века, если взять ее в целом, как место благодатной молитвы, как лечебницу для духовно страждущих людей всех сословий, — едва ли не главный учитель православного человека, в основном русского, создатель национального характера народа, хранитель и напоминатель истинных христианских устоев. Об Оптиной написано много. Имеющий глаза и сердце да чтет. Несмотря на «закрытие» монастыря в лихие времена, действие оптинского духа, благословенного Господом, не прекращалось. Были монахи, были книги, были традиции.

В XIX веке, как и в начале XX, духовная слава Оптиной была на удивление высока, — великие старцы прошли по путям этих времен, сменяя друг друга, взаимодействуя, иногда их бывало в монастыре двое и трое сразу. «Оптина Пустынь, — писал Борис Зайцев, — оказалась излучением света в России девятнадцатого века». Он же отметил и важный момент для русской культуры того времени: «Величайший расцвет русской литературы совпадает с расцветом старчества в Оптиной».

Совпадение не простое. Гоголь, Иван Киреевский, Леонтьев, Нилус, — можно сказать, почти «послушники» Оптинских старцев. Многие писатели через них также оказывались в оптинском притяжении: историк Михаил Погодин, профессор литературы Степан Шевырев, поэт Алексей Константинович Толстой. Можно вспомнить имена еще многих писателей, приезжавших в обитель за духовным хлебом, — мемуарист Жихарев, поэт Борис Алмазов, Ф. М. Достоевский, критик

Николай Страхов, поэт и философ Владимир Соловьев, поэт Анатолий Александров, Великий Князь Константин Константинович Романов (поэт К. Р.). Можно упомянуть и о Льве Толстом. В новейшее время — поэтесса Надежда Павлович. Это не все имена. Оптинские летописи внимательно отмечают посещения обители интеллигенцией от культуры, хотя бы кто-то из них пробыл там всего несколько часов. Эти люди нуждались в духовном укреплении, а часто и в просвещении. Не будет преувеличением сказать, что писатели и философы учились у старцев, понимая, что Бог дал счастье русскому человеку брать уроки в этом чудесном, духоносном православном училище.

Такие писатели, как Гоголь, Киреевский, Достоевский, Нилус, видели свою духовную родину «на берегах Божьей реки», в Оптиной. Отсюда несли они свет в мир, подобно волхвам, побывавшим в пещере, где родился Младенец Христос. Они показали этот благодатный путь русской творческой интеллигенции, но, увы, мало кто пошел за ними. «Малое стадо» остается малым.

В марте 2006 года исполнилось двести лет со дня рождения Ивана Васильевича Киреевского, а в июне того же года — сто пятьдесят лет со дня его кончины. Это человек глубоко талантливый, великой, искренней, теплой веры. Он был верным чадом старца Макария, как и его супруга Наталия Петровна. Впрочем, беглых слов и кратких оценок здесь недостаточно. В сборнике, посвященном памятным датам жизни выдающегося русского православного философа, читатель найдет о нем подробные материалы. Публикации, вошедшие в сборник, посвящены Ивану Васильевичу Киреевскому, а также связи деятелей русской культуры с Оптиной Пустынью.



Монах Лазарь (Афанасьев)

Православный философ

*Духовные искания Ивана Васильевича
Киреевского (1806–1856)*

1. Русский европеец

Иван Васильевич Киреевский родился 22 марта (по старому стилю) 1806 года в старинном селе Долбине Калужской губернии, вблизи Оки, среди настоящей русской природы, которую он любил всей душой. С детства памятливы и милы были ему поднимающиеся на холмы светлые леса, луга возле тихих речек, пестрые массы цветов, рожь в поле, в которой дети, играя, скрывались, как в лесу, барский дом на высоте холма, откуда в ясный день на десятки верст видна была округа. Внизу, под холмом, за речкой Вырой, бегущей в обрывистых берегах, вправо и влево растянулось село. Там, среди соломенных и драночных крыш, блистали пять куполов Успенского храма, вокруг которого на обширной площади в августе кипела ежегодная ярмарка: сотни лавок и палаток, телег, горы всевозможных изделий появлялись тут. Купцы и крестьяне собирались сюда для торга из Белёва, Козельска, Орла, Лихвина и множества других мест.

По двенадцатым и престольным праздникам в храме появлялась барская семья. Единожды в год все ее члены причащались Святых Христовых Таин (иногда чаще), ибо так уж повелось тогда в высшем русском обществе. Речь идет о семье Киреевских. Глава ее Василий Иванович, супруга Авдотья Петровна, бывшая много моложе него, и их дети Иван, Петр и Мария. Василий Иванович служил в полку, но рано вышел в отставку, стал домоседом и приобрел разные странные привычки.

В своем кабинете он месяцами не разрешал подметать пол и стирать пыль. Чашки из-под выпитого кофе оставлял у себя, так что их порой скапливалось на полу несколько десятков. К дворовым он не был слишком строг и за провинности ставил их всегда на поклоны у икон.

Сидя неделями неисходно в своем кабинете, он занимался то химическими опытами, то чтением. В его весьма обширной библиотеке было много мистических, философских и масонских книг на всех европейских языках: тут были всякие многопишущие Фенелоны, Гроции, Якоби, Арндты и им подобные. Он имел ненависть к французским энциклопедистам и Вольтеру, сочинения которого скупал в книжных лавках во время приездов в Москву, а потом сжигал в камине. Камин его московского дома только и питался книжным топливом. Позднее, особенно во время войны с Наполеоном, проявился его патриотизм, но вообще ничего русского в образе жизни его, в культуре, которую он приобрел, в деле воспитания детей не было. Детям читали нравоучительные рассказы и сценки из французской детской хрестоматии Беркена, модного тогда в русских дворянских семьях. За Беркеном неизбежно следовали сентиментальные повести мадам Жанлис, Мэри Эджворт, Августа Коцебу, двадцатисемитомный «Всемирный путешественник» аббата де ла Порты и другие подобные издания. Почетное место на книжной полке занимали Сен-Пьер и Руссо. Это были почти непроходимые для детского сознания пути к вере, настоящие завалы. Во всех этих писаниях вера подменялась гуманизмом, состраданием к человеческим бедам.

Так как русских книг почти не было, то библиотеки дворян наполнялись тем, что предлагал Запад.

Василий Иванович и был гуманист, действительно добрый человек: он усиленно изучал медицину и химию по книгам, накопил всевозможных препаратов и всего, что нужно для аптеки, и занимался лечением крестьян (что впоследствии всегда делал и сын его Иван Васильевич). Вероятно, у него были в этом отношении хорошие способности, так как он получил и официальный диплом врача. В 1812 году он был главным врачом в военном госпитале в Орле. Госпиталь этот он устроил на свои средства. Во время эпидемии тифа Василий Иванович заразился и умер в том же 1812 году, когда еще шла Отечественная война. Вдова его, Авдотья Петровна, некоторое время жила в Орле у родных, а потом переехала в Долбино, где продолжала воспитание троих детей.

В долбинском доме было несколько страшновато. Огромный, в два этажа, с мезонином, с множеством зал и комнат, с подвалами, террасами, парадным подъездом и задними крылечками, роскошно убранный, украшенный лепниной, мрамором, картинами, он всегда в большей своей части пустовал. Зимой нежилые комнаты не отапливались. Нередко, особенно зимними выюжными вечерами, кто-нибудь из прислуги с криком выбегал из темных комнат, наткнувшись на привидение... Обычно являлись там какие-то древние старики и старухи, тени бывших бар, по слухам, проводивших жизнь не совсем по-христиански.

Этот дом нередко посещал поэт Василий Андреевич Жуковский, родственник Авдотьи Петровны (она была ему племянница). В 1814 году по ее приглашению он даже поселился здесь, став воспитателем мальчиков — Ивана и Петра. К этому времени он стал уже известным поэтом, слава дважды поднимала его на самый гребень успеха — переводом элегии Томаса Грея «Сельское кладбище» (1804) и героической кантатой «Певец во стане русских



В. А. Жуковский. С рисунка Райта. 1835 г.

воинов» (1812). Кроме того, он был известен как преемник Карамзина по изданию журнала «Вестник Европы».

Трудный путь проходил поэт. Практически всю жизнь выкарабкивался он из всего того ложного и ненужного, что навалилось на него в юности. Так случилось, что рос и воспитывался он среди масонов. Это были директор Московского университета Иван Тургенев и его сыновья Андрей и Александр, ближайшие друзья Жуковского, а также его учителя — директор Московского университетского благородного пансиона (где он учился) А. А. Прокопович-Антонский и многие из преподавателей этого заведения, старшие наставники Жуковского в литературе — поэт И. И. Дмитриев и Н. М. Карамзин, друг Дмитриева в молодые годы. А особенно «духовный отец» Жуковского — Иван Лопухин, соратник Новикова, крупнейший масонский деятель того времени, издатель масонских книг. Вот он чуть ли не заменял собой Церковь для Жуковского.

Удивительно, однако, что масонству не удалось поглотить душу Жуковского, — он

брал оттуда только то, что отвечало его литературно-культурным запросам. Господь уберег... Да, он был вдали от Церкви, зачитывался протестантскими и мистическими сочинениями, напивался любовью ко всему страждущему человечеству, ко всему живому в природе. Главное — он заразился культурной всеядностью. От той поры воля его души направилась на изучение всего «великого» в мировой литературе, а через нее и мировой «духовности». Его трудами — изучениями и писаниями — двигала некая ложная человеческая гордость: добиться славы, создать великие и масштабные сочинения, сделать впечатляющие переводы огромных и великих вещей — поэм Тассо, Ариосто, Гомера, древнего эпоса европейских народов... Все эти планы есть в тогдашних тетрадях Жуковского. Мысль его многие годы бродит по всем векам и странам.

Масоном он не стал. Бог для него был. Но о Православии в тогдашних его писаниях нет и помину. О христианстве — да. Во всем этом закрепили его сознание немецкие и английские романтики, и в особенности их баллады и элегии, в которых культивировалось некое «духовное» уныние, слезы погибающей юности — часто это разочарование в жизни в результате любовной трагедии... «Прекрасное», воспеваемое романтиками, чаще всего заключалось в женской красоте. Небо же как для них, так и для Жуковского стало неким прекрасным «там» (с указанием пальцем вверх...). «Там» все встретимся, «там» небесная родина, «там» нас ждут с любовью... Впрочем, отметим, что все эти мотивы типичны для поэзии не только европейской, но и русской, особенно времени Жуковского — Пушкина (но и позднее, и гораздо позднее...).

Кто не читал в свое время баллад Жуковского! Это нередко страшные истории с мертвецами, колдунами, ведьмами, убийцами, ужасными и таинственными случаями, с присутствующей здесь в изобилии нечистой силой. И все это переводы, правда весьма вольные, из Гете, Шиллера,

Шписа, Бюргера, Саути и т. д. Эти баллады в третий раз прославили в России имя Жуковского. Его стали считать именно автором баллад. Даже 1812 год, когда явились русские патриотические стихи Жуковского, не пресек его душевной разбросанности. Не скоро, не скоро, но — придет он все же к Православию. Уж такой путь послал ему Господь.

Но вот 1814 год, и Жуковский в Долбине. Он переживает душевную трагедию, много перестрадал. Была очень сложная история его отношений с его дальней родственницей Марией Протасовой, впоследствии Мойер. Он, по своей беспечности, остался без крова, так как продал свое маленькое имение под Орлом и деньги отдал как приданое своей племяннице Александре Воейковой. Авдотья Петровна, не скрывавшая своей любви к Жуковскому и желая выйти за него замуж, чтобы вручить ему все те немалые средства, какие ей достались после кончины супруга (пусть-де поэт свободно творит, не думая о завтрашнем дне), постаралась хорошо обставить его долбинское жилье. У него тут были кабинет, библиотека, спальня... В отрочестве Авдотья Петровна была ученицей Жуковского, он учил ее, как и других своих многочисленных племянниц, всему, что сам тогда любил. Он покорила ее размахом своего европеизма, стихами, добротой души. На всю жизнь католические и протестантские проповедники Массильон, Фенелон, Блер, писатели типа Шлегеля, Вакенродера, Тика, Гофмана, потом философы Шеллинг и Гегель остались в душах всех его учениц. Если Жуковский сумел все же преодолеть эту напасть, то им на это сил не хватило. В самый год кончины, когда ей шел 90-й год, Авдотья Петровна переводила проповеди ревельского пастора Гуна. Она не лишена была таланта. Например, писала иконы для долбинского храма, какие — трудно сказать, они не сохранились. Рисованию училась она у того же Жуковского, который был мастером этого дела.

В Долбине Жуковский усердно работал, написал много стихотворений, в том

числе и страшных баллад вроде «Старушки», которой позднее дал развернутый заголовок: «Баллада, в которой описывается, как одна старушка ехала на черном коне вдвоем и кто сидел впереди». Это рассказ о колдунье, которая, умирая, призвала своего сына-монаха и попросила отпеть ее похристиански... Жуковский собирает всех домочадцев и читает балладу вслух. Дворовые в ужасе... Маленький Ваня вцепляется в край стола, бледнеет и дрожит... Отпеть старушку не удалось — нечистая сила преодолела все моления. Сам сатана уносит душу колдуньи... Ваня захвачен жуткими образами бесов, ломящихся в храм, черного коня, пышущего огнем из ноздрей, гроба, распадающегося от одного взгляда сатаны... Жуковский ласково тербит белокурые волосы мальчика и усмехается: «Что, Ванюша, хороша сказочка?» Ванюша молчит, не может слова промолвить... Слуги приносят чай. Детей укладывают спать. Ветер сотрясает темные окна...

Детский разум был чист, как белая бумага, Жуковский писал на ней уверенно, полагая, что дает доброкачественную пищу на всю жизнь этому «Ване белобрысому», как он назвал его в одном шуточном стихотворении. На самом деле, сам того не понимая, Жуковский укреплял стену между Иваном Киреевским и Православием, осложняя ему и без того нелегкий путь к истине. Увы, полжизни Иван Васильевич потратит на поиски, думая, что литература и философия — основа образования для человека. Он в молодости стал не столько, может быть, тщеславным, сколько гордо уверенным в своих необычайных литературных и философских способностях, которые он думал поставить на службу русскому народу. Он желал просвещать народ. Но просвещать в «жуковском духе» — втянуть русских через культуру в великое мировое сообщество... Невольно думается: не те же ли проблемы ныне у нас?

Казалось, духовная жизнь Ивана, а также его брата Петра и сестры Марии шла в тупик... Но нет: Господь постоянно будил их волю к преображению. Он не оставит их

в покое, пока они не начнут просыпаться. Проснется Иван. Проснется и Петр и станет собирателем русских песен. Проснется Мария и будет много сидеть за письменным столом, но не за Массильонами и Блерами, — она будет переписывать жития православных святых, в то время почти не издававшиеся в России (это — козни масонов и иезуитов, высших правительственных чиновников), статьи своего брата. Ее мечтой в зрелые годы станет уйти в монастырь, что с «сожалением» будут отмечать родные и знакомые. Да вот и Жуковский, как бы помолодев, проснется вместе с ними. Слетит со всех них тяжкое всесветное наваждение.

В 1821 году Авдотья Петровна переехала в Москву, переменила несколько квартир и наконец купила помещицкий усадебный дом с парком в Трехсвятительском (ныне Хоромный) тупике рядом с храмом Трех Святителей (это вселенские учителя Церкви Иоанн Златоуст, Василий Великий и Григорий Богослов); на месте этого храма ныне наружное здание метро «Красные ворота». Были тогда и ворота, их ныне нет, но дом Елагиных (ибо Авдотья Петровна в 1817 году вышла замуж за отставного офицера Алексея Андреевича Елагина) цел. Это место для Москвы весьма памятное.

В 1830—1840-е годы здесь было средоточие московской культурной жизни. Сюда по воскресеньям приходили писатели, профессора университета, художники, друзья и родные. Здесь происходили споры славянофилов и западников — это уже начало 1840-х. Авдотья Петровна снабжала этот салон всем необходимым — чаем, кофе, трубками, сигарами... Дым стоял здесь столбом. Ее сыновья сидели с ранней молодости с длинными чубуками, подавая их набивать лакеям... Это также было как бы признаком культурности — утопать в дыму... Отчим Киреевского — упомянутый Елагин — был еще «культурнее», чем Авдотья Петровна или Жуковский: он не признавал божественности Иисуса Христа, открыто бравировал этим (рискуя, впрочем,

попасть под суд) и считал себя знатоком новейшей немецкой философии. Дом этот был как котел, в котором кипело то, о чем тогда один Господь ведал, — все происходящее здесь было крайне запутанно.

До 1825 года Елагины не выезжали из Москвы ради воспитания детей. К ним приглашали для преподавания разных предметов профессоров Московского университета и Благородного при нем пансиона. Приходили знаменитые тогда Снегирев, Цветаев, Мерзляков... Изучались всеобщая история, красноречие, латынь, греческий, английский, немецкий и французский языки. Жуковский уже давно в Петербурге при Царском Дворе, руководит воспитанием Наследника Цесаревича Александра Николаевича. Восемнадцати лет Иван Киреевский поступил на службу в Архив Коллегии Иностранных дел так называемым актуариусом (при разборе древних актов). Тут служили по традиции дети лишь избранных аристократических фамилий.

Здесь Киреевский вошел в дружеский кружок молодых людей, среди которых были поэт и философ Дмитрий Веневитинов, будущий профессор русской словесности и тоже поэт Степан Шевырев, Соболевский, Мельгунов, Титов и другие молодые люди, почти все стремившиеся к литературной деятельности и все «европейцы» тогда. Заявил себя философом в этом кружке и Киреевский. Он уже знаток писаний Шеллинга и Окена. В то же время пишет он романтические повести (от них мало что сохранилось) и стихи. Этот кружок мечтает о создании своего журнала, что вскоре и сбывается. Ксенофонт Полевой вспоминает о Киреевском этого периода: «Петр Васильевич был неразговорчив и даже застенчив, но Иван Васильевич, совершенно напротив, любил и отличался умением говорить. У него не было блестящего дара слова, как у покойного Веневитинова, но необыкновенно логический и твердый ум его способствовал ему быть непобедимым диалектиком... Помню, что раз как-то вечером завязался

спор, не кончившийся до глубокой ночи, и, чтобы окончить его, согласились собраться на другой день у Киреевского — и потом опять проговорили до ночи (спорили о Шеллинге)».

Осенью 1826 года Киреевский знакомится с Пушкиным, слушает на квартире Соболевского «Бориса Годунова», потом еще раз у Веневитинова. Той же осенью «архивные юноши» (как их называли) вместе с Погодиным начали издавать журнал, о котором мечтали. Это был «Московский Вестник». Погодин в дневнике отмечает: «Киреевский умен». В это время Киреевский начал ощущать в себе борец каких-то новых сил. Вот что, например, пишет он в 1827 году своему другу Кошелеву: «Если бы перед рождением судьба спросила меня: что хочешь ты избрать из двух — или родиться воином, жить в беспрестанных опасностях, постоянно бороться с препятствиями или провести спокойно век в кругу мирного семейства, где желания не выходят из определенного круга, я бы не задумался о выборе и решительною рукою взял бы меч. Но, по несчастию, судьба не посоветовалась со мною».

Далее он пишет, что для него и в его гражданском состоянии «существует борьба», что и здесь «есть опасности и препятствия: если они незаметны, ибо происходят внутри меня, то от этого для меня значительность их не умаляется». Именно по этому письму видно, что в его европеизме появляются как бы некие предварительные импульсы его будущего самосознания: «Не думай, однако же, что я забыл, что я Русский и не считаю себя обязанным действовать для блага своего Отечества. Нет! все силы мои посвящены ему... Я могу быть литератором, а содействовать к просвещению народа не есть ли величайшее благодеяние, которое можно сделать ему?»

А вот и самоуверенность: «Могу ли я не иметь веса в литературе? Я буду иметь его и дам литературе свое направление». И далее, уже в разговоре о журнале, он говорит о религии, но как-то туманно: «Мы возвратим права истинной религии»,

не комментируя этого. Однако отчасти можно расценить эту обмолвку как непроизвольное пророчество Киреевского по поводу своего будущего.

Собрания в блестящем салоне княгини Зинаиды Волконской на Тверской подогревают чисто литературные интересы Киреевского, в общем не способствуя их серьезности. Киреевский пишет вместе с Баратынским куплеты на день рождения хозяйки — поэтессы, художницы, красавицы, вообще весьма блестящей аристократки. Потом он уже один пишет стихотворение, которое было награвировано на кубке, подаренном московскими литераторами Адаму Мицкевичу при его отъезде из Москвы, где находился он в ссылке(!). Волконская культивировала западное, возрожденческое искусство, а в русской жизни ее интересовало только ее древнее бытование. Она была сначала тайная католичка, а когда уже окончательно поселилась в Риме, то и явная, и даже воинствующая.

В 1829 году в доме Елагиной поселился приехавший из Дерпта выпускник тамошнего университета Николай Языков, уже известный поэт. Его искрометные стихи нравились москвичам. В сборнике «Денница» Киреевский напечатал обозрение русской литературы за 1829 год, где похвалил Баратынского, Козлова, Пушкина, Языкова. Это было наиболее светское время для Киреевского. Один приятель пишет его отчиму Елагину: «Как приятно мне было прочесть, что Иван Васильевич провел зиму весело и на балах!» Философия тут несколько отошла в сторону...

Некоторые из друзей Киреевского — Шевырев, Рожалин, Соболевский — поехали за границу для «довершения» своего образования. Считалось, что без европейских университетов его не доверишь... Киреевский тоже стал собираться туда. Между тем идет какая-то судорожная литературная жизнь. Затеваются сборники «Светоч» и «Ласточка» — и не выходят, и никто не понимает почему... В разговорах о поэзии все чаще всплывает наверх

«прекрасное» как цель и смысл не только поэзии, но и жизни. От Баратынского это идолопоклонническое сознание переходит к Фету, который счастлив, когда находит полное «обоснование» этому у Шопенгауэра в его философском труде «Мир как воля и представление» (Фет переведет его на русский язык и издаст). То есть вот Красота, и все тут: это цель и смысл. И нет понятия о Красоте истинной, высшей — о Боге-Троице. Баратынский, прекрасный стихотворец, остался идолопоклонником... Запад звал Киреевского. Но вот брат его Петр обогнал его, уехал раньше. Вот уже пишет из Мюнхена, зовет Ивана, который никак не расстанется с бурной светской жизнью. Но недаром вращался Иван в светских кругах! Там, именно там случилось событие, которое со временем поможет ему перевернуть свою духовную жизнь, — милостив Господь! Он встретил будущую супругу, Наталью Петровну Арбенеvu, которая была ему троюродной сестрой. Сделал ей предложение, получил отказ, загрустил и захандрил так, что отчим решил отправить его к Петру в Мюнхен.

В Петербурге Жуковский дал Ивану Васильевичу кучу рекомендательных писем — у него везде в Европе заведены были дружеские связи, какие были и среди немецких профессоров. И вот Иван Васильевич в Берлине. Здесь слушает в университете лекции — курс географии у Риттера, в восторге от него и даже не ходит слушать Гегеля, который читает в другой аудитории в те же часы. Затем новейшую историю у Раумера. Он зовет сюда из Мюнхена Петра. Но восторг его скоро прошел. Неприятно поразил его профессор Шлейермахер своими суждениями о смерти Христа. Странны показались разные догадки ученого немца о том, «началось ли гниение в теле Иисуса или нет, оставалась ли в нем неприметная искра жизни или была совершенная смерть...» Киреевский пишет об этом: «Так ли смотрит истинный христианин на воскресение Иисуса? Так ли смотрит философ нынешний на момент искупления человеческого рода, на мо-



*Петр Васильевич Киреевский,
старший брат Ивана Васильевича, 1840-е гг.*

мент его высшего развития, на минутное, но полное слияние неба и земли? Здесь совокупности Божественного откровения для первого: здесь средоточие человеческого бытия для второго... К какому классу мыслящих людей принадлежит тот, кто с такими вопросами приступает к такому предмету? Можно смело сказать, что он не принадлежит к числу истинно верующих». Вот так русский студент! Едва ведь успел приехать, раз-другой послушать... Заметим, что, несмотря на столь зрелое суждение, Иван Васильевич в это время еще не принадлежал к числу «истинно верующих» (о которых пишет); подобные суждения пока лишь добрый плод одного ума его.

Любопытно, что он в это время просит сестру Машу в каждом ее письме к нему делать какую-нибудь выписку из Евангелия. «Я это сделал для того, — пишет он брату в Мюнхен, — чтобы, 1-е, дать ей лишний случай познакомиться короче с Евангелием, 2-е, чтобы письма наши не вертелись

около вещей посторонних, а сколько можно выливались бы из сердца. Страница, где есть хотя строчка святого, легче испишется от души». И снова приходится удивляться: мудро! Можно и в пример взять.

В письмах Киреевский обсуждает с братом «неразрешимую задачу»: отчего у них дома, в семье, всегда, как он говорит, атмосфера ожидания беды, беспокойства, неуверенности? «Откуда она? зачем? как истребить ее?» Правильного ответа пока не находится, хотя он как будто очевиден. Киреевский пока не вникает в духовную сущность матери и отчима. Он еще не ужаснулся тому, что отчим — откровенный атеист.

Иван Васильевич поехал к брату в Мюнхен. Они молоды, а там так много всего... И вот они повели беспорядочную жизнь: пошли загородные пикники, театры, а между тем — изучение итальянского языка (они собираются отсюда махнуть в Италию). Ходят на лекции в университет, слушают Шеллинга и Окена, даже бывают у них дома. Но вот Пасха — они в православном храме на заутрене. «Сегодняшний день, — пишет Иван Васильевич родным, — старались мы сделать сколько можно нашим Светлым Воскресением, по крайней мере, с нашей стороны». Впрочем, их мысли направлены в эти дни не в сторону России, а в сторону Рима, и особенно Неаполя... Господь решительно пресекает их планы.

Вдруг — вести о холере на Волге, а потом и в Москве... Первым из Мюнхена срывается Иван Васильевич: бросается в дилижанс и мчится домой... Идет ноябрь 1830 года. Он не желает ждать вестей из Москвы о том, что кто-то умер, он хочет делить опасность со своими... Петр Васильевич ехал вслед с недельным отставанием. Они застали всех здоровыми. Елагины приняли строгие меры: везде хлор, на всех — теплые одежды, питание плотное... Никто, даже друзья, в дом не допускались. Письма приходили проткнутые и обкуренные. Спустя месяц были сняты карантинные. В декабре приехал из Болдина Пушкин и

начал читать московским друзьям все, там написанное, а он, как мы знаем, написал много замечательного. Зимой жизнь вошла в обыкновенную колею.

Прошла холерная угроза. Но тут с новой силой вспыхнуло увлечение Киреевского Наталией Петровной Арбеновой... Что делать с этим, он не знал. Тяжко стало ему в Москве. Опять появились планы отъезда, даже бегства в далекие края... Кошелев, увидевший Киреевского в феврале 1831 года, поражен: «Душевные скорби ввергли его в бездействие: он только и знает спать да есть, есть да спать». Он был в глубоком унынии. Немного расшевелило его бракосочетание Пушкина, который пригласил перед венчанием среди прочих друзей на мальчишник и Киреевского с отчимом.

Летом Елагины наняли дачу в подмосковном селе Ильинском. С ними выехал туда и Языков. Ему удалось несколько приободрить Ивана Васильевича. Они вместе начали сочинять комические пьески для домашней постановки в прозе и стихах — сами и играли. Тот же Языков надумал и более серьезное. Он вдохновил Петра Васильевича собирать русские народные песни, стал вместе с ним тут же, в селе, и записывать их, чему способствовало и то, что село большое, с летней ежегодной ярмаркой, широко раскинувшейся у Москвы-реки. Дело пошло неожиданно быстро и удивило их великолепием многих текстов... Ивану Васильевичу Языков напомнил о литературном его даре и прежнем желании издавать журнал, обещал помощь — свою и друзей своих, в том числе Пушкина. И вот уже в августе Елагина пишет супругу: «Ванюша весел, хлопочет о журнале не на шутку, пишет что-то, выпиывает иностранные журналы». Явилось и название: «Европеец».

Так Иван Васильевич от душевных невзгод уходил сначала в сон, а теперь в журнал — в октябре уже получено было цензурное разрешение. Увы, впоследствии не любил Киреевский вспоминать об этом своем начинании: журнал вышел из «передовых», с устремлением в западную культуру. Он пи-

шет Шевыреву, приглашая его в сотрудники: «Главная цель будет состоять в том, чтобы, выписывая почти все иностранные литературные журналы, выбирать из них самое интересное и таким образом сблизить нашу литературу с заграничною. Русская словесность войдет в журнал не много, то есть только лучшее». Шевыреву такая программа не понравилась. И вот он пишет Киреевскому: «Я хочу писать статью “Не будем же европейцами” и пришлю ее для помещения в твой журнал. Всегда любил Россию, но, посетив гнилую Европу, я обожаю свое Отечество... Чем более узнаю европейцев, тем более утверждаюсь в мнении, что нет народа богаче одаренного, чем народ русский». И это говорилось Ивану Киреевскому, который лет десять спустя станет вместе с Хомяковым вождем славянофилов!

Первый номер «Европейца» открылся статьей Киреевского «Девятнадцатый век» — ее началом. Продолжение осталось неизданным, так как на втором номере журнал был запрещен по распоряжению Императора Николая Павловича. Мотивы закрытия журнала до сих пор не совсем ясны, хотя демократическое литературоведение всячески настаивало на «страхе перед революцией» у Царя и его правительства, на существовании «николаевского» произвола и гонений на все «передовое»... Цену подобным толкованиям мы давно уже знаем. Государь никак не желал никаких революций для России, он уже пережил восстание декабристов и сам своей рукой отвел гибель и страны, и всех представителей Царствующего Дома Романовых. Рылеев лично ему открыл, что они собирались уничтожить весь этот дом. Мы можем уже многое понять после страшных событий 1917—1918 годов... Да, Государь Николай Павлович был великий русский патриот, он знал цену западной цивилизации. Там зрели разные «идеи», и из них немало было направленных против России. Такое безоглядное устремление в западную стихию, какое было тогда у Киреевского, такой отрыв от Православия и Самодержавия не могли понравиться Государю, раз уж статья

попала ему на глаза. Киреевский же поймет впоследствии благодетельность закрытия совершенно ненужного ему журнала: это был ложный путь.

Как бы то ни было, для Ивана Васильевича крушение его издания было сильной встряской. Журнал и его издателя пытались «спасти» и писали письма шефу жандармов А. Х. Бенкендорфу Жуковский и Чаадаев. Писали напрасно: запрещение снято не было. Молодые же друзья Киреевского не очень жалели о закрытии «Европейца». Погодин писал Шевыреву о программной статье Киреевского «Деятнадцатый век»: «Киреевский меряет Россию на какой-то европейский аршин, я говорю в смысле историческом, — а это ошибка». Да, это ошибка.

Философия и весь европеизм, помноженный на его личную самоуверенность, привели Киреевского в то время к удивительно узкому пониманию основ духовной жизни человека и народа. «У нас должна быть твердая и молодым душам свойственная нравственность, — пишет он в конце 1832 года Владимиру Одоевскому, — и стремление к ней должно быть главною, единственною целью всякой деятельности: в ней патриотизм и любомудрие, в ней основа религии». Не в Святой Троице, не в искуплении на Кресте Господом Богом нашим Иисусом Христом человечества... Но душа Киреевского томится, чувствует, что есть другое, настоящее... И оно к нему все ближе и ближе... «Зачем не способен я верить!»* — с тоской восклицает он в письме к Кошелеву от 6 июля 1833 года.

2. Благое молчание

В марте 1834 года на каком-то светском вечере Иван Васильевич увидел Наталью Петровну. И вот он пишет отчиму в Долбино: «Я видел Наталью Петровну, — мы объяснились с нею, маменька соглас-

на, и для нашего счастья недостает теперь только вашего благословения... Теперь я похож на слепого, который вдруг увидел свет и еще не умеет отличать предметов отдельно, а только видит, что все вместе светло и ясно». Елагина в то же время пишет Жуковскому в Петербург: «Милый брат, благословите Ивана и Наташу. Весь пятилетний оплот недоразумений, разлуки, благоразумия и пр. распался от одного взгляда. 1 марта после пяти лет разлуки он увидел ее в первый раз: часа два глядел издали, окруженный чужими гостями, и как она встала ехать, повлекся какой-то невидимой силой, и на крыльце они объяснились одним словом, одним взглядом. На другое утро привел мне благословить». Свадьба состоялась 29 апреля 1834 года. Венчались у Трех Святителей.

В этом году литературные страсти еще не утихли в душе Киреевского. После запрещения «Европейца» он думает об участии в каких-то петербургских журналах. В Москве Шевырев и Погодин с друзьями много рассуждали о предполагаемом журнале «Кремлевский часовой» и уже звали в сотрудники Гоголя, Языкова, Хомякова и Киреевского. Потом новая идея — о журнале «Московский наблюдатель», который и начал выходить в 1835 году. Иван Васильевич стал его сотрудником. Он намеревался давать на страницы этого издания «по два печатных листа в неделю».

Три-четыре раза в неделю «пишущая» и «мыслящая» Москва в сборе; по воскресеньям у Елагиных, по пятницам у Свербеевых, по четвергам у Кошелева, в какой-то день у Баратынского. Издатели давали многолюдные обеды у Погодина на Девичьем поле. Еще не было резкого разделения на западников и славянофилов, а наиболее твердые патриотические и православные позиции занимал великолепный полемист Алексей Степанович Хомяков. «Хомяков спорит, Киреевский поучает, Кошелев рассказывает, Баратынский поэтизирует, Чаадаев проповедует или возводит очи к небу... мы, остальные, слушаем», — писал Мегульнов в январе 1843 года.

* Это ведь то же самое, что евангельское: «Верую, Господи! Помоги моему неверию!»

Однако Киреевский все меньше писал. И вообще перестал интересоваться литературной жизнью... Незаметно для самого себя он умолкал, уходил в молчание...

В течение последних тринадцати лет он не написал и не напечатал почти ничего, только две небольшие рецензии. Друзья за объяснением этого положения далеко не ходили, они думали, что он сломлен разгромом «Европейца», впал в депрессию, в сон. Никто не знал, да поначалу и сам он не совсем понимал, что совершается в его душе. Он все глубже уходил в себя, медленно и с тяжелой недоверчивостью к себе менял себя внутренне, следуя все более твердо начавшему в нем возникать чувству Церкви.

Господь послал ему супругу не просто верующую, а по-настоящему церковно-православную, исполняющую все необходимые церковные требования. Женившись, он обнаружил это почти неожиданно. Он слышал об особенностях быта семьи Арбениных, но светский облик его красавиц-жены как-то поначалу не увязывался у него с покаянными и молитвенными настроениями. С первого же дня она повела рядом с ним свой образ жизни, ничем не поступившись: молилась утром и вечером, перед едой и после, в субботу шла на всенощную, в воскресенье к обедне. Всякий двенадцатый праздник она в храме. Дома читает святоотеческие писания — у нее целое собрание таких книг. Все это было великой редкостью в аристократическом обществе. В лучшем случае, люди, считавшие себя православными, «глаголали, но не творили», уподобляясь в этом фарисеям.

Наталья Петровна не была удивлена прохладным отношением супруга к церковному образу жизни, но была огорчена тем, что Иван Васильевич не считал нужным носить нательный крестик. Они все же договорились, и очень откровенно, что упрекать друг друга ни в чем не будут. Пусть каждый делает что хочет.

У них была общая родня. Ее мать, Авдотья Николаевна Арбенева, была племянницей Жуковского. Еще до замужества

она посещала монастыри и сподобилась быть духовной дочерью старца Серафима, Саровского чудотворца. После его праведной кончины, в 1833 году, она перешла под руководство о. Филарета (Пуляшкина), иеромонаха московского Новоспасского монастыря. Впоследствии познакомившись с ним, Иван Васильевич писал о нем: «Никто страждущий не оставлял его порога, не получив отрады; недоумевающий находил у него спасительный совет; ищущий поучения — высокое назидание; ожесточенный — умиление; отчаянный — молитву; маловерный — прояснение истины; слабодушный — подкрепление сил. В беседе его особенно ясно выражалась кротость его души, крайнее смирение, горячая любовь к ближнему, сострадательность, терпение, и красота, и сила глубокого духовного ведения». Вместе с матерью и Наталья Петровна была сначала чадом преподобного Серафима*, а потом новоспасского старца.

Еще ни в чем не утвердившись, Киреевский стал изредка вместе с женой посещать о. Филарета. Трудно понять, что и как совершалось в душе Ивана Васильевича в эти времена, но там шла упорная работа. Светские понятия и интересы, любимая философия «по стихиям мира сего», литература со стихами и прозой — все постепенно отходило на задний план и как бы обволакивалось туманом. Все яснее и нужнее становились для него установления церковной жизни, аскетический труд воли и мысли на путях вечного спасения, духовные писания православных богословов и учителей духовного делания. Святые отцы шли через аскетический труд очищения души к богооткровенным мыслям. И вот Киреевский начал искать пути

* Вот что писала Н. П. Киреевской 8 февраля 1850 г. из Петербурга ее приятельница А. М. Веневитинова: «Получила книги, за которые вам очень благодарна. Я с большим удовольствием и душевным наслаждением читаю “Жизнь отца Серафима” и убеждаюсь в истине рассказа, вспоминая, что вы мне говорили о ваших с ним сношениях» (РГАЛИ. Ф. 236. К. 1. Ед. хр. 192).

примирения философии с богословием и аскетикой. Он стал делать заметки, сразу направляя работу мысли в ученую колею. В течение десяти лет накапливались эти мысли, чтобы вылиться потом в остро отточенный итог: «Истина одна, как один ум у человека, созданный стремиться к Единому Богу».

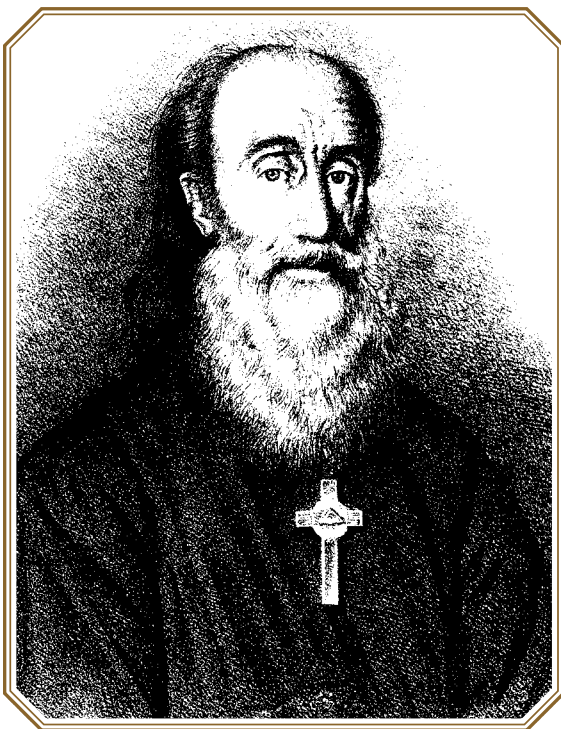
А нательный крестик? Однажды, вскоре после женитьбы, он сказал Наталье Петровне, что наденет крест, если старец Филарет пришлет его ему.

Наталья Петровна поехала в Новоспасский монастырь и передала это пожелание своего супруга, а старец снял крестик с себя и, отдавая его Наталье Петровне, сказал: «Да будет он Ивану Васильевичу во спасенье». Едва она вернулась домой, Иван Васильевич спросил: «Ну, что сказал отец Филарет?» Она молча подала ему крест на суровой нитке. «Что это за крест?» — спрашивает в волнении Киреевский. «Старец

снял с себя и сказал, что да будет он тебе во спасение», — отвечает Наталья Петровна. Иван Васильевич встал на колени перед иконами, перекрестился и сказал: «Ну, теперь чаю спасения для души моей, ибо я в уме так и положил: если отец Филарет снимет крестик с себя и пришлет мне, то явно будет, что Господь призывает меня к труду спасения».

Осенью 1836 года Елагины произвели раздел всех своих имений между детьми. Ивану Васильевичу достались село Долбино — родное село! — с деревеньками Поветкино, Курентьево, Ретюнь, Черемошня, Слобода и Зюзнево и в общей сложности около пятисот душ крепостных крестьян.

Киреевские стали выезжать сюда на лето. Старинный дом в Долбине они благоустроили по своим вкусам, многое переделали. Перед иконами затеплились лампадки. Вокруг родня: в сторону Болхова, в селе Петрищеве, летом жили родители Ивана Васильевича; возле Белёва, в селе Мишенском (это родина Жуковского), — сестра Авдотьи Петровны, детская писательница Анна Петровна Зонтаг.



*Иером. Филарет (Пуляшкин),
в схиме Феодор. 1842 г.*

В семи верстах от Долбина — город Белёв, не великий, но и не захудалый. В нем, на крутом берегу Оки, два монастыря (мужской и женский), за рекой — Жабынская Пустынь. Есть школа, больница, почта, несколько храмов, ярмарка. Некогда город был столицей Белёвского княжества — оно присоединилось к Москве во времена Царя Иоанна Грозного. В сорока верстах — Оптиная Пустынь, с которой поддерживают тесную связь белёвские иноки и инокини. Скоро и Киреевские волюются

в это духовное общение.

В 1839 году Киреевский принял должность почетного смотрителя Белёвского уездного училища, где обучались дети крестьян, купцов и мастеровых. Он входил в детали преподавания, предлагал разные улучшения. В 1840 году он направил попечителю учебного округа графу Сергею Григорьевичу Строганову «Записку о направлении и методах первоначального образования в России». Здесь Киреевский поднимает вопрос воцерковления народного образования. «Что если вера вместо своего утверждения и развития встретит только запутанность и колебание?» — спрашивает он, имея в виду «неполезные»

стороны принятых тогда программ. «Познание веры» Киреевский считает основным «просвещением» народа. В этой записке можно найти и оценку его собственного состояния в отношении веры: столь еще недавнее «неверие, — пишет он, — по счастью до сих пор распространившееся у нас только в высших классах, произошло не от незнания догматов, но незнание или забвение их было уже следствием неверия. Причины последнего должно искать не в ложных понятиях о догматах, но в ложном развитии мыслей, окружающих веру, а именно в ложном образовании понятий, принадлежащих философии, и особенно ее логической части... Не признавая ничего в познании, кроме чувственных отражений, мог ли ум человеческий допустить духовность в понятиях веры? Немецкие философы, уничтожив материальный взгляд на познавательную способность, уничтожили вместе и материальные понятия о предметах духовных в науках. Но в свою очередь они отдалили человека от веры односторонностью своего диалектического развития и своею ложною критикою ума, признающего логический разум верховным судиею истины».

Киреевский, предвосхищая идеи замечательного православного педагога С. А. Рачинского, действовавшего в эпоху императора Александра III, считает, что народ надо учить пониманию церковных служб, подробному знанию их содержания. «Наше богослужение, — пишет он, — заключает в себе полное и подробное изложение не только тех догматов, которые преподаются в школах, но даже почти всех тех вопросов, которые вообще могут тревожить любознательность ума просвещенного. Следовательно, если бы народ наш, ходя в церковь, понимал службу, то ему не нужно бы было учение катехизиса, напротив, он знал бы несравненно более, чем сколько можно узнать из катехизиса, и каждую истину веры узнавал бы не памятью, но молитвою, просвещая вместе разум и сердце. Но для этого недостает нашему народу одного: познания словенско-

го языка» («словенским» Киреевский называет церковнославянский язык — многие в то время употребляли это слово).

«По необыкновенно счастливому стечению обстоятельств, — продолжает Киреевский, — словенский язык имеет то преимущество над русским, над латинским, греческим и над всеми возможными языками, имеющими азбуку, что на нем нет ни одной книги вредной, ни одной бесполезной, не могущей усилить веру, очистить нравственность народа, укрепить связи его семейных, общественных и государственных отношений. Потому я думаю, что изучение его вместо утонченностей катехизиса в русской словесности могло бы служить одним из сильнейших противодействий тому, что может быть вредного для народа в науках, взятых отдельно от религии». И вот практический вывод: «Школа должна быть не заменою, но преддверием Церкви».

Позднее, в 1854 году, Киреевский подал вторую записку — «О нужде преподавания церковнославянского языка в уездных училищах» — министру народного просвещения Авраамиию Норову, который был истинным ревнителем Православия и хорошим духовным писателем. Здесь Иван Васильевич пишет, что он уже на опыте убедился, что если народ ищет какого-либо просвещения, то только такого, «о котором бы мог быть уверен, что оно действительно основалось на его коренных убеждениях веры и вековых обычаях нравственности, и которое в своем развитии не ослабляет, но еще более укрепляет эти религиозные и нравственные убеждения и обычаи».

Простые люди ведут своих сыновей не в устроенные государственные училища, где есть педагоги, книги, приборы и все необходимое, да и лаковые полы, а к «полуграмотному дьячку», который учит только читать по-церковнославянски по Часослову и Псалтири. Это потому, пишет Киреевский, что в училище «мальчик не получит ни привычки, ни, следовательно, охоты к чтению книг церковных, между тем как от

дядька он хотя не вынесет никаких знаний, но вынесет именно эту привычку к чтению церковных книг, а вместе и любовь к церковному богослужению. Потому один мальчик, выйдя из училища, хотя знает много, но обыкновенно скоро забывает все, чему учился, если же займется чтением, то единственно чтением переводных романов... Между тем другой мальчик, не получив в своем учении собственно знаний, получил однако же средство и потребность к живому приобретению именно тех понятий, которые всего важнее для человека и которые он приобретает ежедневно более и более, вникая в высокий смысл церковного богослужения. Для одного дверь просвещения затворилась вместе с дверью его училища. Для другого, напротив, только при окончании его учения раскрылась дверь в высшее училище — Церковь». Это не какой-нибудь парадокс или натяжка — вспомним, что выше сказал Киреевский о Церкви и Ее Богослужении: здесь неисчерпаемая духовная пища для самого просвещенного философа.

Зимой в московском доме Киреевского у Красных ворот продолжают воскресные собрания. Теперь уже не возмущается Михаил Погодин, что Иван Васильевич призывает «все брать на Западе», нет, Иван Васильевич давно уже к тому не призывает. Он устраивает письменные диспуты: кто-то пишет статью или речь, зачитывает вслух при собрании, а в следующий раз кто-нибудь выступает оппонентом этого. Хомякову на его статью «О старом и новом», где он «строго судит» русскую старину (в общем-то любимую им), отвечал Киреевский.

Здесь Иван Васильевич прежде всего очертил свою позицию по отношению к западному просвещению: «Сколько бы мы ни были врагами западного просвещения, западных обычаев и т. п., но можно ли без сумасшествия думать, что когда-нибудь, какою-нибудь силою истребится в России память всего того, что она получила от Европы в продолжении двухсот лет? Можем ли мы не знать того, что знаем, забыть все,

что умеем? Еще менее можно думать, что тысячелетие русское может совершенно уничтожиться от влияния нового европейского. Потому сколько бы мы ни желали возвращения русского или введения западного быта, но ни того, ни другого исключительно ожидать не можем, а поневоле должны предполагать: что-то третье, должествующее возникнуть из взаимной борьбы двух враждующих начал».

Итак, начало западное — враждебное — уже не вырвешь из русской почвы. Далее Иван Васильевич блестяще и сжато очертил два этих начала. Вот западное: «Как западная церковь образовала из разбойников рыцарей, из духовной власти светскую, из светской полиции святую инквизицию, что все, может быть, имело свои временные выгоды, — таким же образом действовала она и в отношении к наукам, искусствам языческим. Не изнутри себя произвела она новое искусство, христианское, но прежнее, рожденное и воспитанное другим духом, другою жизнью, направила к украшению своего храма. Оттого искусство романтическое заиграло новою блестящею жизнью, но окончилось поклонением язычеству и теперь кланяется отвлеченным формулам философии, покуда не возвратится мир к истинному христианству и не явится миру новый служитель христианской красоты».

А вот как говорил Киреевский о России допетровской: «Она не блеснула ни художествами, ни учеными изобретениями, не имея времени развиваться в этом отношении самобытно и не принимая чужого развития, основанного на ложном взгляде и потому враждебного ее христианскому духу. Но зато в ней хранилось первое условие развития правильного, требующего только времени и благоприятных обстоятельств. В ней собиралось и жило то устроительное начало знания, та философия христианства, которая одна может дать правильное основание наукам. Все святые отцы греческие, не исключая самых глубоких писателей, были переведены и читаны, и переписываемы, и изучаемы в

тишине наших монастырей, этих святых зародышей несбывшихся университетов. Исаак Сирий, глубокомысленнейший из всех философских писателей, до сих пор еще находится в списках XII—XIII веков. И эти монастыри были в живом, беспрепятственном соприкосновении с народом. Какое просвещение в нашем низшем классе не вправе мы заключать из этого одного факта! Но это просвещение не блестящее, но глубокое, не роскошное, не материальное, имеющее удобства наружной жизни, но внутреннее, духовное, это устройство общественное, без самовластия и рабства, без благородных и подлых; эти обычаи вековые, без писанных кодексов, исходящие из Церкви и крепкие согласием нравов с учением веры: эти святые монастыри, расадники христианского устройства, духовное сердце России, в которых хранились все условия будущего самобытного просвещения; эти отшельники, из роскошной жизни уходившие в леса, в недоступных ущельях изучавшие писания глубочайших мудрецов христианской Греции и выходившие оттуда учить народ, их понимавший»*. Общество мало сохранило из хорошего старого. Церковь же сохранила все. «Истреблять оставшиеся формы, — пишет Киреевский, — может только тот, кто не верит, что когда-нибудь Россия возвратится к тому живительному духу, которым дышит ее Церковь».

Уже в этой статье есть мысль будущих основательных статей Киреевского, где он пишет о взаимоотношениях просвещения Европы и России и о необходимости новых начал в философии. Вот что он говорит: «Желать теперь остается нам только одного: чтобы какой-нибудь француз понял оригинальность учения христианского, как оно заключается в нашей Церкви, и написал об этом статью в журнале; чтобы немец, поверивши ему, изучил нашу Церковь поглубже и стал бы доказывать на лекциях, что в Ней совсем неожиданно открывается именно то, чего теперь требует

просвещение Европы. Тогда, без сомнения, мы поверили бы французу и немцу и сами узнали бы то, что имеем».

Иван Васильевич имел желание проповедовать эти новые начала философии не только в узком кругу друзей. В 1839 году были попытки открыть при Московском университете кафедру философии. Киреевский стал претендовать на нее и подал соответствующее прошение попечителю. Но кафедра не была открыта*.

Погодин пишет М. А. Максимовичу в феврале 1840 года: «Иван Киреевский сделался очень набожен». В это время началось духовное сближение Киреевского с Гоголем, так как в их исканиях оказалось много общего. Гоголь посещает воскресные вечера в доме у Красных ворот, читает там первые главы «Мертвых душ». Он всю жизнь мучился тем, что внутреннее, живущее в душе, не ложится на бумагу так, как хотелось бы. «Выражение» мысли как бы, по слову Киреевского, «простуживает» ее... И вот Гоголь в молчании творит — а не на бумаге. Он очищает, создает свою душу. И в этом у них общее. В молчании трудится и Киреевский. Мало кому понятно было, что это весьма далеко от ничегонеделания. Ведь вот и Хомякова не многие понимали. Одно дело его споры и парадоксы на вечерах, другое — потаенная жизнь с Богом, одинокое ночное стояние на коленях перед иконами... Прекрасное, благое, животворное Безмолвие!.. Начал и Киреевский постигать его, эту великую тайну православных аскетов, исихастов... Может быть, в это время поставил Иван Васильевич на столик у себя в изголовье икону «Благое молчание» с изображением Иисуса Христа в образе одного из трех Ангелов Трои-

* «Не теряю еще из сердца намерения, — писал Киреевский А. И. Кошелеву, — написать, когда будет можно писать, “Курс философии”, в котором, кажется, будет много новых истин, т. е. новых от человеческой забывчивости. Жаль, очень жаль, что западное безумие стеснило теперь и нашу мысль, именно теперь, когда, кажется, настоящая пора для России сказать свое слово в философии, показать им, еретикам, что истина науки только в истине Православия» (ОР РГБ. Ф. 99. К. 7. Ед. хр. 50).

* ОР РГБ. Ф. 99. 7. 50.

цы, со скрещенными на груди руками (это символ безмолвного богомыслия). Эта икона, этот образ Святого Безмолвия до конца жизни был с ним.

«Воля рождается втайне и воспитывается молчанием», — пишет Киреевский Хомякову.

Великий подвижник-аскет святитель Исаак Сирин, епископ города Ниневии, живший в VIII веке, — признанный иноками наставник ищущих Божественного Молчания. Рукопись его сочинений, переведенных на церковнославянский язык преп. Паисием (Величковским) в конце XVIII века, рукописная книга, сделанная очень хорошо в одном из русских монастырей, может быть, на Афоне, была у Натальи Петровны. Киреевский всегда с огромным уважением и даже восторгом говорил об этом святом. Вряд ли будет ошибкой сказать, что в обращении Ивана Васильевича «слова» Исаака Сирина были очень серьезной силой. Это поистине божественные глаголы неизреченной красоты и мудрости.

Итак, что такое, по Исааку Сирину, Безмолвие?

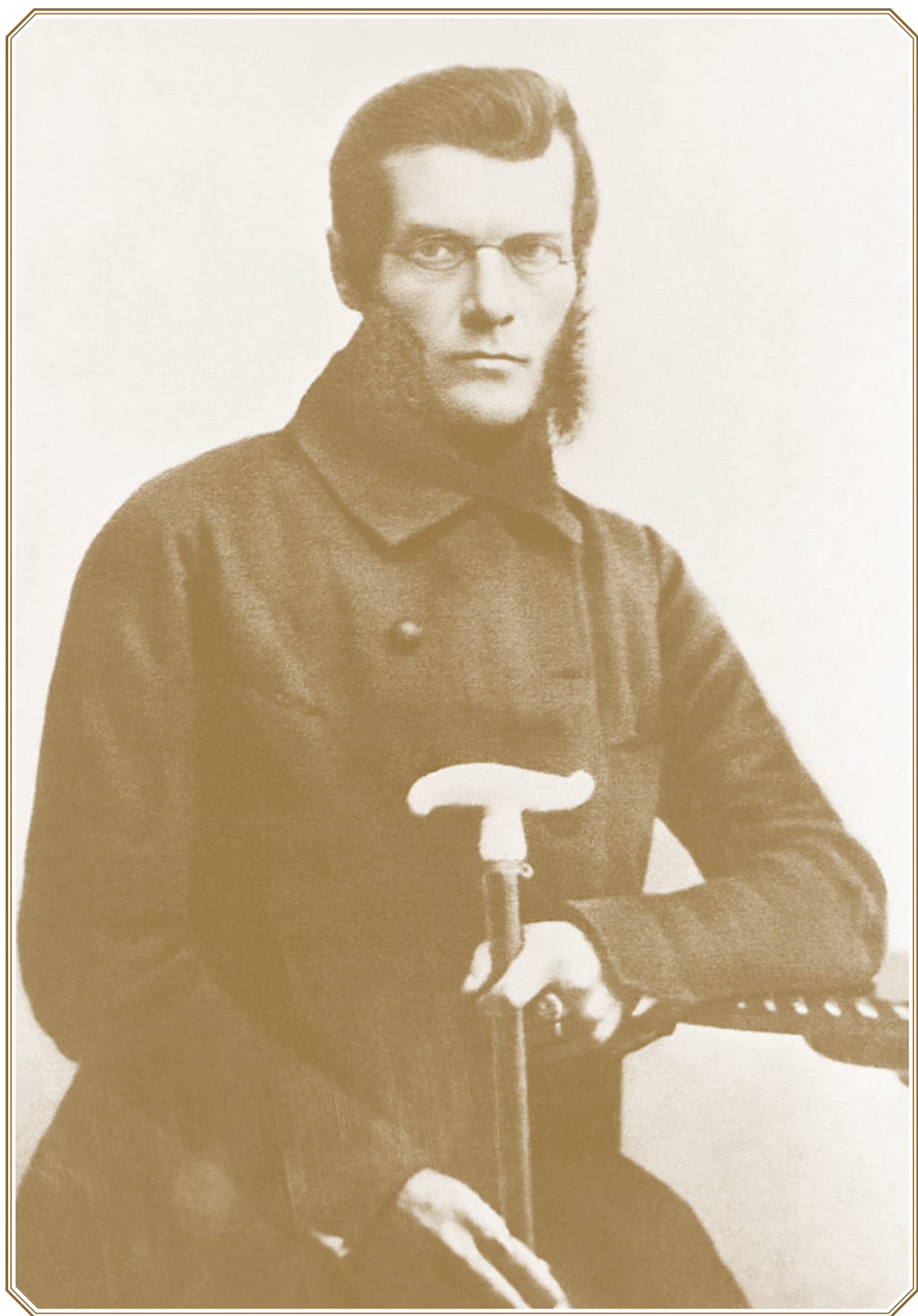
Вот что он, вдохновленный Духом Святым, писал: «Да подаст тебе Бог ощутить что-либо рождаемое молчанием... Велик тот человек, который терпением членов своих приобрел внутренне в душе своей чудный сей навык. Когда на одну сторону положишь все дела жития сего, а на другую молчание, тогда найдешь, что оно перевешивает на весах. Много советов у людей, но когда сблизится кто с молчанием, излишне для него будет делание хранения их, и излишними окажутся прежние дела, и сам он окажется превзошедшим сии делания, потому что приблизился к совершенству»... «Кто любит собеседование со Христом, тот любит быть уединенным. А кто любит оставаться с многими, тот друг мира сего. Если любишь покаяние, возлюби и безмолвие, ибо вне безмолвия покаяние не достигает совершенства»... «Молчание чистых один из христовосных мужей называет молитвою, потому что помыслы

их суть божественное движение, а движение чистого сердца и ума суть кроткие гласы, которыми сокровенно воспевают Сокровенного»... «Когда чувства заключены безмолвием, не позволяется им устремляться вне... Тогда увидишь, что такое естественные помыслы души, что такое самое естество души и какие сокровища имеет она скрытыми в себе. Сокровища же сии составляют познание бесплотных, возникающее в душе само собою... редкий человек знает, что таковые помыслы возникают в природе человеческой. Такова то природа души. Следовательно, страсти суть нечто придаточное, и в них виновна сама душа»... «Молчание есть тайна будущего века (то есть состояние души после Страшного Суда. — м. Л.), а слова суть орудия сего мира».

Конечно, Киреевский не имел возможности подвизаться в молчании строго по-монашески, но Безмолвие вошло в его жизнь как отсвет этого делания, как идеал, которым он поверял теперь все, что ни делал. Постепенно он стал исполнять и многое из монашеского, из того, что есть общего у мирян с монахами, но мирянами забытое. Архиепископ Иларион (Троицкий) в 1914 году писал, что «во всех монашеских обетах и осталось у нас специально монашеское только одно безбрачие. Все добродетели одинаково обязательны и монахам, и мирянам». Далее он приводит слова святителя Иоанна Златоуста: «Разность между монахами и мирянами в том, что одни вступают в брак, а другие нет, во всем же прочем они подлежат одинаковой ответственности».

Иван Васильевич, как истинный аскет, пристально следил за своим «внутренним» человеком, силой воли и с Божьей помощью подвигая его к молитве и нравственно чистому житию. Он учился улавливать помыслы, пролетающие через ум и душу, мгновенно оценивать их и отвергать злые, навешанные вражьей силой (таких было всегда больше). В этой борьбе, проводимой с Божьей помощью, он научился различать три момента: «Прилог» (пришла мысль),

Монах Лазарь (Афанасьев)



И. В. Киреевский

«Сочетание» (оценка ее), третий — двоякий: «Сложение» (помысл принят) или «Отвержение» помысла (победа). Злой помысел, будучи принят (хотя бы и не к действию, а просто с расположением), есть грех и подлечит исповеди. Однако различие помыслов — дело очень тонкое, «наука наук», часто они — волки в овечьих шкурах. Чем опытнее аскет, тем сложнее помыслы, часто искусно подкрашенные под нечто доброе... Количество помыслов всегда огромно, они настойчиво стучатся в душу, и борьба с ними иногда приобретает истинно трагический характер: это война не на жизнь, а на смерть, ибо сатана усиливается навеки погубить душу.

Вот что писал Киреевский во времена такой войны: «Надобно твердо, незыблемо, несокрушимо, алмазно-твердо поставить себе границы не только в делах, но в самых незаметных пожеланиях, боясь как огня, как бесчестия, самого незаметного лукавства в самой мимолетной мечте. Господи! Дай мне силы и постоянное желание быть истинным во всех изгибах моего ума и сердца!» Киреевский просит Господа дать ему благое желание (произволение), потому что чаще всего в душу человека внедряется произволение злое, и оно насаждается постепенно, с великим искусством, человек привыкает к нему и начинает считать своим личным хотением то, что вложил в него сатана-человекоубийца, очень изощренный делатель зла. Это ведь очень серьезно, это вопрос жизни и смерти, но сатана неустанно взращивает в душе человека беспечность и небрежение о своем спасении. Только Православная вера дает человеку возможность спасения.

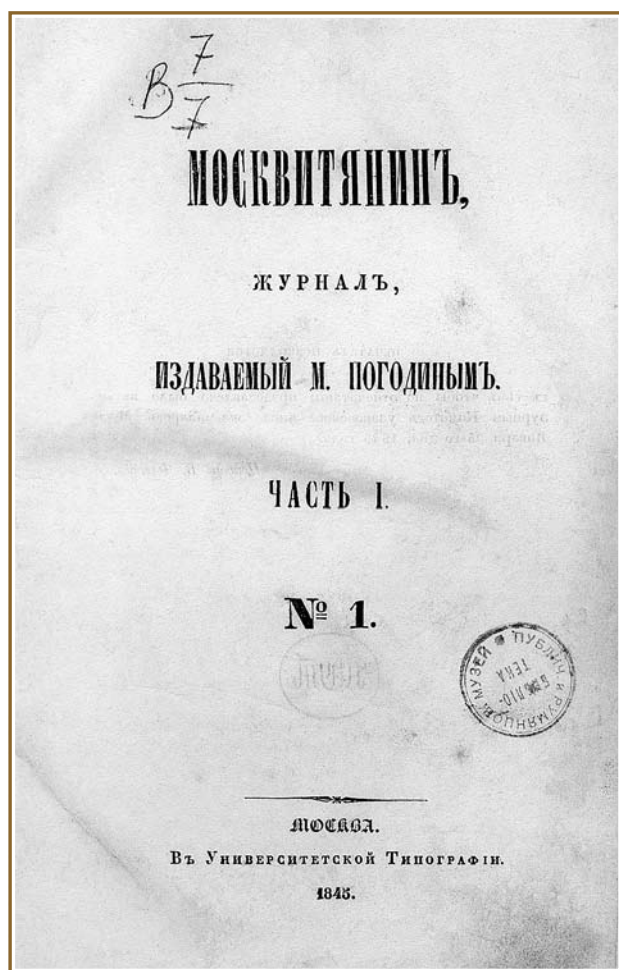
Среди тех духовных средств, которые помогают человеку найти путь к спасению, — святоотеческие писания, книги аскетов. Они, однако, в первой половине XIX века и раньше были мало доступны мирянам, да и монахи с трудом доставали рукописные книги. Очень скоро понял Иван Васильевич, какой дивный клад — собрание таких книг, принесенное в его семью Натальей Петровной. В основном это бы-

ли рукописи. Но не сразу пришла Киреевскому мысль об издании этих сокровищ...

В 1842 году скончался новоспасский старец Филарет. Иван Васильевич ежедневно навещал его во время болезни, и старец окончил свои дни едва ли не на его руках. Тихая и величественная кончина старца произвела на Киреевского огромное впечатление. Он увидел достойный итог святой жизни, прекрасный переход из временной жизни в вечную. Иван Васильевич еще более замкнулся. На посторонний взгляд он казался нелюдимым и мрачным — только трубку свою сосет, пуская дым, под глазами темные круги, взгляд внимательный, проникающий, кажется, в самую душу...

Господь посылал Киреевскому нелегкие испытания, как бы торопя его быстро идти вперед в очищении души, напоминая ему о том, чего человек не должен забывать никогда, — о смерти, ибо памятование о смерти много приносит пользы душе, помогает в борьбе с грехом. В феврале 1843 года после родов и продолжительной болезни Наталии Петровны Иван Васильевич слег с головными болями, от которых впадал в беспамятство. Бог помиловал Ивана Васильевича, болезнь скоро отступила, но в чем она состояла, не мог определить и призванный к его постели знаменитый московский врач Пфель. Еще не раз Киреевский испытает бурные приступы грозного недуга.

В этом, 1843-м, году прибыл из-за границы поэт Языков, лечившийся там несколько лет от спинной сухотки. Ему сорок лет, но от цветущего волжанина не осталось ничего: теперь это сгорбленный старичок с бородкой клином и изможденным лицом, который почти не может ходить: слуги под руки втаскивают его в экипаж. Он, однако, духом бодр, пишет звучные стихи. Он нанял в Москве квартиру и завел «вторники». Иван Васильевич бывал у него и чаще. Гоголь, во многом помогавший Языкову за границей, живший подолгу вместе с ним, просил Ивана Васильевича помогать больному другу. Иван Васильевич



Титульный лист журнала «Москвитянин».
1845 г.

по-братски любил Языкова, который в последние годы обратился к Церкви, много читал. Именно Языков посылал Гоголю в Рим книги духовных писателей и номера журнала «Христианское чтение».

Киреевского мало интересовала литература. Но в Москве в 1842 году появился серьезный патриотический журнал под названием «Москвитянин». Издавал его Погодин. Главным сотрудником был у него Степан Шевырев. В 1844 году московские славянофилы, безуспешно пытавшиеся создать свой печатный орган, обратились к Погодину с общей от них просьбой — уступить им на несколько лет своего «Москвитянина». Погодин кое-как решился, но с условием, что редактором будет Киреевский. И сам стал просить его. Киреевский долго колебался, не хотелось ему нарушать своего молчания. Он запрашивал мнения

друзей — С. Т. Аксакова, Д. Н. Свербеева, А. С. Хомякова... И согласился только ради дружества. В договоре, который он заключил с Погодиным, было сказано, что Киреевский имеет право отказаться от редакции по выходе четырех номеров: если же не откажется, то обязан издавать журнал целый год. У Киреевского так и получилось — четыре номера.

Даже Грановский и Герцен одобрили тогда передачу «Москвитянина» в руки Киреевского. Оба они относились к Ивану Васильевичу с большим уважением, несмотря на разногласия и часто противоположность взглядов. Грановский в июне 1844 года проездом попал в Долбино и провел там три дня. «Всякий день мы сидели с ним до трех часов ночи, — писал о Киреевском жене Грановский, — и говорили о многом. Он почти решился взять «Москвитянина»... С ним сойтись нетрудно, у него такая широкая, благородная природа, что ее не могли сузить никакие мнения. Но дружба его!»

Хомяков с отрочества был человеком, что называется, церковным, но и его поразила та глубокая серьезность, которая отличала вхождение Ивана Васильевича в лоно Православия, его поворот от всеевропейства к богомыслию. «Не символ ли это, — замечает Хомяков, — необходимого пути, по которому должно пройти наше просвещение? И коренная перемена в Киреевском не представляет ли утешительного факта для наших надежд?» Это мысль о том, что Киреевский нашел тот путь, по которому должна бы пойти русская интеллигенция, образованное общество.

Итак, Иван Васильевич Киреевский стал временным редактором «Москвитянина» — надо было приступать к делу. Пошла переписка о разных частностях с Погодиным. Ночами (а Киреевский любил работать именно по ночам, особенно летом у раскрытого в сад окна...) он должен был не только редактировать, но и писать, давать журналу направление... В ноябре 1844 года Киреевский приехал в Москву из Долбина целым обозом, привез

разные деревенские припасы семье на зиму... С первого же дня в Москве он понял, что ввязался в крайне беспокойное дело.

В конце января 1845 года вышел первый номер обновленного «Москвитянина», открывшийся «Словом на освящение храма Благовещения Пресвятыя Богородицы в кафедральном Чудове монастыре» митрополита Московского и Коломенского Филарета. Среди авторов этой книжки — Жуковский, Языков, Елагина (как переводчик), Погодин, Шевырев, ну, и сам Киреевский. Он выступил со своим «Обозрением современного состояния литературы» и рядом рецензий. В «Обозрении» (статья первая — был задуман цикл) Киреевский разбирает современное состояние не столько литературы, сколько европейской философии текущего времени.

Он подробно освещает новую систему Шеллинга, отмечая, что в ней есть значительный отход от его прежних воззрений, что ныне философ «принимает как достоинство разума догматы веры, не развитые из разума по законам логической необходимости». Киреевский счел, что Шеллинг как бы идет на сближение с православным мировоззрением. Иван Васильевич, радуясь этому, резюмирует: «Философия в последнем, окончательном развитии своем ищет такого начала, в признании которого она могла бы слиться с верою в одно умозрительное единство». Однако западная философия не пошла по этому пути.

Затем вышли февральская и мартовская книжки журнала. В них — продолжение «Обозрения», которое останется без окончания. Здесь опять мысли Киреевского о недостаточности человеческого разума. «Логический разум, — пишет он, — отрезанный от других источников познания и не испытывавший еще до конца меры своего могущества, хотя и обещает сначала создать человеку внутренний образ мыслей, сообщить неформальное, живое воззрение на мир и самого себя, но, развившись до последних границ своего объема, он сам сознает неполноту своего

отрицательного ведения и уже вследствие собственного вывода требует себе иного, высшего начала, недостижимого его отвлеченному механизму».

Напряжение оказалось слишком большим. Книжки журнала все же не получались цельными, так как не было достаточно авторов, пришлось поместить переводные вещи (но все же неплохие — например, Диккенс...). Погодин, передавший Киреевскому журнал, как бы в силу ущемленного самолюбия, вел ту часть, которая осталась за ним (типография, бухгалтерия, подписка...), из рук вон... Набор длился слишком долго, корректуры приходили по частям, подписчики не получали номеров, даже Жуковский, даже и родственники Киреевского... Иван Васильевич пишет в день по несколько записок, которые начинаются так: «Помилуй, Погодин, что ты наделал?..»; «Я не понимаю хорошо, любезный Михаил Петрович, что ты шутишь ли, или смеешься надо мной?..» Конечно, многое зависело от Погодина, так как журнал выходил через его контору. Киреевский от всего этого устал. Попытки навести порядок ни к чему не привели. И вот Погодин как бы с удовлетворением отмечает в дневнике, что Киреевский «никак не может справиться с журналом» (14 февраля 1845 года). «С Киреевским о журнале и все без толку» (9 марта).

Почти весь апрельский выпуск заняла присланная Киреевскому из Оптиной Пустыни старцем Макарием рукопись «Житие молдавского старца Паисия Величковского». В марте ее читал духовный цензор протоиерей Феодор Голубинский. «Жизнь и письма о. Паисия, — писал он, — постараюсь прислать к вам через три дня... Помоги вам Бог в общепользных трудах ваших! Действительно, это жизнеописание весьма важно не только для монахов, но и для всех любителей духовного просвещения, а в особенности для любителей отечественной славы».

Киреевский наконец почувствовал себя плохо, заболел, долго лежал у себя в московском доме, а потом уехал в Долбино.

Погодин: «О журнале. Киреевский отказывается за болезнью. Наделала синица славы! Я мог бы обойтись без его редакции, даже лучше»...

3. Православный философ

Знаменитый старец, прозорливец и молитвенник, начальник скита Оптиной Пустыни преподобный Макарий находил время и для просмотра журналов, не только духовных, но, однако же, близких к духовности. И опять Наталья Петровна, опять я должен о ней сказать, так как она в это время уже духовное чадо старца Макария, часто бывает в Оптиной. Побывал там несколько раз и Иван Васильевич. Они привыкали к этому монастырю, им здесь все было по душе. Вот, просматривая журналы, старец Макарий обратил внимание на первые номера «Маяка» и «Москвитянина» за 1845 год. В одном из писем тогда же заметил, что издания эти «идут в духе религиозном». «Последнего издатель мне знаком, — пишет он, — это господин Киреевский. Но, к сожалению, он, по болезни своей, оставляет оный на попечение других, а он имел надежду провести религиозное и нравственное направление и соединить их, как и необходимо, с наукою, — тогда как в ученом мире наука непременно разъединяется с религиею. Это, пройдя опытом, он хотел доказать убеждением, и, конечно, успел бы в столь полезном для человечества предприятии, но сил физических не достало».

Настоятель Оптиной Пустыни игумен Моисей и старец Макарий решили выпустить напечатанное в «Москвитянине» «Житие старца Паисия» отдельной книгой с прибавлением некоторых его сочинений. Дело это они поручили Наталье Петровне и даже выслали ей деньги на типографские расходы. 7 мая 1845 года игумен Моисей пишет Наталье Петровне: «Получа почтенное ваше писание от 26 апреля с возвращением денег, посланных на напечатание по желанию нашему из журнала “Москви-

тнин”, особо жизни и писем блаженного старца Паисия, которое достопочтеннейший супруг ваш Иван Васильевич, купно и вы, благоволили вменить себе во утешение — напечатать безденежно и доставить к нам просимое количество, — я приятною обязанностью поставлю принести вам и супругу вашему глубочайшую признательность за таковое ваше благожелательство к душевному назиданию многих. Узнав из письма вашего о болезни Ивана Васильевича, — сердечно соболезнуем и по долгу христианской любви молим общевратно Премилосердного Господа о исцелении его от болезни». Старец Макарий приписал: «Примите и от меня, почтеннейшая Наталья Петровна, усердное благодарение за память вашу; жалею о болезни Ивана Васильевича, дай Бог ему крепости».

Книга была напечатана и потом вышла вторым изданием. Для оптинцев важно было напечатать именно житие преп. Паисия (ныне канонизированного). Преп. Паисий в середине XVIII века ввиду гонений на монашество переселился из России в Молдо-Влахийские земли, где основал несколько монастырей и имел огромное влияние на иночество. Он стал великим наставником православного монашества, хранителем его духовных устоев. Тяжелый труд поднял он со своими помощниками — он переводил на церковнославянский язык с греческого писания Святых отцов, учителей Церкви. Все главные книги по аскетике были им переведены и аккуратно переписаны. Рукописи копировались его учениками и расходились по всей России, оседа в монастырях, попадая и к мирянам. Польза их была неоценима, так как в печатном виде тогда этих писаний в России почти не было. Именно по этим рукописным книгам монахи научались духовному деланию, борьбе с темными силами зла, с помыслами, с собственной злой волей, памятованию о Боге, о смерти, всему, что необходимо для стяжания Духа Святаго, для вечного спасения.

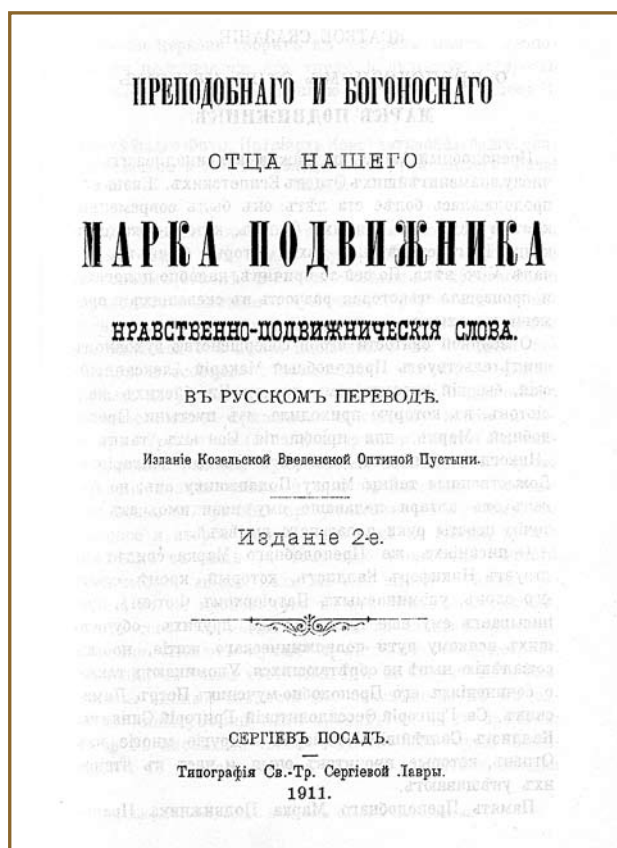
Через учеников св. Паисия много этих книг попало в Оптину. Уже давно оптин-

ские старцы задумывались о печатном издании этих книг, что не так легко было исполнить. По регламенту еще Петра I только Синод имел право выпускать духовные книги. Однако почти не выпускал. Старцы молились и ждали, чтобы Господь устроил это нужнейшее для иноков дело. Их молитвы были услышаны. Ивану Васильевичу предстояло начать со старцами великое дело, но перед этим началом он должен был пережить тяжелое испытание. Он страдал телесно. Наталья Петровна писала Елагиной, матери мужа:

«Кроме его обыкновенного страдания от боли в сердце, он ни одной ночи не может уснуть... Ставили пиявки, принимал он лекарства, но пользы нет. Сегодня всю ночь боль в сердце, лом и нытье в ногах... потом боль в почках, в голове, расстройство нерв, слабость, — все, соединенное вместе, чрезвычайно изнуряет его». Доктор Пфель не знал, что делать. Но зато знала это Наталья Петровна: она молилась о супруге, призывала долбинского священника причастить его, давала ему богоявленской святой воды.

Недели через две недуги утихли, потом пропали. Осенью Киреевские опять в Москве, они занимаются изданием книги. И вот она вышла. «Все действия ваши, — писал Киреевским старец Макарий, — по сему предмету доказывают ваше великое усердие к сообщению полезного ближним. Я не буду вас благодарить, да вы и не ищите благодарности: польза, которую могут получить кто-нибудь из близких, уже есть вам воздаяние. Господь даровал вам сие благое произволение... Что мне остается делать? Аще и недостойн есмь, но молить Господа о ниспослании вам благоденствия и спасения».

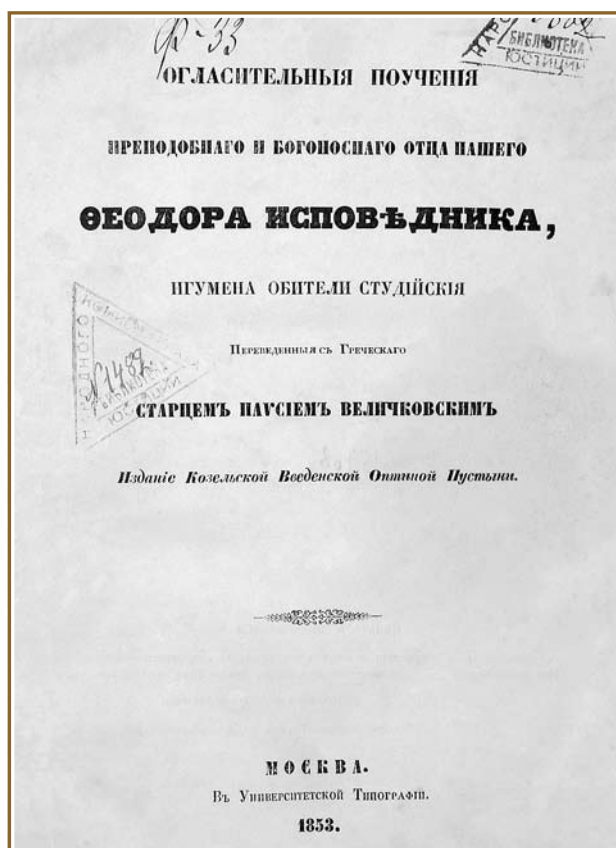
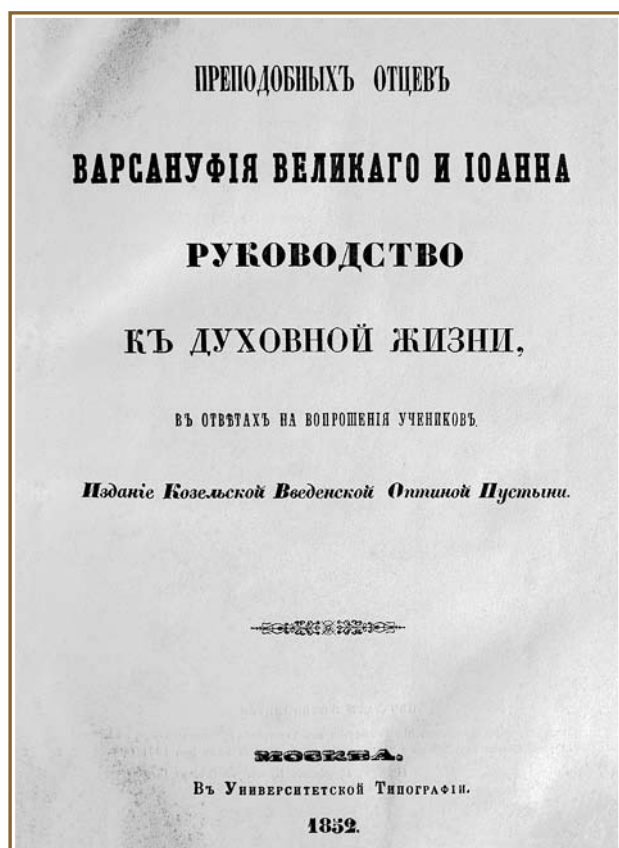
В марте 1846 года старец Макарий приехал в Долбино исповедать супругов Киреевских и побеседовать с ними. Разговор «коснулся о недостатке духовных книг для руководствующихся в деятельности христианской жизни». Тут же припомнили, что можно издать, конечно, рукописи, подлинники и копии с переводов о. Паи-



Издание Оптиной Пустыни:
«Марк Подвижник». 1911 г.

сия... Старцу Макарию с братией и Киреевским суждено было поднять это благое дело. Московский митрополит Филарет, с которым хорошо была знакома Наталья Петровна, благословил старцев, взялся опекать оптинское книгоиздание, и уже Синод не решался потом накладывать запрета, хотя и были попытки.

Рукописи подготавливались в Скиту. Старцу Макарию помогали сотрудники-иноки — иеромонах Леонид (Кавелин), бывший тогда еще послушником, иеромонах Амвросий, будущий святой и великий старец, монах Ювеналий — впоследствии архиепископ Виленский, послушник Павел (позднее иеросхимонах Платон) и некоторые другие. Келлия старца Макария поневоле приобрела вид редакции: всюду корректуры, тетради, исписанные листы бумаги, стопки книг... Иеросхимонах Леонид (впоследствии архимандрит, духовный писатель) вспоминал: «Всеми занятиями, как по приготовлению к печатанию



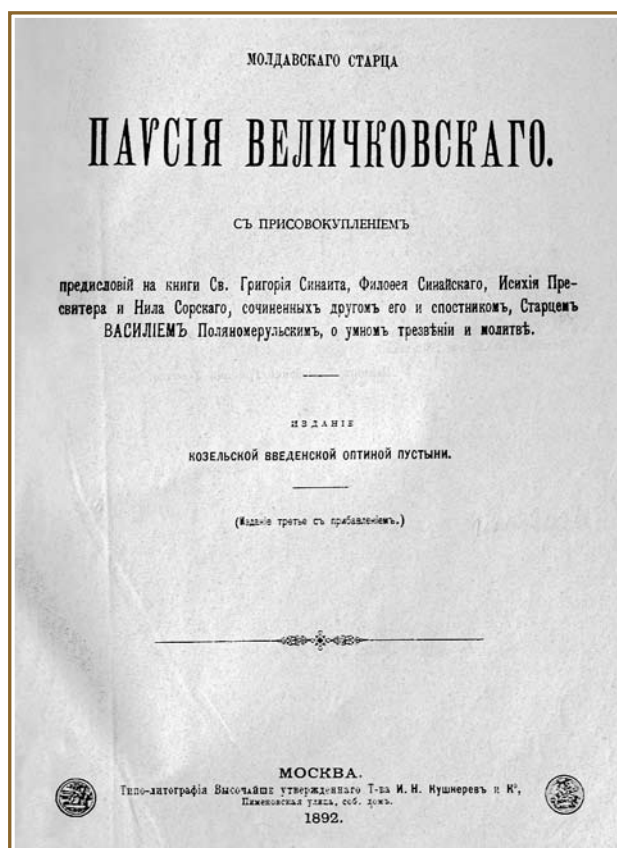
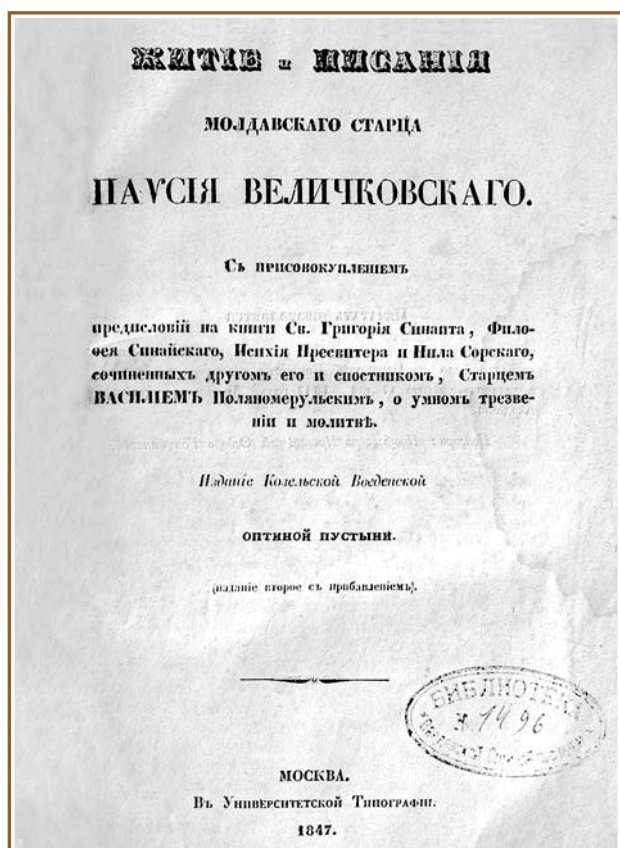
Издания Оптиной Пустыни: «Варсонофий Великий и Иоанн», 1832 г.; «Феодор Исповедник», 1853 г.

славянских переводов старца Паисия, так и при переводе некоторых из них на русское наречие, руководил непосредственно сам старец. Можно утвердительно сказать, что ни одно выражение, ни одно слово не было вписано в отсылаемую в цензуру рукопись без его личного утверждения».

Рукописи, подготовленные к печати, читал сначала митрополит Филарет, затем цензор протоиерей Феодор Голубинский. После них начинал заниматься рукописью Иван Васильевич Киреевский. Он уточнял перевод, привлекая при этом разные источники, переписывался со старцем Макарием по каждому мало-мальски спорному случаю. Он чувствовал, что занят настоящим и именно богоугодным делом. И враг рода человеческого снова восстает на него. Опять болезнями, ведь сказано, что идущий к Безмолвию должен претерпеть большие скорби, как бы распятыся на кресте.

И вот он снова распят... Это случилось в Москве в начале мая 1847 года. Опять боль в сердце, удушье... Он поначалу борется, не

ложится в постель, даже с трубкой не расстается... Но через неделю он уже почти при смерти. Близкая знакомая Киреевских Елизавета Ивановна Попова писала в дневнике: «Троицын день... Какая тяжкая болезнь у Ивана Васильевича, и как сильно он страдал! Его лечили Овер, Рихтер и Пфель... Все, знающие Киреевского, с тоской и страхом прибегали по два раза в день узнавать о нем. Грановский плакал, узнав о его опасности». 17 мая: «Был ужасный день, когда Овер сказал, что должно прибегнуть к последнему средству — лечению холодной водой... Стоны больного во время обливания головы терзали душу». Брат Петр и сестра Мария были возле больного. Маша, не дожидаясь выздоровления брата, по обету о его исцелении, пошла пешком в Киевскую Лавру, дошла в три недели... Пока она была в пути, Иван Васильевич медленно выздоравливал, конечно — и ее молитвами. И вот он стал выезжать на воздух в экипаже. А в июле вместе с женой и сыном Василием, которому исполнилось одиннадцать лет,



Издания Оптиной Пустыни: «Паисий Величковский» — 1847 и 1892 гг.

совершил поездку в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру на празднование памяти преподобного Сергия.

Иван Васильевич вновь занимается оптинскими изданиями, читает Святых отцов и постоянно делает наброски на листах, готовя материал для статьи о ложности оснований западноевропейской философии. У него все более крепнет мысль выработать философию православную, на основании веры, догмата о Святой Троице. Он пишет: «Еще существующее недоразумение о противоречии философии и религии, разума и веры основывается на недостатке образованности и на ложном состоянии современной философии». И далее: «Философия, противоречащая вере, потому только могла развиваться и овладеть умами на Западе, что самая вера его еще прежде отшатнулась от правильного учения Церкви». Для познания мало одного логического разума, мало умственных способностей, — нужны еще способности аскетические, внутренняя работа души,

молитва ко Господу и Всем Святым о вразумлении... «Высшее начало знания, — пишет Киреевский, — хранится внутри Православной Церкви».

От собственного поместья Киреевские не имеют больших доходов. Их быт скромный, часто едва ли не беден. Иван Васильевич носит потертые сюртуки. Много из того, что производили долбинские поля, отправлялось в монастыри, прежде всего в Оптину Пустынь. В усадьбе Киреевских часто гостят монахи — кто проездом, кто нарочно навестить их, кто за лекарствами (Иван Васильевич держал аптеку). В версте от господского дома Киреевские построили избушку-келлию при лесном ручье. Здесь и помещались монашествующие. Хозяева же с их разрешения навещали их для беседы, стараясь в общем не нарушать их покоя. Стал тут останавливаться и старец Макарий. Чаще всего он приезжал с рукописями или корректурами, в сопровождении помощников, и в избушке велась работа над очередной духовной книгой.

Иногда, также с делом, приезжал Иван Васильевич в Скит. Старец принимал его в своей келлии. У него были две комнаты, обе с передними, выходящими в коридор, — на другой половине помещались его келейники. В одной комнате старец жил, другая была приемной. Кроме множества хороших икон, тут были портреты патриархов, епископов, близких людей — монашествующих и мирян. Работал старец Макарий за простым столом, покрытым клеенкой, на котором всегда находилось множество требующих ответа писем, духовные журналы, книги, чернильница и перья. Под окном узкая постель, у изголовья Распятие.

Старец Макарий благословил Киреевского на писание статей в православном духе. Одна из них, «О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России», была напечатана в первом «Московском сборнике» 1852 года. Это как бы сравнительный анализ русского и общеевропейского характера. Правда о русском народе, высказанная здесь, явилась настолько высокой, что даже для некоторых патриотов и славянофилов оказалась спорной, пусть не во всем, но во многих деталях. Однако у Киреевского здесь не восторги и похвалы своему народу, а логические заключения и факты.

Он писал: «Русский человек больше золотой парчи придворного уважал лохмотья юродивого. Роскошь проникла в Россию, но как зараза от соседей. В ней извинялись, ей поддавались как пороку, всегда чувствуя ее незаконность, не только религиозную, но и нравственную, и общественную. Западный человек искал развитием внешних средств облегчить тяжесть внутренних недостатков. Русский человек стремился внутренним возвышением над внешними потребностями избежать тяжести внешних нужд». И вот итог этих размышлений: «Христианство проникало в умы западных народов через учение одной римской церкви — в России оно зажигалось на светильниках всей Церкви Православной; богословие на Западе приняло

характер рассудочной отвлеченности — в православном мире оно сохранило внутреннюю цельность духа; там раздвоение сил разума — здесь стремление к их живой совокупности; там движение ума к истине посредством логического сцепления понятий — здесь стремление к ней посредством внутреннего возвышения самосознания к сердечной цельности и средоточению разума; там искание наружного мертвого единства — здесь стремление к внутреннему, живому; там церковь смешалась с государством, соединив духовную власть со светскою и сливая церковное и мирское значение в одно устройство смешанного характера, — в России она оставалась не смешанною с мирскими целями и устройством; там схоластические и юридические университеты — в древней России молитвенные монастыри, сосредоточившие в себе высшее знание... Там враждебная разграниченность сословий — в древней России их единодушная совокупность при естественной разновидности». Не предлагая никаких решений, Киреевский говорит: «Одного только желаю я: чтобы те начала жизни, которые хранятся в учении Святой Православной Церкви, вполне проникнули убеждения всех степеней и сословий наших, чтобы эти высшие начала, господствуя над просвещением европейским и не вытесняя его, но, напротив, обнимая его своей полнотою, дали ему высший смысл и последнее развитие и чтобы та цельность бытия, которую мы замечаем в древней, была навсегда уделом настоящей и будущей нашей Православной России».

В мае 1852 года старец Макарий ехал в Троице-Сергиеву Лавру и в Москве остановился в доме Киреевских. Он прожил тогда здесь целый месяц, так как было много дел в Москве. По его совету с этого времени Иван Васильевич начал вести дневник, где освещал преимущественно свое духовное бытие. 15 мая на первой его странице старец собственноручно написал свое предисловие-благословение. Они трудились тогда над рукописью книги святых Варсонофия Великого и Иоанна Пророка.

Делался перевод ее с греческого языка на церковнославянский. Иван Васильевич редактировал перевод, сделанный оптинскими монахами. Рукопись была сложности необыкновенной и большого объема. Готовя это издание, старец Макарий работал и над русским переводом книги. Это одна из святоотеческих книг, неустаревающих и духоносных. Кроме того, в это же время Иван Васильевич участвовал в переводе творений св. Исаака Сирина с церковнославянского на русский, с проверкой по греческому тексту.

Поначалу Иван Васильевич вел свой дневник аккуратно. Вот дни, когда старец Макарий еще гостил в Москве: «5 июня. Был у обедни... За чаем был о. Макарий. Говорил о внутреннем слове, о смирении: “Когда мы видим сучок в глазу брата, то бревно непременно должно быть в нашем”. “Покуда видим в других пороки, до тех пор в нас нет смирения. Человеку смиренному все кажутся лучше его, все кажутся добродетельными”. Я заметил на это, что если мы будем всех видеть добродетельными, то от этого, по крайней мере в мирской жизни, могут произойти беды и неприятности. Батюшка ответил, что смиренного Господь сохранит от этих бед и неприятностей, которые могут произойти от такой ошибки». В дневнике много раз отмечается: «Был у всенощной»; «Был у обедни»... 27 июля, после обедни у «Трех Радостей» (так называл Иван Васильевич церковь Трех Святителей), он записал: «Получив извещение о милостивом услышании молитвы моей, прошу Всемогущего Бога, чтобы Он даровал мне во все минуты моей жизни: во всем Ему предаваться, отсекая все страстные и корыстные цели, искать в каждом движении мысли прославления Его Святого Имени». 24 августа: «Вера не противоположность знания; напротив: она его высшая ступень. Знание и Вера только в низших ступенях своих могут противуполагаться друг другу, когда первое еще рассуждение, а вторая предположение. Вера отличается от убеждения разумного только тем, что последнее есть уверенность в

предметах, подлежащих одному рассудку, как, например, в вопросах математических; вторая есть убеждение в предметах, одним рассудком необнимаемых и требующих для своего уразумения совокупного, цельного действия всех познавательных способностей, как, например, вопрос о Божестве и о наших к Нему отношениях. Не только смысл логический, но и нравственный смысл, и даже смысл изящного должен быть сильно развит в человеке для того, чтобы его ум был проникнут живым убеждением в бытии Единого Бога, Всеблагого и Самомудрого Промыслителя. Из собрания отдельных умственных и душевных сил в одну совокупную деятельность, от этого соединения их в первобытную реальность — зажигается в уме особый смысл, которым он познает предметы, зрению одного рассудка недоступные. Потому многое, что для рассудка кажется беспорядочным нарушением законов, то для высшего смысла ума является выражением высшего порядка».

В 1853 году записи продолжают: «3 августа. Был у обедни у “Трех Радостей”... исповедался. Завтра, надеюсь, Господь сподобит меня приобщиться Его Святого Тела и Крови, за мои грехи излиянной, для моего спасения... Господи, буди милостив ко мне, недостойному рабу Твоему! Прости грехи мои и недостойнство мое и исполни Твоею благодатью и Твоим милосердием. Приими милостиво меня и детей моих, Тобою мне данных для прославления Имени Твоего Святого. Мы ищем Тебя и надеемся на Твое неизреченное благоутробие. Зажги в сердцах наших неугасимый огонь святой любви к Тебе и сохрани его, да не осквернится он ничем недостойным его. Помилуй нас, Господи! Живый и Всемогущий! Вселюбящий и неизреченно близкий к нам! Дай прикоснуться к Тебе мыслию сердца нашего, дай послужить в жизни нашей на прославлении Имени Твоего Святого!»

3 октября: «Был у всенощной. — Как бы желал я удерживать постоянно в памяти моей те мысли и слова, которые берегу

в сердце на пути Правды, ибо это самое правильное выражение. Сердце беспрестанно стремится, беспрестанно идет, — но путь может быть непорочный, законный, — или лукавый, незаконный. Если бы я мог всегда помнить, что Всемогущий Господь постоянно Сам меня окружает всеми событиями жизни моей; что то, что мне грустно, и тяжело, и дурно, — есть самое лучшее для того состояния, в которое я поставил свою душу; что если я буду желать выйти из этого состояния каким-нибудь путем, не согласным с волею Божьею, то могу только придти в еще худшее; что надобно твердо, незыблемо, несокрушимо, алмазно-твердо поставить себе границы не только в делах, но в самых незаметных пожеланиях, боясь как огня, как бесчестия, самого незаметного лукавства в самой мимолетней мечте. Господи! Дай мне силы и постоянное желание быть истинным во всех изгибах моего ума и сердца! Сколько бы лет человек ни прожил, сколько бы добрых дел ни сделал, все будет толчение воды, когда он имел в виду внешний суд людей, а не правду жизни».

Иван Васильевич пишет в дневник... Свеча на столике освещает голубовато-золотистую икону «Благое Молчание»...

И вот он пришел к твердому убеждению, что всей жизнью народа должна руководить Церковь. «Для верующего отношение к Богу и Его Святой Церкви, — пишет Киреевский Кошелеву, — есть самое существенное на земле, отношение же к государству есть уже второстепенное и случайное. Очевидно, что все законы истины должны нарушаться, когда существующее будет подчиняться случайному или будет признаваться на одинаковых правах с ним, а не будет господствовать над ним. Нужно ли оговариваться, что господство Церкви я не понимаю как инквизицию или как преследование за веру? Этот магометанизм, эти насильственные обращения так же противны христианству истинному, как и обращения посредством обмана... Если общество понимает свою жизнь так, что в

ней временное должно служить вечному, то и государственное устройство этого общества должно служить Церкви».

В следующем письме к нему же: «Если же, сохрани Бог, в России когда-нибудь делается что-нибудь противное Православию, то все-таки будет враждебно России столько же, сколько и вере ее. Все, что препятствует правильному и полному развитию Православия, все то препятствует развитию и благоденствию народа русского; все, что дает ложное и не чисто православное направление народному духу и образованности, все то искажает душу России и убивает ее здоровье нравственное, гражданское и политическое. Потому чем более будет проникаться духом Православия государственность России и ее правительство, тем здоровее будет развитие народное, тем благополучнее народ и тем крепче его правительство».

Что бы Киреевский отныне ни писал — статью, письмо, дневник, — у него везде мысль о Боге, о Православной Церкви. У него есть уже целая папка разрозненных записей для будущей работы — может быть, книги — о православной философии, которая будет основой для его дальнейшего труда в этой области. Для внешнего — суетного — мира Киреевский молчит. Но не молчала в эти годы ни минуты его мысль, говорило сердце, очищалась и совершенствовалась душа. Ведь только так можно создать что-либо полезное для России, полезное для народа.

Он во многом сходил с Гоголем в его «Выбранных местах из переписки с друзьями», которые не были поняты почти никем в обществе, даже славянофилами. Но вот что находим мы в этой книге: «Владеем сокровищем, которому цены нет, и не только не заботимся о том, чтобы это почувствовать, но не знаем даже, где положили его... Эта Церковь, которая, как целомудренная дева, сохранилась одна от

*Могила Наталии Киреевской (Арбенева)
в Оптиной Пустыни. Современное состояние ►*



Натаалья Петровна Князева,
рожденная Арсенева,
родилась 3 мая 1809 года,
скончалась 14 марта 1900 года.
Отъ юности возлюбихъ и способствъ
всю жизнь украшению дома Твоего
Призри, Господи, на смиреніе рабы Твоей
Помяни мя, Господи,
егда приидеши во царствіи Твоемъ.

времен апостольских в непорочной первоначальной чистоте своей, эта Церковь, которая вся со своими глубокими догматами и малейшими обрядами наружными как бы снесена прямо с неба для русского народа, которая одна в силах разрешить все узлы недоумения и вопросы наши, которая может произвести неслыханное чудо в виду всей Европы, заставить у нас всякое сословие, звание и должность войти в их законные границы и пределы и дать силу России изумить весь мир согласно стройностью того же самого организма, которым она доселе пугала, — и эта Церковь нами незнаема! И эту Церковь, созданную для жизни, мы до сих пор не ввели в нашу жизнь!»

Нет пророка в своем отечестве... Не услышала их Россия — оба были обесславлены сонмом историков и литературоведов как «реакционеры»...

Осенью 1856 года начал выходить печатный орган славянофилов — журнал «Русская Беседа», первым редактором-издателем которого стал А. И. Кошелев. Во второй книжке появилась статья Киреевского «О необходимости и возможности новых начал для философии» (с обозначением: «Статья 1-я»). Это была первая глава книги, которой не суждено было быть написанной. Еще весной, пока шли переговоры между участниками издания о его структуре и авторах, Иван Васильевич выехал в Петербург, где его сын Василий, окончивший лицей, должен был держать выпускные экзамены. Киреевский собирался помогать ему в подготовке к каждому экзамену, особенно по математике, которую Иван Васильевич знал блестяще. В Москву он уже не вернулся: 12 июня скончался от холеры на руках сына.

Были панихиды по Киреевскому в Петербургском Казанском соборе, затем где-то в Москве, потом в Козельске и, наконец, он был отпет в Оптиной Пустыни, где и был похоронен. Вся братия и старец Макарий участвовали в этом отпевании. Потом старец Макарий среди портретов у себя в келлии повесил дагерротип, снятый перед

похоронами: Иван Васильевич Киреевский в гробу.

Наталья Петровна о смерти супруга узнала от старца Макария, который прибыл в Долбино вестником скорби и для утешения и наставления вдовы, своей духовной дочери. Она не пала духом и не оставила ни одного из начатых с Иваном Васильевичем дел. Старца она попросила разобраться в бумагах покойного, и тот несколько раз приезжал в Долбино для просмотра архива. Старец очень сожалел о том, что Киреевский не успел окончить своего философского труда, но, по справедливости, считал он в то же время, Господь наш лучше знает, когда нам время закончить земной путь... Да и в том, что Киреевский сделал, уже многое заявлено твердо и доказательно.

В очередном переиздании своего труда «Исторический очерк Козельской Введенской Оптиной Пустыни» иеромонах Леонид (Кавелин) посвятил покойному следующие строки: «Память Ивана Васильевича Киреевского дорога для обители, потому что он был расположен искреннею любовью к ней и к старцам ее; дорога для всех, близко знавших его как человека, обладавшего редким сочетанием прекрасных качеств глубокого ума с кротким и любящим сердцем. Несмотря на свое научное образование, которое, при всей гордости нашего века, может быть признано не за весьма многими из ученых по диплому, Иван Васильевич считал это образование недоконченным и спешил увенчать его покровом сердечной веры. Растворенное солью неземной мудрости слово отеческое, слово глубокое и вместе простое, слово “помазанное”, вносящее мир и успокоение во всякую душу, жаждущую и алчущую правды и истины, это слово удовлетворило вполне пытливый ум, и с той поры он посвятил себя всецело на то, чтобы отвлечь внимание своих ученых друзей от философских умствований Гегеля, Шеллинга и К°... и обратить их внимание на забытые одними и неведомые другим источники “воды живой” — писания отеческие».

Публикуя статью Киреевского во второй книжке «Русской Беседы» после кончины его, Хомяков сопровождал ее обширным и теплым некрологом. «Потеря Ивана Васильевича Киреевского, — писал он, — важна не для одних личных его знакомых и не для тесного круга его друзей, — нет, — она важна и незаменима для всех его соотечественников, истинно любящих просвещение и самобытную жизнь русского ума. Немного оставил он памятников своей умственной деятельности, но все то, что он сказал, было или будет плодотворным... Мы говорим о том, что было им высказано во время полной возмужалости его ума. Несколько листов составляют весь итог его печатных трудов, но в этих немногих листах заключается богатство самостоятельной мысли, которая обогатит многих современных и будущих мыслителей, и которое дает нам полное право думать, что в глубине его души таилось еще много невысказанных и, может быть, даже еще не вполне осознанных им сокровищ».

«Какой жестокий удар для всех нас, — пишет Хомяков Александру Попову, — в

смерти Ивана Васильевича! Какая невознаградимая потеря для нашей бедной науки! Его специальность была философия, которой другие отдают только короткие досуги, и эта специальность строилась у него так своеобразно, что мы могли надеяться видеть когда-нибудь у себя начало новой философской эры, которой позавидовали бы другие народы».

Протоиерей Феодор Сидонский над гробом Киреевского сказал: «Да, братия, пред нами гроб русского мыслителя, которому величие и достоинство России, предшествовавшее и ожидаемое, кроющееся в ее религиозно-нравственных верованиях, составляли источники немаловажных утешений, которому “цельный образ воззрения”, как сам он, покойный, выражался, — православной славянской старины являлся залогом обновления всего европейского просвещения... Не напрасно же возгласили мы, соучастники печального обряда, почившему рабу Божию Иоанну вечную память и как христианину, живущему с верою, и как писателю, не стыдившемуся свидетельствовать о вере».



Владимир Воропаев

Благодатная Обитель

Гоголь в Оптиной Пустыни

Гоголь в своей жизни много путешествовал, объездил всю Европу, совершил паломничество в Иерусалим, собирался ехать на Святую Гору Афон. Не раз бывал он в известных русских монастырях, в том числе в Оптиной Пустыни.

Слух о благодатных Оптиных старцах с первой трети XIX века начал привлекать в монастырь едва ли не всю верующую Россию — от крестьянина до государственного деятеля, искавших духовного утешения и наставления, а также ответа на жизненно важные вопросы. Приезжали туда русские писатели-мыслители — Иван Киреевский, Федор Достоевский, Лев Толстой, Константин Леонтьев. В этом ряду был и Гоголь, который с одобрением относился не только к молитвенной жизни Пустыни, но и к ее издательской деятельности.

В середине 1840-х годов по инициативе преподобного Макария и его духовных чад в миру — Ивана Васильевича и Наталии Петровны Киреевских — в Оптиной Пустыни началось издание святоотеческой литературы. Среди многих книг были выпущены творения преподобных отцов: Исаака Сирина, Нила Сорского, Симеона Нового Богослова, Максима Исповедника, Аввы Дорофея. Настоятель монастыря архимандрит Моисей вместе со старцем Макарием рассылали эту литературу по всей России, в первую очередь в Духовные семинарии и академии, на Афон, а также епископам всех епархий. Это была забота о духовном просвещении русского народа. Такую же цель имел и Гоголь.

В Оптиной Пустыни Гоголь бывал трижды: в июне 1850 года и в июне и сен-

тябре 1851 года. Когда у него созрел замысел первой поездки — в точности неизвестно. Первое документальное свидетельство об интересе Гоголя к Оптиной относится к 1846 году. Камер-юнкер Владимир Муханов, лечившийся в ту пору за границей, писал в августе этого года сестрам из Остенде: «Здесь мы нашли Гоголя, с которым познакомились. Он очень замечателен, в особенности по набожному чувству христианской любви... Недавно читал он нам два прекрасных письма молодого Жерве* к своему отцу, писанные из Оптиной Пустыни. Мы слушали с умилением. Сколько веры и любви в молодом подвижнике, оставившем мир и все прелести в тех летах, когда они так обольщают человека, и посвятившем себя Богу! Какое тихое и торжественное спокойствие в этой душе, достигшей пристани!»**.

По всей вероятности, в Оптину Гоголя направил Иван Киреевский. Духовный сын преподобного Макария, он как никто другой понимал значение старчества. «Существеннее всяких книг и всякого мышления, — писал он своему другу Александру Ивановичу Кошелеву, — найти святого православного старца, который бы мог быть твоим руководителем, которому ты мог бы сообщать каждую мысль свою и услышать о ней не его мнение, более или менее умное, но суждение

* Речь идет о Петре Александровиче Жерве, отставном поручике, ставшем в 1844 году насельником Оптиной. Гоголь мог видаться с ним во время своих посещений обители.

** Миловский Н., священник. К биографии Н. В. Гоголя (О знакомстве его с братьями Мухановыми). М., 1902. С. 9—10.

Святых отцов. Такие старцы, благодаря Бога, еще есть в России...» *. Без сомнения, такие же мысли Киреевский высказывал и Гоголю. Во всяком случае, в июне 1850 года Гоголь вместе с Михаилом Максимовичем проездом на юг, в Малороссию, заезжает в Оптину.

13 июня друзья выехали из Москвы на долгих. Первую ночь они провели в Подольске, где встретили поэта-славянофила Алексея Хомякова с супругой и провели вечер в дружеской беседе с ними. 15 июня Гоголь и его спутник ночевали в Малом Ярославце, утром отстояли молебен в тамошнем Николаевском монастыре, настоятель которого, отец Антоний, напоил их чаем и благословил каждого финифтяным образком Николая Чудотворца.

Игумен Антоний был одним из трех братьев Путиловых, известных подвижников христианского благочестия. В течение четырнадцати лет он был начальником Иоанно-Предтеченского скита, последующие четырнадцать лет управлял Малоярославецким Николаевским монастырем и потом двенадцать лет прожил на покое в Оптиной Пустыни. Его брат, архимандрит Моисей, был настоятелем Оптиной почти сорок лет; за эти годы монастырь совершенно преобразился и обустроился, развернулась его издательская деятельность, расцвело старчество. Третий брат Путилов, отец Исаия, был игуменом Саровской обители.

16 июня Гоголь и Максимович провели в Калуге, а днем обедали у Александры Осиповны Смирновой, супруги калужского губернатора, давней приятельницы Гоголя. Здесь, в присутствии известного поэта графа Алексея Константиновича Толстого, Николай Васильевич говорил о своем намерении «проездить по России». Пантелеимон Кулиш рассказывает со слов Максимовича: «Между прочим, путешествие на долгих было для него (Гоголя. — В. В.) уже как бы началом плана,

который он предполагал осуществить впоследствии. Ему хотелось совершить путешествие по всей России, от монастыря к монастырю, ездя по проселочным дорогам и останавливаясь отдыхать у помещиков. Это ему было нужно, во-первых, для того, чтобы видеть живописнейшие места в государстве, которые большею частью были избираемы старинными русскими людьми для основания монастырей; во-вторых, для того, чтобы изучить проселки Русского царства и жизнь крестьян и помещиков во всем ее разнообразии; в-третьих, наконец, для того, чтобы написать географическое сочинение о России самым увлекательным образом. Он хотел написать его так, “чтоб была слышна связь человека с той почвой, на которой он родился”» *.

Из Калуги Гоголь и его спутник отправились в Оптину Пустынь. Последние две версты до монастыря они прошли пешком, как и полагается паломникам. По дороге встретили девочку с мисочкой земляники и хотели купить у нее ягоды. Но та, видя, что они люди дорожные, не захотела взять денег и отдала землянику даром со словами: «Как можно брать со странных людей». «Пустынь эта распространяет благочестие в народе, — сказал Гоголь, умиленный этим явлением. — И я не раз замечал подобное влияние таких обителей».

В Оптиной Гоголь, по воспоминаниям иноков, присутствовал на всенощном бдении, во время которого «молился весьма усердно и с сердечным умилением», затем посетил старцев. Было это, по всей видимости, 17 июня (этот день в 1850 году приходился на субботу, когда совершается под воскресенье всенощное бдение). 19 июня путешественники уехали в имение Ивана Киреевского Долбино, находившееся в сорока верстах от монастыря возле города Белёва.

Здесь Гоголь на следующий день написал письмо оптинскому иеромонаху

* Киреевский И. В. Полн. собр. соч.: В 2 т. М., 1911. Т. 2. С. 257.

* <Кулиш П. А.> Николай М. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя. СПб., 1856. Т. 2. С. 232.

Филарету (бывшему наместнику московского Новоспасского монастыря, проживавшему с 1843 года на покое в Оптиной): «Ради Самого Христа, молитесь обо мне, отец Филарет. Просите вашего достойного настоятеля, просите всю братию, просите всех, кто у вас усерднее молится и любит молиться, просите молитв обо мне. Путь мой труден; дело мое такого рода, что без ежеминутной, без ежечасной и без явной помощи Божией не может двинуться мое перо...» Гоголь понял, что оптинский дух стал для него жизненно необходимым: «Мне нужно ежеминутно, говорю вам, быть мыслями выше житейского дрязгу и на всяком месте своего странствия быть в Оптинской Пустыни».

Именно в первый свой приезд Гоголь познакомился со столпами оптинского монашества — преподобными игуменом Моисеем и старцем Макарием. Есть предание, что отец Макарий, обладавший даром прозорливости*, предчувствовал приход Гоголя. Старец Варсонофий рассказывал своим духовным детям: «Говорят, он был в то время в своей келлии (кто знает, не в этой ли самой, так как пришел Гоголь прямо сюда) и, быстро ходя взад и вперед, говорил бывшему с ним иноку: “Волнуется у меня что-то сердце. Точно что необыкновенное должно совершиться, точно ждет оно кого-то”. В это время докладывают, что пришел Николай Васильевич Гоголь»**.

Почти несомненно, что в беседе со старцем речь зашла и о «Выбранных местах из переписки с друзьями». В библио-

теке Оптиной Пустыни хранился экземпляр книги с вложенным в нее отзывом святителя Игнатия (Брянчанинова), переписанным рукой преподобного Макария. Неизвестно, каким путем этот отзыв попал в Оптину; возможно, его привез сам Гоголь, узнавший мнение святителя (в ту пору архимандрита) еще в 1847 году.

Гоголь был едва ли не единственным русским светским писателем, творческую мысль которого могли питать святоотеческие творения. В один из приездов в Оптину (возможно, и в первый) он прочитал рукописную книгу — на церковнославянском языке — преподобного Исаака Сирина (с которой в 1854 году старцем Макарием было подготовлено печатное издание), ставшую для него откровением. В монастырской библиотеке хранился экземпляр первого издания «Мертвых душ», принадлежавший графу Толстому, а после его смерти переданный отцу Клименту (Зедергольму), с пометами Гоголя, сделанными по прочтении этой книги. На полях одиннадцатой главы, против того места, где речь идет о «прирожденных страстях», он набросал карандашом: «Это я писал в “прелести” (обольщении. — В. В.), это вздор — природженные страсти — зло, и все усилия разумной воли человека должны быть устремлены для искоренения их. Только дымное надмение человеческой гордости могло внушить мне мысль о высоком значении природженных страстей — теперь, когда стал я умнее, глубоко сожалею о “гнилых словах”, здесь написанных. Мне чуялось, когда я печатал эту главу, что я путаюсь, вопрос о значении природженных страстей много и долго занимал меня и тормозил продолжение “Мертвых душ”. Жалею, что поздно узнал книгу Исаака Сирина, великого душеведца и прозорливого инок. Здравую психологию и не кривое, а прямое понимание души, встречаем у подвижников-отшельников. То, что говорят о душе запутавшиеся в хитросплетенной немецкой диалектике молодые люди, — не более как призрачный

* Это благодатное свойство преподобного Макария отразилось, в частности, в повести И. С. Тургенева «Степной король Лир». Матушка рассказчика советует герою повести Мартыну Петровичу Харлову отправиться в Оптину Пустынь: «Там, говорят, такой святой проявился инок... отцом Макарием его зовут, никто такого и не запомнит! Все грехи насквозь видит». Кстати сказать, по словам старца Варсонофия, Тургенев был в Оптиной и восхищался красотой обители.

** Беседы схиархимандрита Оптинского скита старца Варсонофия с духовными детьми. Издание Свято-Троице-Сергиевой Лавры. СПб., 1991. С. 53.



Н.В. Гоголь. Его путем так и не смог пойти Лев Толстой

обман. Человеку, сидящему по уши в житейской тине, не дано понимания природы души»^{*}.

Посещение Оптиной произвело на Гоголя глубокое впечатление. Спустя три

недели он писал графу Толстому из Васильевки: «Я заезжал на дороге в Оптинскую Пустынь и навсегда унес о ней воспоминание. Я думаю, на самой Афонской Горе не лучше. Благодать видимо там присутствует... Нигде я не видал таких монахов. С каждым из них, мне казалось, беседует все небесное... За несколько верст, подъезжая

^{*} Матвеев П. Гоголь в Оптиной Пустыни // Русская Старина. 1903. № 2. С. 303.

к обители, уже слышишь ее благоухание: все становится приветливее, поклоны ниже и участия к человеку больше. Вы постарайтесь побывать в этой обители...»

В первый приезд Гоголя в Оптину произошло его знакомство с человеком удивительной судьбы, Петром Александровичем Григоровым, в то время рясофорным иноком. В мире он был гвардейским офицером и служил в конной артиллерии; из прошлой его жизни широко известен забавный эпизод. Однажды на батарее Григорова появился штатский молодой человек (это было близ Задонска); когда в нем был узнан Пушкин, пылкий артиллерист, поклонник великого поэта, немедленно произвел пушечный салют в его честь, за что и был посажен на гауптвахту. Иноческую жизнь Петр Григоров начал келейником у знаменитого Задонского затворника Георгия, духовную близость к которому он сохранил и перейдя в Оптину Пустынь. Им были изданы «Письма в Бозе почивающего затворника Задонского Богородицкого монастыря Георгия» с кратким жизнеописанием, составленным по запискам его келейников (в том числе самого Григорова).

По приезде Гоголя игумен Моисей поручил послушнику Петру показать гостю храмы и другие строения обители. Несмотря на краткость знакомства и беседы, Гоголь очень полюбил Григорова и впоследствии говорил о нем: «Он славный человек и настоящий христианин; душа его такая детская, светлая, прозрачная! Он вовсе не пасмурный монах, бегающий от людей, не любящий беседы. Нет, он, напротив того, любит всех людей как братьев; он всегда весел, всегда снисходителен. Это высшая степень совершенства, до которой только может прийти истинный христианин». Григоров уже в то время был тяжело болен, но недуг свой умел скрывать, пока это было возможно.

Гоголь рассказывал своему новому другу много любопытного, в частности о чуде у мощей святителя Спиридона Тримифунтского. В Оптиной сохранилось следующее предание, пересказанное преподобным

Амвросием: «С IV века и донныне Греческая Церковь хвалится целокупными мощами угодника Божия святого Спиридона Тримифунтского, которые не только нетленны, но в продолжение пятнадцати веков сохранили мягкость. Николай Васильевич Гоголь, бывши в Оптиной Пустыни, передавал издателю жития и писем затворника Задонского Георгия (отцу Порфирию Григорову), что он сам видел мощи святого Спиридона и был свидетелем чуда от оных. При нем мощи обносились около города, как это ежегодно совершается 12 декабря с большим торжеством. Все бывшие тут прикладывались к мощам, а один английский путешественник не хотел оказать им должного почтения, говоря, что спина угодника будто бы прорезана и тело набальзамировано, потом, однако, решился подойти, и мощи сами обратились к нему спиной. Англичанин в ужасе пал на землю пред святыней. Этому были свидетелями многие зрители, в том числе и Гоголь, на которого сильно подействовал этот случай»^{*}.

По отъезде из Оптиной, уже из Васильевки, Гоголь написал Григорову письмо, прося показать обитель и своему племяннику Николаю Трушковскому, едущему поступать в Казанский университет. О посещении монастыря Гоголь вспоминал с сердечной теплотой: «Ваша близкая к небесам пустыня и радушный прием ваш оставили в душе моей самое благодатное воспоминанье».

В заключение Гоголь просит молитв, «в особенности отца игумена», и передает деньги на молебен (десять рублей серебром) о благополучном путешествии к святым местам и о благополучном окончании сочинения своего — «Мертвых душ» — «на истинную пользу другим и на спасенье собственной души».

Николай Трушковский приехал в Оптину в очень неподходящий момент;

^{*} Собрание писем блаженной памяти Оптинского старца иеросхимонаха Амвросия к мирским особам. Ч. 1. Второе издание Козельской Введенской Оптиной Пустыни, с дополнениями. Сергиев Посад, 1908. С. 81–82.

Петр Григоров только что был пострижен в мантию с именем Порфирий и неисходно находился пять дней в храме. Но он поручил другому человеку показать юноше монастырь и дал ему рекомендательные письма к влиятельным лицам в Казани.

Переписка Гоголя с отцом Порфирием продолжалась зимой 1850/51 года. Очевидно, еще летом у них шел разговор о книгах затворника Задонского Георгия. Его письма Гоголь читал и раньше: выдержки из них есть в составленном им сборнике выписок из творений святых отцов и учителей Церкви. Тогда Гоголь пользовался изданием 1839 года. Теперь отец Порфирий посылает ему последнее издание — 1850 года, в трех томах, дополненное новыми письмами и «Кратким извещением о жизни затворника Задонского Богородицкого монастыря Георгия».

Отвечая на не дошедшее до нас письмо Гоголя из Одессы (от декабря 1850 года), отец Порфирий писал ему из Оптиной Пустыни 26 января следующего 1851 года (последнего года своей жизни): «Препровождаю к вам обещанные мною книги затворника Задонского Георгия... Вы увидите, что и он был поэт и душа его стремилась к небу... Я надеюсь, что и жизнь его прочтете с удовольствием»^{*}.

Гоголь отвечал отцу Порфирию из Одессы 6 марта 1851 года: «Много благодарю вас и за письмо и за книгу Затворника. Как она пришлась мне кстати в наступивший Великий пост!.. Как мне не ценить братских молитв обо мне, когда без них я бы давно, может быть, погиб. Путь мой очень скользок, и только тогда я могу им пройти, когда будут со всех сторон поддерживать меня молитвами». В приписке Гоголь передавал душевный поклон настоятелю, отцу Филарету и всей братии.

Этого письма отец Порфирий, по всей видимости, получить не успел: он мирно почил о Господе 15 марта 1851 года сорока семи лет от роду, приобщившись за несколь-

ко минут до кончины Святых Таин. Свою смерть отец Порфирий предсказал за неделю. Внешне она произошла как следствие сильной простуды. Во время своей предсмертной болезни инок имел извещение о близкой кончине, и ему трижды являлся во сне преставившийся за шесть лет перед тем послушник Николай (которому при жизни отец Порфирий оказывал особое благорасположение) и говорил ему, чтобы он готовился к исходу из сей жизни. А накануне его кончины девяностолетний старец отец Иларион Троекуровский, живший в Лебедянском уезде за триста верст от Оптиной и не знавший ничего о болезни отца Порфирия, прислал ему рубашку (в которой он и преставился), пузырек масла и кусок ржаного хлеба, выразив, однако, сомнение, что посланное застанет инока в живых.

Во второй раз Гоголь был в Оптиной Пустыни проездом с юга в Москву в июне 1851 года. Об этом посещении, выпавшем из поля зрения биографов Гоголя, известно из записи в дневнике оптинского иеромонаха Евфимия (Трунова) от 2 июня 1851 года: «Пополудни прибыл проездом из Одессы в Петербург (на самом деле в Москву. — В. В.) известный писатель Николай Васильевич Гоголь. С особенным чувством благоговения отслушал вечерню, панихиду на могиле своего духовного друга, монаха Порфирия Григорова, потом всенощное бдение в соборе. Утром в воскресенье 3-го числа он отстоял в скиту Литургию и во время поздней обедни отправился в Калугу, поспешая по какому-то делу. Гоголь оставил в памяти нашей обители примерный образец благочестия»^{*}.

В этот приезд Гоголь узнал об обстоятельствах смерти отца Порфирия и беседовал со старцами. По возвращении в Москву он пишет письма игумену Моисею и старцу Макарию (последнее не сохранилось^{**}),

^{*} Нилус С. Святыня под спудом. Тайна православного монашеского духа. Сергиев Посад, 1911. С. 81.

^{**} Письмо, как можно судить по ответу отца Макария, носило исповедный характер и потому было уничтожено.

^{*} Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1898. Т. 4. С. 831—832.

в которых благодарит за гостеприимство, просит молитв и посылает деньги на обитель (двадцать пять рублей серебром). Старцы, в свою очередь, благодарят Гоголя, а преподобный Макарий, кроме того, благословляет его на написание книги по географии России для юношества.

Замысел этого труда возник у Гоголя давно, и именно с ним связаны предполагаемые поездки по монастырям. В набросках официального письма (июль 1850 года) высокому лицу, испрашивая материальной помощи на три года, он излагает свои соображения по этому поводу: «Нам нужно живое, а не мертвое изображение России, та существенная, говорящая ее география, начертанная сильным, живым слогом, которая поставила бы русско-го лицом к России еще в то первоначальное время его жизни, когда он отдается во власть гувернеров-иностранцев... Книга эта составляла давно предмет моих размышлений. Она зреет вместе с нынешним моим трудом и, может быть, в одно время с ним будет готова. В успехе ее я надеюсь не столько на свои силы, сколько на любовь к России, слава Богу, беспрестанно во мне увеличивающуюся, на споспешество всех истинно знающих ее людей, которым дорога ее будущая участь и воспитанье собственных детей, а пуще всего на милость и помощь Божию, без которой ничто не совершится...»

Старец Макарий преподавал искомое благословение, но предупредил сочинителя, чтобы тот ждал препятствий в благом деле: «...по желанию вашему не смею отказать и только тем могу служить, что, взяв перо, простираю мою грешную руку на сию хартию, а вера ваша да будет ходатайством у Господа внушить мне слово к вашему утешению... В благом вашем намерении об издании полезной книги Бог силен даровать вам свою помощь, когда будет на сие Его святая воля. Но, как пишут Святые отцы, что всякому святому делу или предыдет, или последует искушение, то и вам предложится в сем деле искус, требующий понужде-

ния»*. Гоголь не успел осуществить этого замысла.

Третий и последний раз Гоголь посетил святую обитель в сентябре 1851 года. 22 сентября он выехал из Москвы в Васильевку на свадьбу сестры Елизаветы Васильевны, намереваясь оттуда проехать в Крым и остаться там на зиму. Однако, доехав до Калуги, он отправился в Оптину, а потом неожиданно для всех вернулся в Москву. Поездка породила разнообразные толки среди знакомых Гоголя. Достоверно известно следующее.

24 сентября Гоголь был у старца Макария в скиту и на другой день обменялся с ним записками, из которых видно, что Гоголь пребывал в нерешительности — ехать или не ехать ему на родину. Он обратился к старцу за советом. Тот, видя тайное желание Гоголя возвратиться в Москву, и посоветовал ему это. Но Гоголь продолжал сомневаться. Тогда отец Макарий предложил все-таки поехать в Васильевку. Очевидно, мысль о дальнем путешествии испугала Гоголя, и старец, в полном недоумении, оставил решение за ним самим, благословив его образком преподобного Сергия Радонежского, память которого совершалась в тот день.

Вероятно, во время последней встречи Гоголя со старцем Макарием между ними состоялся какой-то разговор, содержание которого нам неизвестно. Возможно, Гоголь имел намерение остаться в монастыре. Преподобный Варсонофий рассказывал в беседе со своими духовными чадами: «Есть предание, что незадолго до смерти он (Гоголь. — В. В.) говорил своему близкому другу: “Ах, как я много потерял, как ужасно много потерял...” — “Чего? Отчего потеряли вы?” — “Оттого, что не поступил в монахи. Ах, отчего батюшка Макарий не взял меня к себе в скит?”»**. Это предание отчасти подтверждается свидетельством

* Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1898. Т. 4. С. 828.

** Беседы схиархимандрита Оптинского скита старца Варсонофия с духовными детьми. Издание Свято-Троице-Сергиевой лавры. СПб., 1991. С. 54.

сестры Гоголя Анны Васильевны, которая писала Владимиру Шенроку, биографу писателя, что брат ее «мечтал поселиться в Оптиной Пустыни»^{*}.

По словам преподобного Варсонофия, старец Макарий отнесся к желанию Гоголя с определенной осторожностью: «Неизвестно, заходил ли раньше у Гоголя с батюшкой Макарием разговор о монашестве, неизвестно, предлагал ли ему старец поступить в монастырь. Очень возможно, что батюшка Макарий и не звал его, видя, что он не понесет трудностей нашей жизни».

Сразу после смерти Гоголя граф Толстой послал в Оптину Пустынь извещение и пятнадцать рублей серебром на помин души новопреставленного. Помня завет Гоголя, Александр Петрович всю оставшуюся жизнь поддерживал дружеские связи с обителью. Он переписывался с Оптинским старцем преподобным Амвросием и даже собирался поселиться в Иоанно-Предтеченском скиту. Промыслительные обстоятельства сопровождали и самую кончину графа. Летом 1873 года на обратном пути из Иерусалима он умирал в Женеве и отказывался исповедоваться и причащаться у местных священников. Оптинского инока отца Климента (Зедергольма), которому граф Толстой ранее много покровительствовал и которого он был крестным отцом, в несколько дней рукоположили в иеромонаха и отправили за границу. В Женеве он исповедал и дважды причастил Александра Петровича, который умер на его руках.

Посмертная связь Гоголя с Оптиной Пустынью продолжалась. Летом 1852 года Степан Петрович Шевырев, друг и душеприказчик Гоголя, возвращаясь из Васильевки, куда он ездил навестить родных покойного и собрать материал для его биографии, заезжал в монастырь, где прочел его насельникам «Размышления о Божественной литургии». Оптинские иноки,

хорошо помнившие Гоголя, нашли это сочинение «запечатленным цельностью духа и особенным лирическим взглядом на предмет»^{*}.

В следующем году, весной, Мария Ивановна Гоголь послала в Оптину письмо и деньги. Игумен Моисей отвечал ей 30 мая из монастыря: «Почтеннейшее ваше письмо от 19-го сего мая и при оном пятьдесят рублей серебром от усердия вашего имел честь получить, согласно христианскому желанию вашему на приношение в обители нашей при Божественной литургии выниманием частей о упокоении незабвенного и достойного памяти сына вашего Николая Васильевича. Благодетельные его посещения обители нашей носим в памяти неизгладимо. По получении нами из Москвы печального известия о кончине Николая Васильевича, с февраля прошлого 1852 года исполняется по душе его поминовение в обители нашей на службах Божиих и навсегда продолжаемо будет с общебратственным усердием нашим и молением премилосердного Господа: да упокоит душу раба Своего Николая во Царствии Небесном со святыми, а вам да ниспослет свыше благословение, здравие и небесное утешение в огорчительном лишении единственного сына»^{**}.

Мария Ивановна была в Оптиной на Пасху 1857 года и прожила там девять дней со своим внуком Николаем. Господь призвал к Себе родительницу Гоголя в возрасте семидесяти шести лет, как и его отца, — на Светлой седмице.

Последнее суждение о Гоголе-христианине, едва ли не самое точное и глубокое, было вынесено после смерти его Оптиной Пустынью. Летописец обители, иеромонах Евфимий, сурово оценив сатирическую сторону таланта великого писателя,

^{*} РГБ. Ф. 214. № 316 (Летопись Скита Оптиной Пустыни).

^{**} Чаговец В. А. Семейная хроника Гоголей (по бумагам семейного архива) // Памяти Гоголя. Научно-литературный сборник, изданный Историческим Обществом Нестора-летописца. Киев, 1902. Отд. III. С. 70—71.

^{*} Крутикова Н. Е. Н. В. Гоголь. Исследования и материалы. Киев, 1992. С. 260.

следующим образом подытожил его земное странствование: «Трудно представить человеку непосвященному всю бездну сердечного горя и муки, которую узрел под ногами своими Гоголь, когда вновь открылись затуманенные его духовные очи и он ясно, лицом к лицу, увидал, что бездна эта выкопана его собственными руками, что в нее уже погружены многие, им, его дарованием соблазненные люди и что сам он стремится в ту же бездну, очертя свою бедную голову... Кто изобразит всю силу происшедшей отсюда душевной борьбы писателя и с самим собою, и с тем внутрен-

ним его врагом, который извратил божественный талант и направил его на свои разрушительные цели? Но борьба эта для Гоголя была победоносна, и он, насмерть израненный боец, с честью вышел из нее в царство незаходимого Света, искупив свой грех покаянием, злоречием мира и тесным соединением со спасающею Церковью. Да упокоит душу его милосердый Господь в селениях праведных!» *.

* Нилус С. Святыня под спудом. Тайна православного монашеского духа. Сергиев Посад, 1911. С. 157.



Варвара Каширина

«Скучная богомолка»

*Александра Ильинична Остен-Сакен
и Оптина Пустынь*

Среди людей, которые оказали особенное влияние на формирование духовного строя Л. Н. Толстого, была его родная тетя, сестра отца — Александра Ильинична Остен-Сакен. В 1837 году, когда умер Николай Ильич, Льву Николаевичу не исполнилось и десяти лет. Александра Ильинична вместе с С. И. Языковым стала опекушкой пятирех детей, занималась ведением имущественных дел малолетних Толстых, воспитанием и организацией их учебных занятий. Отроческие годы писателя прошли под покровом и опекой тетушки, «скучной богомолки», как она себя сама называла.

Судьба Александры Ильиничны, или Алины, как ее звали в семействе, была необычна. В молодости она блистала в петербургском свете. Одухотворенная, элегантная и вместе с тем высокообразованная, она не раз бывала царицей бала. Вскоре ей сделал предложение знатный и богатый граф Карл Иванович Остен-Сакен, участник войны 1812 года, адъютант прославленного генерала А. И. Остермана-Толстого. В 1814 году отпраздновали свадьбу в Петербурге, где в то время все общество было на подъеме,

празднуя победу над французскими войсками. Все предрекали молодой чете долгую и счастливую жизнь. Однако все обернулось иначе...

В молодом супруге стали замечать признаки помешательства. Сначала они

проявлялись в приступах ревности, потом развилась мания преследования. С беременной женой граф уехал в одно из своих имений. Ему все время казалось, что толпа неприятелей окружает его дом, стараясь похитить жену. И как позже передавал С. М. Толстой, «Однажды рано утром он объявил ей, что у них осталось одно средство спастись — бежать. Граф велел немедленно подать карету, как только они в нее сели, лошади понеслись галопом.



*А.И. Остен-Сакен. С миниатюры
неизвестного художника*

В пути граф достал из захваченного им с собой ящика два пистолета, зарядил их и один дал Алине, сказав, что, если враги их настигнут, они должны будут убить друг друга. На несчастье, из-за поворота дороги показался встречный экипаж.

— Все пропало, стреляй в меня! — крикнул граф и сам немедленно выстрелил в упор, ранив Алину в грудь. Экипаж промчался...

Тогда безумец остановил свою карету, вынес из нее окровавленную жену и положил на дорогу, а сам ускакал... Вскоре проезжавшие мимо крестьяне обнаружили раненую, отвезли ее к пастору, который оказал ей первую помощь и вызвал врача. Пуля не задела ни один из важных органов. Дело шло на поправку, когда через несколько дней после случившегося к пастору явился граф Остен-Сакен, сумев разыскать жену. Хитрый безумец уверил пастора, что произошел несчастный случай и что он непременно должен увидеть графиню, чтобы удостовериться в ее здоровье. Пастор согласился на свидание, граф разговаривал с женой спокойно и разумно, но, как только они остались одни, он потребовал, чтобы она показала ему язык, — и тотчас у него в руке оказалась бритва, и он бросился на бедную женщину с намерением отрезать у нее язык. Алина вырвалась от него, ужасно закричала, на ее крик прибежали люди, связали сумасшедшего и увели. Карл Иванович Остен-Сакен был помещен в заведение для душевнобольных, где провел долгие годы; никакой надежды на его выздоровление не было»^{*}.

Едва оправившись от раны, Алина вернулась в Петербург к своим родителям, где родила мертвого ребенка. Родители, опасаясь за ее здоровье, скрыли смерть младенца, заменив его приемным — недавно родившейся дочерью придворного повара. Дочку называли Пашенькой. Александра Ильинична воспитывала ее как свою родную дочь, даже после того, как узнала подлинную историю. Девочка росла кротким и болезненным ребенком. После смерти своей приемной матери она хотела уйти в монастырь, но ее отговорили. А через несколько лет она скончалась от туберкулеза.

После всех испытаний Александра Ильинична поселилась в Ясной Поляне. Жизнь ее резко изменилась. Вместо блестящего великосветского общества ее собеседниками стали «Божьи люди», ко-

торых она охотно принимала и которым оказывала всяческую помощь. Страница Марья Герасимовна, или, как звали ее, Иванушка Дурачок, даже поселилась в Ясной Поляне. В молодости эта блаженная, переодевшись в мужскую одежду, посетила множество монастырей.

Мария Николаевна Толстая, мать Льва Николаевича, родив четырех сыновей, очень хотела иметь девочку. И с просьбой о молитвенной помощи она обратилась к блаженной Марии Герасимовне. Когда родилась маленькая Маша, Мария Герасимовна стала ее крестной матерью. А позже, пережив множество испытаний и лишений, младшая сестра Льва Николаевича Толстого Мария Николаевна приняла монашество и скончалась схимницей в основном старцем Амвросием Шамординском монастыре.

В своих «Воспоминаниях», написанных в 1903—1906 годах, Лев Николаевич говорил об Александре Ильиничне как о важном лице в его детстве и посвятил ей всю пятую главу. «Тетушка была истинно религиозная женщина. Любимые ее занятия были чтения житий святых, беседы с странниками, юродивыми, монахами и монашенками, из которых некоторые жили всегда в нашем доме, а некоторые только посещали тетушку... Тетушка Александра Ильинична не только была внешне религиозна, соблюдала посты, много молилась, общалась с людьми святой жизни, каков был в то время старец Леонид в Оптиной Пустыни, но сама жила истинно христианской жизнью, стараясь не только избегать всякой роскоши и услуги, но стараясь, сколько возможно, служить другим. Денег у нее никогда не было, потому что она раздавала просящим все, что у нее было»^{*}.

^{*} Толстой Л. Н. Воспоминания (из раздела «Неопубликованное, неотделанное и неоконченное» // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. М., 1952. Т. 34. С. 363.) Характерен отзыв Б. К. Зайцева, который он дал «Воспоминаниям» Толстого: «В великом и прославленном его художестве — «Войне и мире», «Анне Карениной» — мало света и умиления, есть могучая изобразительность, картинность, но со-

^{*} Толстой С. М. Древо жизни: Толстой и Толстые. М., 2002. С. 105.

Оптина Пустынь была расположена недалеко от Ясной Поляны. В первой половине XIX века монастырь еще не был так широко известен русской интеллигенции, как это будет позднее при старце Амвросии. Однако именно в это время в монастыре была заложена та духовная основа, которая впоследствии привлекала в обитель множество паломников со всех уголков России. В 1821 году из знаменитых Рославльских лесов, где в уединении, подобно египетским отшельникам, проживало множество подвижников, в Оптину Пустынь пришли два брата: препп. Моисей (Путилов), ставший настоятелем обители, и Антоний (Путилов), впоследствии скитоначальник и настоятель Малоярославецкого монастыря. Сами по опыту познав великое значение старческого окормления, они знали, что только внешнее благополучие монастыря без внутренней духовной организации не возродит обитель. Именно при их поддержке с помощью препп. старцев Льва (Наголкина) и Макария (Иванова) в Оптиной Пустыни был учрежден институт старчества.

Старчество было опытно учреждено в первые века христианства, о необходимости которого свидетельствуют Святые отцы. По слову Иоанна Лествичника: «Как корабль, имеющий хорошего кормчего, при помощи Божией, безбедно входит в пристань, так и душа, имея доброго пастыря, удобно восходит на небо, хотя и много грехов некогда сделала». Старец призывается на свое служение Самим Богом, ему открывается воля Божия относительно искренно обращающихся к нему. Он получает особый дар водительства — направлять души ко спасению и врачевать их. Старческое окормление помогает в борьбе со страстями, подкрепляет в минуты малодушия, уныния и сомнения.

Старец Лев прибыл в Оптину в 1829 году, а чуть позже, в 1834 году, на житель-

ство в скит перешел старец Макарий. Оба старца действовали и учили единым духом; постепенно круг их учеников расширялся, в числе которых были не только монашествующие, но и миряне. Среди обращавшихся к старцам за духовными советами была и Александра Ильинична Остен-Сакен.

Ее религиозность была искренней и глубокой. Лев Николаевич позже вспоминал о ней: «То религиозное чувство, которое наполняло ее душу, очевидно, было так важно для нее, было до такой степени выше всего остального, что она не могла сердиться, огорчаться чем-нибудь, не могла приписывать мирским делам ту важность, которая им обыкновенно приписывается»^{*}.

В «Исповеди», обращаясь к детским годам, Л. Н. Толстой вспоминал: «Тетушки принимали странников и ездили в Оптину Пустынь и старших брали туда. Зачем они все это делали, я не знал и не думал, но не видел в том ничего ни хорошего, ни худого. Я все по-прежнему считал, что нужно одно: молиться утром, вечером Богу, не шалить, не смеяться в церкви и не уронить на пол крошки просвирки. Если все будешь это делать, Бог наградит, а не будешь — накажет; и примечал, что так и бывало, когда проглядыт, и я забуду помолиться Богу»^{**}.

Тетушка старалась воспитывать племянников в христианском духе. В 1841 году, поздравляя Льва Николаевича с именинами, она писала: «Прими мои поздравления, дорогой Лева, с твоим днем именин; с Семеном Ивановичем я пришлю тебе маленький подарок. Повеселись хорошенько в этот день, мой дружок, катайся с гор, кушай вкусные вещи; добрая тетя Туанетт^{***}, если только ты заслуживаешь, доставит тебе всякие удовольствия; но подумай немножко о тетке, которая как ни далеко от тебя, питает к тебе самую нежную любовь. Не ссорься с твоими братьями. Будьте

^{*} Толстой Л. Н. ПСС. М., 1952. Т. 34. С. 364.

^{**} Исповедь (из раздела «Планы и варианты») // Толстой Л. Н. ПСС. М., 1952. Т. 23. С. 488—512.

^{***} Татьяна Александровна Ергольская.

всем иное настроение, чем в скромных этих «Воспоминаниях»... иной раз даже удивляешься: точно бы не такой Толстой, каким привыкли мы его знать» (Зайцев Б. К. Тетушка Ергольская и Толстой/ Собрание сочинений. Т. 7. С. 406—409.)

друзьями, это все, что мы просим. Прощай, дорогой друг, да сохранит тебя Бог. Любящая тебя Алина Сакен»^{*}.

Для Льва Николаевича Александра Ильинична была родным и дорогим человеком. Уже молодым человеком, будучи участником боевых действий, в 1855 году он писал к Т. А. Ергольской: «27-го в Севастополе произошло большое и главное дело. Я имел счастье и несчастье прибыть в город как раз в день штурма; так что я присутствовал при этом и даже принял участие, как доброволец. Не пугайтесь: я почти не подвергался никакой опасности. 28, день моего рождения, второй раз в моей жизни было для меня памятным и печальным днем: в первый раз, 18 лет тому назад, это была смерть тетушки Александра Ильиничны; теперь — потеря Севастополя»^{**}. При публикации письма редакторы отметили: «Тут у Толстого две странные ошибки. Тетка умерла 30 августа 1841 года, т. е. не 18 лет тому назад, а 14, и не в день рождения Толстого». Однако в письме, как нам представляется, для Л. Н. Толстого важна не хронологическая достоверность, а то внутреннее потрясение, которое он пережил после этих потерь, и то влияние, которое они оказали на дальнейшую его судьбу.

Отрочество Льва Николаевича прошло под непосредственным влиянием Александры Ильиничны. О ее глубокой религиозности, чуткой внутренней организации, доброте и милосердии вспоминал позднее ее знаменитый племянник. Она жила отшельницей, избегая светской жизни. Любимым ее чтением были жития святых, а любимыми собеседниками — «Божьи люди»: странники, юродивые, которых она принимала в доме. По утрам она вставала раньше всех и отправлялась в ближайшую церковь к заутрене. Горничная рассказывала, что хозяйка, чтобы не разбудить ее, снимала ботинки, проходя мимо ее комнаты.

^{*} Из письма А. И. Остен-Сакен к Т. А. Ергольской от 11 февраля 1841 г.

^{**} Из письма Л. Н. Толстого к Т. А. Ергольской от 4 сентября 1855 г. (Толстой Л. Н. ПСС. М., 1952. Т. 59. С. 334—335).

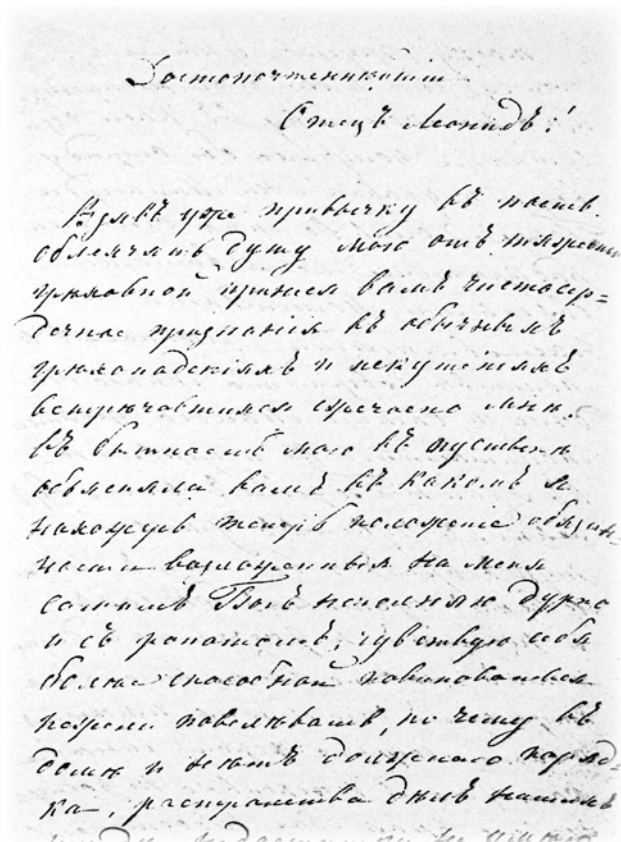
Глубокое уважение и искреннюю любовь к тетушке Лев Николаевич пронес через всю свою жизнь. С годами многие ее наставления были забыты, однако в памяти навсегда остался ее светлый небесный образ. Безусловно, с юных лет Лев Николаевич слышал и рассказы тетушки о ее поездках в Оптину Пустынь, об удивительных старцах Льве и Макарии, славившихся своей духовной мудростью. Александра Ильинична часто посещала обитель, а также обращалась к старцам письменно. Из-за сложного финансового положения и неустроенности семья часто находилась в непростой ситуации. Возможно, юные племянники разделяли вместе с тетушкой ее томительное ожидание писем из обители.

К сожалению, переписка Александры Ильиничны с Оптиными старцами не сохранилась. В архиве Оптиной Пустыни хранится только одно письмо^{*} Александры Ильиничны к старцу Льву, написанное Великим постом. Письмо носит исповедальный характер и изображает ее внутреннее состояние.

Достопочтеннейший отец Леонид!

Взяв уже привычку в пост облегчать душу мою от тяжести греховной, принеся Вам чистосердечное признание в обычных грехопадениях и искушениях, встречавшихся ежечасно мне. В бытность мою в пустыни объясняла Вам, в каком я нахожусь теперь положении — обязанности, возложенные на меня самим Бог<ом>, исполняю дурно и с ропотом, чувствую себя более способной повиноваться, нежели повелевать, почему в доме и нет должного порядка, расстройства дел наших, нужду, недостатки не умею переносить с должным терпением в подобных случаях, падаю в тоску, грусть, уныние, провожу ночи без сна и ни часа не посвящаю на молитву, в коей, без сомнения, получила бы отраду. Вера и упование на милосердие Божие очень во мне ослабели, подкрепите меня Вашими святыми молитвами и настав-

^{*} НИОР РГБ. Ф. 213. К. 75. Ед. хр. 39.



Письмо-автограф А.И. Остен-Сакен.
НИОР РГБ. Ф. 213. К. 75. Ед. хр. 39. Л. 1

лениями. Леность к молитве совершенно мною овладела и самого малого правила молитвенного не исправляю, в храме Божиим стою без всяких чувств умиления, — тут враг и влагает мысли о всех суетных делах: о счетах и расчетах домашних. Но что более всего меня смущает, что многие имеют о мне ложное хорошее мнение, которого я нисколько не заслуживаю, зная свое недостойнство, но не менее неравнодушна к похвалам мира, от чего рождается невольное чувство гордости, теперь еще чаще впадаю в грех празднословия и осуждения, и на всяком шагу преступаю заповеди Господня если не делом, то словом и помышлением, ежегодно возвращаюсь к Врачу душевному с теми же язвами душевными, ни малейшего нет исправления, тягочусь жизнью и времен*ем* прошу Господа о прекращении оной.

Достопочтенный отец Леонид, если здоровье Ваше не позволят Вам отвечать, то умоляю отца Макария (я не разделяю

двух моих отцев духовных по чувствам преданности и почтения и к обоим пишу). Надеюсь, что достопочтенный отец Макарий утешит и удостоит скорбную ответом и не лишит своих святых молитв и благословения приверженную и послушную дочь духовную Александру Сакен.

Адрес мой на мое имя — графине Александре Ильиничне Сакен на Сивцевом вражке в приходе Иоанна Предтечи в доме Полежаева.

В письме Александра Ильинична обращается к двум Оптинским старцам (как сказано в письме: «...я не разделяю двух моих отцев духовных по чувствам преданности и почтения...») — Льву и Макарию, что характерно для многих их духовных чад. Старец Макарий был письмоводителем старца Льва, его учеником и преемником в старческом служении. По воспоминаниям современников, старец Лев «был большого роста, величественный, в молодости обладавший баснословной силой, сохранивший до старости лет, несмотря на полноту, грацию и плавность в движениях. Вместе с тем его исключительный ум, соединенный с прозорливостью, давал ему видеть людей насквозь. Душа старца была преисполнена великой любви и жалости к человечеству»^{*}.

Старец Макарий ради духовного общения с преп. Львом перешел в Оптину Пустынь, и, как замечали их ученики, у них *бе сердце и душа едина*... «Не всякий, кто стар летами, уже способен к руководству, но кто вошел в бесстрастие и принял дар рассуждения», — говорил преп. Петр Дамаскин. Имея дар сострадательной и жертвенной любви, чужие горести и падения старцы воспринимали как свои собственные.

В письме Александры Ильиничны чувствуется искреннее доверие и глубокое почтение к старцам, и вместе с тем — внимательное отношение к своей внутренней жизни. Описывая свои затруднения, она

^{*} Концевич И. М. Оптиная пустынь и ее время. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995. С. 115.

полагается на молитвенную помощь отцов Льва и Макария. А также упоминает о своих посещениях обители, которые, по всей видимости, были нередкими.

Оптина Пустынь стала и местом ее последнего пристанища. Летом 1841 года из Ясной Поляны она отправилась на богомолье в Оптину Пустынь. В «Памятной книге о скончавшихся и погребенных в Козельской Введенской Оптиной Пустыни и в ските св. Иоанна Предтечи, находящемся при оном» была сделана следующая запись: «Скончалась на монастырской гостинице подполковница графиня Александра Ильинична фон-дер Остен-Сакен на 44-м году от роду*. Она приехала на гостиницу в июне сего 1841 года нездоровая, и постепенно ослабевала; во все сие время находилась при ней родственница вдовая графиня Елизавета Александровна Толстая, Чернск<ая> помещица. Пред смертью по прочтении духовником отходной она тихо говорила с поспешностью невидимому духу: «Руку, руку, пустите руку», — и скончалась тихо. При погребении 2-го сентября довольно было родных ее, малолетние племянники графы Толстые, генерал Ергольский и прочие»**.

Напутствие в жизнь вечную она получила, по всей видимости, от о. Макария. Старец Лев был в это время смертельно болен, и следующая запись в монастырской книге была сделана в октябре, в день смерти старца Льва.

К сожалению, в монастырской книге не перечислены поименно все родственники, присутствовавшие на похоронах. Упоминание о том, что на похоронах присутствовали «малолетние племянники графы Толстые», позволяет предполагать некоторым исследователям, что на них присутствовал молодой Л. Н. Толстой. Одно не-

сомненно — это событие глубоко тронуло его сердце. От лица племянников он написал стихотворение-эпитафию, посвященное Александре Ильиничне. Подробно эта эпитафия была приведена в монастырской книге «Дело о составлении списка умерших лиц, похороненных в Козельской Введенской Оптиной Пустыни, с указанием надгробных надписей»:

Памятник.

1-я сторона:

*Подполковница графиня Александра
Ильинична фон-дер Остен-Сакен;*

2-я сторона:

*Уснувшая для жизни земной,
Ты путь перешла неизвестный.
В обителях жизни небесной
Твой сладок, завиден покой.*

3-я сторона:

*Скончалась 30 августа 1841 г., жития
ее было 44 года.*

4-я сторона:

*В надежде сладкого свидания
И с верою за гробом жить,
Племянники сей знак воспоминанья
Воздвигнули, чтоб прах усопшей звать.*

После этой записи в монастырской книге было отмечено, что А. И. Остен-Сакен — воспитательница гр. Толстых. Л. Н. Толстой в воспоминаниях говорит о ней, как истинной христианке, «жившей под руководством такого великого старца как Леонид Оптинский»*.

Позже и Елизавета Александровна Толстая, верная сиделка Александры Ильиничны, нашла свой последний приют на кладбище Оптиной Пустыни. В уже упоминавшейся «Памятной записке...» за

* Здесь неточность. А. И. Остен-Сакен скончалась в возрасте 46 лет.

** Памятная записка о скончавшихся и погребенных в Козельской Введенской Оптиной Пустыни и в ските св. Иоанна Предтечи, находящемся при оном: с 1768 до 1890 г. // НИОР РГБ. Ф. 214. Опт-350.

* Дело о составлении списка умерших лиц, похороненных в Козельской Введенской Оптиной Пустыни, с указанием надгробных надписей». 1909 г. // НИОР РГБ. Ф. 213. К. 11. Ед. хр. 6. Л. 9 об.

Стихотворение опубликовано в академическом собрании сочинений Л. Н. Толстого. (М., 1958. Т. 90. С. 104 (ком. 385, 388)). Также смотри ряд публикаций, посвященных эпитафии, например: Волков Г. Неизвестное стихотворение Л. Н. Толстого // Сборник государственного толстовского музея. М., 1937. С. 162—165; Пузин Н. Кочаковский некрополь. Семейное кладбище Толстых. Тула, 1998. С. 24—26.



Старинный памятник на могиле гр. Александры Остен-Сакен в Оптиной Пустыни. Современный вид

18 сентября 1851 года сделана следующая запись: «По полудни в 8 ч<асов> привезено тело графини Елизаветы Александровны Толстой, вдовы, Чернской помещицы, которая, бывши в гостях у родного брата своего Козельского помещика Дмитрия Александровича Ергольского, скончалась 14 под 15-е число сего сентября на ... г<оду> от роду. 19-го по Литургии погребено тело против алтаря Вв<еденского> собора. При погребении были: сын покойной, граф Валлериан Петрович Толстой, брат Дмитрий Ал<ександрович> Ергольский и другие. Покойная графиня Елизавета по усердию своему ежегодно посещала Оптину Пустынь в посты для говения и приобщения Св. Таин, благотворила обители хлебом»^{*}.

Сохранившееся стихотворение-эпитафия — одно из ранних произведений Л. Н. Толстого, написанное в тринадцатилетнем возрасте. Годом раньше, в январе 1840 года, ко дню именин Т. А. Ергольской было написано стихотворение «Милой тетеньке». Оба стихотворения объединяет торжественно-возвышенный, несколько архаизированный стиль, в них сложно рассмотреть поэтическую индивидуальность. Однако они имеют одно неоспоримое достоинство — искренность молодого поэта, с которым он обращается к родным и любимым людям.

В архиве семьи Толстых также сохранились некоторые материалы, описывающие последние дни жизни Александры Ильиничны. 12 сентября 1841 года Николай Николаевич Толстой писал к Владимиру Ивановичу Юшкову, мужу Пелагеи Ильиничны (урожд. Толстой): «Я присутствовал при кончине моей тети, она умерла, как жила — христианкой и святой». А в приписке, сделанной предположительно Т. Ергольской, отмечалось: «Александрин

умерла, но в монастыре Оптино, куда она поехала говеть с моей сестрой. Она около трех недель болела, но не лежала в постели, она сохранила память до последнего момента. Мы 15 часов провели с ней, она, увидя нас, плакала от радости, это были последние слезы, которые она пролила на этом свете. И на другой день два часа после причастия она уже не существовала; это 30-го августа как она скончалась в 11 часов утра без томления, потому ее святая душа направилась на небо. Описать горе, которое я испытываю, выше моих сил, горе Пашеньки — раздирающе, я боюсь, что она не перенесет это несчастье»^{*}.

Прах Александры Ильиничны остался навечно за монастырской оградой. А памятник с эпитафией ее знаменитого племянника в 1929 году перевезли в Кочаки и поставили в склеп, где он находился до 1945 года, позже был установлен рядом с памятником Н. С. Волконского. Памятник представляет собой четырехгранный постамент из темного мрамора, верхняя часть которого, судя по отверстию, увенчивалась когда-то металлическим крестом.

В 2007 году памятник был возвращен на свое историческое место — в монастырь Оптиная Пустынь.

Знаменитая Оптиная Пустынь вошла в жизнь Л. Н. Толстого еще в отроческие годы через любимую тетюшку. Образ ее жизни, искренняя глубокая вера и неожиданная смерть в обители — все эти переживания надолго остались в памяти писателя. По всей вероятности, Лев Николаевич еще в юности побывал в обители. Не в этом ли кроется его постоянное стремление в Оптину Пустынь, к миру горнему, к святым старцам? Не дает ли это ключ к разгадке последнего ухода Л. Н. Толстого из Ясной Поляны? Впрочем, это тема уже отдельного исследования...

^{*} Перевод писем, найденных в портфеле Пелагеи Ильиничны Юшковой, урожд. гр. Толстой // ОР ГМТ. Ф. 54. № 39567.

^{*} НИОР РГБ. Ф. 214. Опт-350. Л. 62 об.



Владимир Илларионов

Оптина Пустынь в жизни Льва Толстого

О Л. Н. Толстом написаны сотни книг и тысячи статей. В дневниках, которые он вел в течение многих десятилетий день за днём, содержатся размышления о прожитом, сомнения, дискуссии с самим собой и оппонентами. Поводом к написанию этих заметок явилось то, что в дни празднования 175-летия со дня рождения писателя в печати и по телевидению стали усиленно обсуждаться вопросы о якобы необоснованном отлучении его от Церкви. Так, директор музея «Ясная Поляна» Владимир Толстой высказал мнение, что, если бы Святейший Синод отлучил писателя не публично, а в «личном» обращении, это было бы более приемлемо для Льва Николаевича. Прозвучали с экрана и более радикальные суждения о том, что отлучение Л. Н. Толстого «позорит Церковь». На наш взгляд, подобного рода высказывания основаны либо на недостаточном знании фактических обстоятельств отлучения, либо на неверной их интерпретации.

Известно, что одним из проявлений его критического отношения к Православной Церкви было негативное отношение писателя к старцам Оптиной Пустыни. Возникла необходимость выяснить, чем вызвано это обстоятельство, рассмотреть его причины и следствия. Хронология отношений Л. Н. Толстого с обителью начинается с осени 1841 года, когда он 14-летним подростком стоял у могилы за оградой кладбища Оптиной. Тогда у круглых сирот братьев Толстых и сестрёнки Марии умерла их опекунша — тётя Александра Ильинична, по мужу Остен-Сакен. Позже племянники поставят ей памятник, на ко-

тором под православным крестом напишут трогательную эпитафию:

*Уснувшая для жизни земной,
Ты путь перешла неизвестный,
В обителях жизни небесной
Твой сладок, завиден покой.
В надежде сладкого свидания
И с верою за гробом жить,
Племянники сей знак воспоминанья
Воздвигнули, чтоб прах усопшей гнить.*

Утверждают, что это первые увидевшие свет поэтические строки великого писателя. Пройдёт 69 лет, 28 октября 1910 года тяжело больной старик, переживающий драматический уход из семьи, за несколько дней до своей кончины напишет последние строки в «Дневнике для самого себя»: «...и вот я в Оптиной Пустыни». Именно Оптина протянула руку духовной помощи и спасения умирающему Л. Н. Толстому. На станцию Астапово прибыл Оптинский старец Варсонофий, но не был допущен окружением писателя к его смертному одру. Мятущийся дух Льва Николаевича, мечтавшего достойно встретить свой последний час, «как русские мужики», не получил успокоения и отпущения грехов.

Таким образом, Оптина стала знаковым событием всей его многотрудной, полной грандиозных творческих свершений жизни. Судьба распорядилась так, что Оптина Пустынь была «фамильным» духовным центром этой ветви графов Толстых. Здесь жила П. И. Юшкова — сестра отца Льва Николаевича — «последнее воспоминание о прошедшем поколении моего отца и матери». Монахом Оптиной был Б. В. Шидловский, двоюродный брат жены писателя С. А. Толстой. Монахиней соседнего



с Оптиной Пустынью женского монастыря в Шамордине была М. Н. Толстая, сестра писателя. Исследователи подсчитали, что Л. Н. Толстой был в Оптиной пять раз. О четырех из них рассказала С. А. Толстая (в «Толстовском ежегоднике», 1913). Однако не только числом посещений определяется связь писателя с обителью. Он постоянно интересовался делами монастыря, образом жизни и высказываниями старцев, из которых черпал там сюжеты для своих произведений.

Между тем сам Лев Николаевич, как это ни тяжело сознавать, если судить по биографической литературе, дневникам, мемуарам, весьма настороженно, без особых симпатий, а порой и явно негативно относился к Оптиной и ее старчеству. Сошлемся на некоторые факты, возможно, не бесспорные.

Известно, что в 1881 году, уже будучи писателем, которого знала вся Россия, он отправился вместе с учителем местной школы в Оптину Пустынь, решив посетить ее «инкогнито» в числе богомольцев из простонародья, наверное, для того, чтобы «изнутри», из гостиницы для бедных людей, увидеть монастырскую жизнь. Наивная мистификация, конечно, не удалась. Паломников из Ясной Поляны ко всеобщему смущению вскоре узнали: одним из монахов был житель этого имения, а граф купил дорогое Евангелие нищей старушке. Можно судить по-разному, но Оптина в этом случае была достойна более уважительного отношения. У монахов Пустыни и Скита, естественно, встал вопрос: что хотел узнать, какую тайну «выведать» великий писатель. Они и без «инкогнито» предоставили бы ему возможность узнать все, что он пожелал бы.

Прошло десять лет. Л. Н. Толстой вновь посетил Оптину Пустынь уже не только как автор гениальных художественных произведений, но и как сочинитель резких антицерковных публикаций, претендующих на опровержение догматических основ Православия и утверждение новой веры в Иисуса Христа, «очищенной

от искажений» церковными иерархами. Разумеется, в Оптиной читали эти публикации, начиная с «Критики догматического богословия» (1884). Нетрудно представить, как оценили их преподобные старцы, вся монашеская братия, посвятившие свою жизнь служению Церкви. В этой связи рассмотрим цитату из сочинения Л. Н. Толстого «В чем моя вера», которая часто приводилась советскими исследователями жизни и творчества писателя.

«Все церкви — католическая, православная и протестантская — похожи на караульчиков, которые заботливо караулят пленника, тогда как пленник уже давно ушел и ходит среди караульчиков и даже воюет с ними. Все то, чем истинно живет теперь мир: социализм, коммунизм, политико-экономические теории, утилитаризм, свобода и равенство людей, и условий, и женщин, все нравственные понятия людей, святость труда, святость разума, науки, искусства, все, что ворочает миром, представляется Церкви враждебным».

В XIX веке отдельным представителям общества казалось, что идеи социализма и коммунизма и другие пути социального переустройства существующего общественного порядка, предложенные левыми радикалами, есть единственный способ добиться справедливости на земле. Л. Н. Толстой, страдавший из-за несправедливого устройства жизни, конечно, сочувствовал этим учениям. По его мнению, Церковь не отвечала требованиям, выдвигаемым адептами социализма и коммунизма, выступала против «призрака, который бродит по Европе». Вместе с тем, видимо, есть причина, по которой он употреблял неуважительные метафорические сравнения Церкви с «караульщиками».

Часто бывает так, что люди в своих сочинениях, рассчитанных на публику, пишут одно, а думают совсем другое. Эту трагедию пережили многие писатели и поэты советской эпохи. Сейчас выясняется, что в своих дневниковых записях, в произведениях, которые клались ими «в стол», они высказывали мысли, противоположные

тому, что говорили на их страницах. Достоинством человечества являются «Дневники» Л. Н. Толстого, которые он вел всю жизнь и в которых с поразительной искренностью отразились его страдания, заблуждения — духовный мир этого гениального человека. В них учинял он «тяжбу с самим собой». Зададимся вопросом: не являются ли резкие выступления против Православной Церкви исключительно рассчитанными на публичное восприятие, требующее определенного общественного резонанса? Ведь очевидно, что Л. Н. Толстой очень хотел стать мучеником, гонимым властями и Церковью. К. Н. Леонтьев вспоминает о разговоре с ним в Оптиной, во время которого тот с жаром воскликнул: «Голубчик, Константин Николаевич! Напишите, ради Бога, чтобы меня сослали. Это моя мечта. Я делаю все возможное, чтобы компрометировать себя в глазах правительства, и все сходит мне с рук. Прошу Вас, напишите».

Не исключено, что Л. Н. Толстой стремился быть не только государственным преступником, выступающим против правительства, но и «мучеником» Церкви. Читаем в его дневнике: «Три модные философии на моей памяти: Гегель, Дарвин и теперь Ницше. Первый оправдывал все существующее; второй приравнивал человека к животному, оправдывал борьбу, то есть зло в людях; третий доказывает, что то, что противится в природе человека злу, — есть ложное воспитание, ошибка. Не знаю, куда идти дальше. Говорят: вернитесь к Церкви. Но ведь в Церкви я увидел грубый, явный и вредный обман. “Продолжайте у нас покупать муку”, — но ведь я знаю, что ваша мука — с известкой, вредна».

«Вредная мука с известкой» — так определил Л. Н. Толстой в разговоре с самим собой значение Православной Церкви. Можно констатировать, что его личная позиция в отношении к Церкви не расходилась с теми высказываниями, с которыми он выступал в своих статьях, памфлетах, обращениях к общественности.

Народная мудрость советует не ходить в монастырь со своим уставом. Необъяс-

нимой выглядит поездка Л. Н. Толстого в Скит Оптиной с «Евангелием от Толстого», в котором предпринята довольно странная попытка «объединить» канонические книги Нового Завета для создания «очищенного» учения Иисуса Христа от «церковных наслоений». Он писал: «Под учение Христа было подставлено чуждое ему учение Павла... Все больше меня занимает мысль выделения христианства из церковного, главное, Павловского христианства... Как хорошо было бы вырвать Евангелие из Ветхого Завета и Павла. Это было бы великое дело... **извлечь мудрость Христа из обоготворения...** Человечество не должно больше терпеть этого невыгодного положения Евангелия, и дело нашего века состоит в том, чтобы свести все эти писания на один общий уровень происхождения».

Видимо, Л. Н. Толстой нуждался в оценке своего сочинения Оптиными старцами, для которых каждое слово, каждая буква Святого Писания были величайшей драгоценностью, данной Богом человечеству. Мы не знаем, что сказал ему преподобный Амвросий, свято хранивший заветы Отцов Церкви, о том, что «монахам вовсе не свойственно гневаться, равно как и прогневливать других» (Авва Дорофей). Но Толстой в дневнике так описал эту встречу с Оптиным старцем 27 февраля 1900 года: «Приехали рано. В Оптиной Машенька (М. Н. Толстая) только и говорила про Амвросия, и все, что говорит, ужасно. Подтверждается то, что я видел в Киеве: молодые послушники — святые, с ними Бог, старцы не то, с ними дьявол. Вчера был у Амвросия, говорил о разных верах. Я говорю: где мы в Боге, то есть в истине, там все вместе, где в дьяволе, то есть лжи, так все врозь... Амвросий — жалок, жалок своими соблазнами до невозможности. По затылку бьет, учит... монастырь духовное сибаритство».

Тяжело читать эти строки. О каком «дьяволе» можно говорить со святым человеком, отдавшим свою жизнь Богу и Православной Церкви? В чем состоит «си-

баритство» Оптиных старцев, ведущих аскетический образ жизни со скудной едой, ежедневным общением с сотнями богомольцев, многочасовым молитвенным делом, постоянным чтением Святого Писания и святоотеческой литературы?

В наши дни преподобный Амвросий причислен к лику святых Православной Церкви.

Сестра Льва Николаевича рассказывает о другой его встрече с Оптиными старцами: «Л. Н. Толстой виделся с отцом Иосифом лет двенадцать назад. Я устроила тогда это свидание. Они долго разговаривали, и отец Иосиф сказал о нем, что у него слишком гордый ум и что пока он не перестанет доверяться своему уму, он не вернется к Церкви».

Так и случилось. В устах Оптиных старцев слово «гордыня» означало тягчайший грех человека перед Богом и людьми: «Всех наших поплзновений причина и корень — гордость: отрасли ее: превозношение, о себе мнение, зазрение людей, унижение и осуждение их» (старец Макарий).

Из рода Толстых не только Лев Николаевич обращался к Оптиным старцам за советом. Его дальний родственник — граф А. П. Толстой — обер-прокурор Святейшего Синода, дважды (в 1866 и 1871 годах) писал к преподобному старцу Амвросию, нуждаясь в духовном толковании некоторых тревожных событий. В ответ старец предупреждал, что, если «начнется ослабление правил и постановлений Православной Церкви, оскудеет благочестие, если ее охватит мрак неверия и дерзкохульное вольнодумство, — ее ждут тяжелые времена». Автором «дерзкохульных» вольнодумных сочинений стал Л. Н. Толстой.

Антицерковные убеждения сложились у него в конце 70-х годов XIX века. Они были широко известны в России и пользовались поддержкой, как тогда говорили, «прогрессивных слоев общества». Нельзя сказать, что Православная Церковь не принимала мер к увещанию великого

писателя и возвращению его в лоно Церкви. Лишь через 20 лет Святейший Синод издал свое «Определение от 20—23 февраля 1901 года № 557 с посланием верным чадам православной Греко-Российской Церкви о графе Льве Толстом», напечатанное в «Церковных ведомостях».

Из истории Церкви известно, что отлучение, анафема, бывает двух видов: смертельная и врачующая. Первая относится к грешникам, совершившим тягчайшие преступления перед Богом и людьми, которые не могут быть прощены Церковью. Вторая относится к верующим, которые могут вновь стать членами Церкви, если покаются в своих грехах. Святейший Синод избрал в отношении Л. Н. Толстого врачующее отлучение, не теряя надежды, что Лев Николаевич вернется в лоно Православия. Из текста «Определения...» видно, что редакторы особенно заботились о тактичности своих слов, обращенных к великому писателю:

«Бывшие же к его вразумлению попытки не увенчались успехом. Посему Церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с нею. Ныне о сем свидетельствуем пред всею Церковью к утверждению правостоящих и вразумлению заблуждающихся, особливо же к новому вразумлению самого графа Толстого. Многие из ближних его, хранящих веру, со скорбью помышляют о том, что он на конце дней своих остается без веры в Бога и Господа Спасителя нашего, отвергшись от благословений и молитв Церкви и от всякого общения с нею. Посему, свидетельствуя об отпадении его от Церкви, вместе и молимся, да подаст ему Господь *покаяние к познанию истины* (2 Тим. 2, 25). Молимся, милосердый Господи, не хотяи смерти грешных, услыши и помилуй и обрати его ко святой Твоей Церкви. Аминь».

Ответ Л. Н. Толстого, последовавший 4 апреля 1901 года, был категоричен: «Учение Церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практически же собрание

самых грубых суеверий и колдовства... Я действительно отрекся от Церкви, перестал исполнять ее обряды и написал в завещании своим близким, чтобы они, когда я буду умирать, не допускали ко мне церковных служителей и мертвое мое тело убрали бы поскорей, без всяких над ним заклинаний и молитв...» (Миссионерское обозрение, 1901, № 6).

Можно лишь сожалеть, что такое обращение его к Святейшему Синоду не было направлено им в 1884 году после опубликования сочинения «В чем моя вера». Тогда не было бы необходимости отлучать его от Православной Церкви, поскольку речь шла о человеке, который по своей воле, сознательно ее покинул.

Мог ли Святейший Синод объявить об отлучении Л. Н. Толстого в «частном» порядке, направив ему письмо, не подлежащее широкой огласке, как полагает праправнук писателя Владимир Толстой? Как известно, Лев Николаевич не делал тайны из своих антицерковных убеждений, опубликовав в течение 20 лет неприемлемые для Церкви, «дерзко-хулильные» по содержанию, сочинения. В этих условиях для Святейшего Синода вряд ли была приемлема иная форма отлучения, тем более что она не предусмотрена правилами и постановлениями Церкви.

А какова более поздняя оценка его религиозно-философских сочинений? В. И. Ленин, суждения которого совсем недавно признавали верными «на все времена», восхищаясь художественным творчеством Л. Н. Толстого, сурово критиковал его идеологические концепции: «Толстой смешон как пророк, открывающий новые рецепты спасения человечества». Сегодня не воспринимаются всерьез и рецепты самого В. И. Ленина о переустройстве общества.

Как видим, исторические судьбы всех социально-политических, экономических, философских учений одинаковы: они позабытыми уходят в прошлое. Л. Н. Толстой много сил и энергии отдал обоснованию учения о «непротивлении злу насилием»,

о возможности «выделения» христианства из рамок церковной догматики, считая, что она затрудняет восприятие Заветов Иисуса Христа.

В 1992 году вышло в свет собрание избранных религиозно-философских произведений Л. Н. Толстого, предваряемое вступительной статьей Б. Сушкова «Когда мы реабилитируем Льва Толстого?», в которой ставился вопрос: «Какие же это идеи Толстого нанесли вред русскому обществу? Уж не христианская ли его проповедь непротивления злу насилием...?»

Только после революции и захвата большевиками власти в России стали понимать, почему некоторые идеологические воззрения Л. Н. Толстого так нравились В. И. Ленину и его соратникам. Выдающийся русский философ, правовед и социолог И. А. Ильин задается вопросом: «Может ли человек, стремящийся к нравственному совершенству, сопротивляться злу силою и мечом? Может ли человек, верующий в Бога, приемлющий Его мироздание и свое место в мире, не сопротивляться злу мечом и силою?» И дает ответ: «Физическое пресечение и принуждение могут быть прямою религиозной и патристической обязанностью человека; и тогда он не вправе от них уклониться... Прав будет тот, кто вовремя ударит по руке революционера, прицеливающегося из револьвера, кто в последнюю минуту собьет с ног поджигателя, кто выгонит из храма кощунствующих бесстыдников» («О сопротивлении злу силою», 1925).

Слишком поздно российская интеллигенция поняла необходимость применения силы к революционерам, взявшимся за оружие. Результат известен: миллионы невинных людей были расстреляны, погибли в лагерях, колониях, ссылке. Непротивление злу насилием дорого обошлось России.

На вопрос о том, какой вред причинила России толстовская проповедь, ответили уже в 20-х годах прошлого столетия лучшие представители российского общества, изгнанные со своей родины после револю-

ции 1917 года. Читаем у И. А. Ильина: «И вот, в своеобразном сочетании безвольной сентиментальности, духовного нигилизма и морального педантизма возникло и окрепло зловерное учение графа Льва Толстого “о непротавлении злу насилием”, которое более или менее успело отравить сердца нескольких поколений в России и, незаметно разлившись по душам, ослабило их в деле борьбы со злодеями.

Придавая себе соблазнительную видимость единственно верного истолкования Христова откровения, это учение долгое время внушало и незаметно внушило слишком многим, что любовь есть гуманная жалостливость; что любовь исключает меч; что всякое сопротивление злодею силою есть озлобленное и преступное насилие; что любит не тот, кто борется, а тот, кто бежит от борьбы; что жизненное и патриотическое дезертирство есть проявление святости».

В широкой дискуссии, которая возникла в русском зарубежье после публикации, утверждалась мысль о том, что своевременное и решительное противостояние большевистской пропаганде и насильственным действиям могло предотвратить национальные бедствия советской эпохи.

В чем же причина, приведшая Л. Н. Толстого к разработке концепции непротавления, которую он считал выводом из христианского учения? В Новом Завете нет слов о непротавлении злу насилием. В Нагорной проповеди дается мудрейший совет, как устыдить обидчика, исходя из норм христианской нравственности; говорится: «Любите врагов ваших»; «кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф. 5, 39—44).

Однако это не значит, что нельзя обороняться от действий, посягающих на жизнь и здоровье человека. Если тебя хотят ударить ножом в левую сторону груди, у тебя не всегда будет возможность подставить правую. На этом принципе основан один из древнейших институтов уголовного права — право самозащиты, которое принадлежит и отдельному человеку,

и народам, подвергшимся вооруженному нападению врага. Так поступила Православная Церковь, призывая русский народ дать отпор французскому нашествию в 1812 году и фашистским захватчикам в Великую Отечественную.

На долгую жизнь Л. Н. Толстого пришлось три войны, которые вела Россия. Крымская, в которой он участвовал, Русско-турецкая 80-х годов и Русско-японская 1904—1905 годов. Но это были локальные войны, проходившие на окраинах Российской Империи и мало затрагивавшие жизненные интересы ее народа. А если бы толстовское учение непротавления злу насилием овладело, не дай Бог, массами ко времени, когда танки Гудериана подошли к Туле и Ясной Поляне, это стало бы величайшей катастрофой для России. Можно не сомневаться, что, будь Лев Николаевич жив, он бы взял винтовку, записался в тульское ополчение, стал в ряды защитников Родины.

В ходе изучения религиозно-философского наследия Л. Н. Толстого обращает на себя внимание тот факт, что при широком использовании трудов европейской и азиатской школ философии, работ античных авторов, китайских и индийских мудрецов, французских моралистов почти нет ссылок на святоотеческую литературу, обобщившую многовековой опыт изучения философских и нравственных проблем бытия.

Приведем в этой связи мнение писателя М. В. Лодыженского, встречавшегося со Львом Николаевичем: «...Толстой 30 лет трудился над созданием своего религиозного мирозерцания, изучал Конфуция, Сократа, Лао Цзы, Зороастра, Марка Аврелия и других, и вот оказалось при всем этом, что он до конца дней своих упорно игнорировал целый ряд великих религиозных мыслителей, учителей русского народа — того самого народа, перед силою духа которого он так преклонялся. Толстой не знал нашей святоотеческой литературы, не имел, напр., понятия, что была за книга “Добротолубие”, что за философы были св. Исаак Сириянин, св. Ефрем Сириянин,



Толстой за работой в кабинете яснополянского дома. 1909 г.

св. Авва Дорофей и другие, создавшие наших русских святых. Он до того не хотел знать все это, что предвзято отворачивался без дальнейших разговоров от всякого, кто серьезно интересовался православным подвижничеством».

Возможно, что мудрость святоотеческой литературы, которой так восхищались Оптиные старцы, позволила бы Льву Николаевичу шире посмотреть на вопросы христианской веры; ее философские и нравственные аспекты изложены с такой силой и полнотой, которые делают ее нужной людям во все времена.

... Вот и наступил для Льва Николаевича час расставания с Оптиной Пустынью. В последний приезд промозглым октябрьским вечером 1910 года он, сбежавший из дому, стоял в Скиту перед ветхой дверью старческой кельи. Измученный семейными неурядицами и склоками близких, заставлявших его прятать в голенище сапога личные дневники, подписывать в лесу тайные завещания, он решал главный вопрос — чем жить дальше. Войти для совета в тихую обитель старца или остаться при своем мнении, из гордости настоять на своем? Только перо самого Льва Николаевича в силах рассказать о тяжком бремени его душевных сомнений. Так и остается загадкой, почему Л. Н. Толстой не вошел в келью старца, а, повернувшись, отправился в обратный путь. Как оказалось, к своей кончине на станции Астапово.

Доживи Л. Н. Толстой до Октябрьской революции, он увидел бы поругание ненавистной ему Церкви, стал бы свидетелем диких сцен крушения монастырей, храмов, расстрелов священнослужителей и монашествующей братии. Отечественная история показала, что система духовных ценностей народа — хрупкая сфера его общественного бытия. В «Дневниках» М. М. Пришвина читаем такую запись начала 20-х годов: «Очень древний священник с большой седой бородой, сгорбившись, шел по улице (в Троице-Сергиевой Лавре). Вокруг него бесилась куча мальчишек, прыгали, бросали в старика грязью и

кричали на него: “Поп, поп, поп!” Он шел молча, сгорбившись и, только когда грязь попадала ему в лицо, крестился и, повторял вовсе незлобливо: “Ах, деточки, деточки”».

Это душераздирающая сцена, типичная для послереволюционных лет, показывает, насколько быстро «воинствующим безбожникам» удалось исказить духовное сознание народа, включая молодое поколение. Как это ни горько сознавать, но слова и действия Л. Н. Толстого против Православной Церкви не противились злу антирелигиозного насилия.

Но не нам судить Л. Н. Толстого. Память о нем, великом писателе Земли Русской, не нуждается ни в реабилитации, ни в осуждении.

Решение Синода по вопросу отлучения Л. Н. Толстого пока остается неизменным. Как заявил заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского Патриархата: «Отход от Церкви был решением самого Толстого, и анафема была не проклятием, а лишь констатацией Церковью выхода самим писателем из лоно Православия. Все говорит за то, что в последние дни Толстой стремился к покаянию. Недаром же направлением его последней поездки была Оптина Пустынь, но по дороге он простудился и умер. Акт так и не был совершен. Потому и снять анафему невозможно».

Близится 100-летие со дня смерти писателя. Можно не сомневаться, что вопрос об отлучении Л. Н. Толстого от Церкви вновь будет широко обсуждаться общественностью. Проведенное автором исследование показало, что у Синода были основания призвать его к возвращению в лоно Церкви. Но нельзя забывать, что со времён Петра I Император России был «конечным судиею» Православной Церкви. Даже вопрос о канонизации святых решался Монархом по всеподданнейшему докладу Синода. В день смерти Л. Н. Толстого Николай II, ныне причисленный к лику святых, на докладе собственноручно написал: «Душевно сожалею о кончине

великого писателя, воплотившего, во времена расцвета своего дарования, в творениях своих родные образы одной из славнейших годин русской жизни. Господь Бог да будет ему Милостивым Судиею». Тем самым «конечный судия» Церкви вручил в руки Спасителя посмертную судьбу Л. Н. Толстого.

Завершая разговор об Оптиной Пустыни в жизни Л. Н. Толстого, невольно задумываешься над отношением людей к Церкви. Для верующих она — родной дом,

а голоса преподобных Оптинских старцев, их проникновенные слова и наставления по-прежнему идут к нам из далекого исторического прошлого России, выстояв в жестокие годы богоборчества и презрения к духовным ценностям Православия. Они, как доброе старое вино, вливаются в молодые мехи современности, не потеряв своей силы, мужества и надежды на лучшее будущее для русского народа, который они представляют пред Святым Престолом.



Ольга Фетисенко

Окрест Оптиной

*Достоевский и спор о «сентиментальном христианстве»
в пометах К. Н. Леонтьева на книге «Преподобного отца
нашего Аввы Дорофея душеполезные поучения...»*

В феврале 1879 года в Оптину Пустынь пришло письмо из Москвы. Сын придворного и публициста В. С. Неклюдова (1818–1880), Анатолий Васильевич Неклюдов (1856–1943), вдохновленный чтением первой книги «Братьев Карамазовых», написал его своему старшему другу — К. Н. Леонтьеву.

«Пишу Вам из шумной Москвы, с масляницей, балаганами, рыхлым серым снегом, извощиками, пьяницами, блинами и блестящими балами, пишу в Оптину Пустынь... Как у Вас должно быть хорошо; тишина и благовест и башни монастырские над большими полями и спокойное зимнее небо, и уже великопостная служба и протяжное пение в полутемной церкви. Ей-ей сейчас бы сел в вагон, а там в сани и прикатил бы к вам.

“Утреннует дух мой!..”^{*} Так, должно быть, всю жизнь и проутреннует! Правы Вы, тысячу раз правы в Ваших воззрениях на нравственную жизнь современных дней. Жили наши прадеды и жили в волю; бесу угождали — угождали вдоволь; но была и оборотная сторона, была вера крепкая и жизнь по вере, деятельной и счастливой; и нередко были переходы от одного к другому, от Мамона к Богу, переходы нелицемерные, со слезами и раскаянием, но и с утешением и радостью. А теперь — “ни Богу свечка, ни черту кочерга” — вот что мы; я по крайней мере себя таковым чувствую. Ведь, кажется, простая была бы вещь взять, например, да поехать в Мо-

настырь недель на 6, постом — ан нет! — Хорошо если только умственные способности станут свидетельствовать^{*}, а то и в чем-нибудь “политическом” подозревать станут! Нечего делать — приходится Великого Поста ждать, с затишьем и оттепелью, и мефимонами в Успенском соборе^{**}.

За поэтичным вступлением следует сообщение о литературной новинке, которая, конечно, и навеяла автору письма «покаянный» лиризм, и напомнила об оптинском «отшельнике». Эта новинка действовала на юношу тем сильнее, что читалась в дни приготовления к Великому посту.

«Ну а теперь о важном вопросе дня, о “явлении”, ибо оно положительно таковым мне показалось — я говорю о “Братьях Карамазовых” Достоевского, появившихся в Январской книжке Русск<ого> Вестника. Место действия у Вас в Оптиной! Старец Зосима! Характер злого старого шута! до какой-то истеричной крайности доведенный и в то же время поразительно пластичный и верный! Это сопоставление двух бесовских сил: беса безверной злой и необычайной лжи с бесом гнева и

^{*} Цитата из песнопения Постной триоди «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче...» («Утреннует бо дух мой ко храму святому Твоему...»).

^{*} А. В. Неклюдов мог знать, что подобное пришлось пережить К. Н. Леонтьеву в 1872 г., когда Н. П. Игнатьев послал к нему в Салоники и на Афон доктора В. Каракановского, видимо, для негласного освидетельствования. (Письмо В. Каракановского Леонтьеву от 17 марта 1872 г.: ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 146). О разговорах в дипломатических кругах по поводу душевного нездоровья консула, «задержавшегося» на Афоне, см.: Фетисенко О. Л. Путь Константина Леонтьева к монашеству // Православный летописец Санкт-Петербурга. 2001. № 2. С. 107. А. В. Неклюдов впоследствии стал дипломатом, служил в Швеции.

^{**} ГЛМ. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 187. Л. 3–4 об.

необузданной страсти обещает в будущем замечательную по верности завязки и оригинальности положений драму. А детали! Этот разговор старца с бабами! Этот обед у Игумна, эти второстепенные типы... Не хочу продолжать, ибо, может статься, вы и не читали. Жду Вашего ответа и мнения»^{*}.

Письмо А. В. Неклюдова с побуждением к высказыванию о «Братьях Карамазовых» является одним из первых в обширной переписке Леонтьева упоминаний об этом произведении^{**}. Оно написано 6 февраля, т. е. на пятый день после выхода январской книжки «Русского вестника». Ответное письмо, к сожалению, неизвестно. Но хорошо известна *нелюбовь* Леонтьева к последнему роману Достоевского. Говоря о ней, однако, теперь не вспоминают о том, что очередные главы «Братьев Карамазовых» (гл. V—VIII восьмой книги третьей части) печатались в 1879 году в ноябрьской книжке «Русского вестника» рядом с началом одной из лучших книг Леонтьева «Отец Климент», получившей впоследствии другое название^{***}. Думается, что это обстоятельство невольной встречи могло увеличить некоторый оттенок почти болезненного, напряженного внимания будущего монаха Климента к позднему творчеству Достоевского.

Встреча в «Русском вестнике» привела еще и к тому, что «Отца Климента Зеде-ргольма» рецензенты упоминали рядом с «Братьями Карамазовыми». На журнальную публикацию откликнулся киевский

журнал «Руководство для сельских пастырей»^{*}. Правда, этот отклик мог скорее огорчить Леонтьева, нежели обрадовать, поскольку, представляя его произведение, неизвестный автор прежде всего напоминал о романе, монастырские («оптинские», как считается до сих пор) страницы которого для биографа отца Климента вскоре стали предметом полемики. «В прошлом году в светской литературе весьма ощутительно стал замечаться во взглядах на монашество резкий переворот. В «Русском Вестнике», в весьма замечательном, всемирно читаемом, романе г. Достоевского «Братья Карамазовы» рельефно выставлены светлые стороны монашества; но еще яснее высокое достоинство монашества изображено в статье того же журнала под заглавием: «Отец Климент», вышедшей из-под пера высокообразованного и уважаемого обществом светского писателя»^{**}.

Еще одно сопоставление с Достоевским было сделано в рецензии на второе отдельное издание. В начале 1883 года в журнале «Церковный вестник» (орган Санкт-Петербургской духовной академии) появилась статья «Что такое старчество?», подписанная криптонимом А. С.^{***} Возможно, ее автором был знакомый Леонтьева и покойного о. Климента, сын сенатора П. И. Саломона (1819–1905), часто посещавшего с семьей Оптину Пустынь, — Александр Петрович Саломон (1853–1908)^{****}; по крайней мере, именно

^{*} Там же. Л. 4 об. — 5 об.

^{**} До этого о своем ожидании «нового романа Достоевского» 6 января 1879 г. Леонтьеву писал Вс. С. Соловьев. См.: Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского. СПб., 1995. Т. 3. 1875–1881. С. 299.

^{***} В варшавском издании 1880 г. — «Православный немец. Оптинский иеромонах отец Климент Зедергольм», в оптинском издании 1882 г. — «Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной пустыни». С. Н. Дурьин отметил другую встречу Достоевского и Леонтьева на страницах «Русского вестника»: «Бесы» и повесть «Аспазия Ламприди» в 1871 г. (Дурьин С. Н. В своем углу. М., 1991. С. 163), но это «соседство» не имело того символического характера, который можно усмотреть во встрече «Отца Климента» и «Братьев Карамазовых».

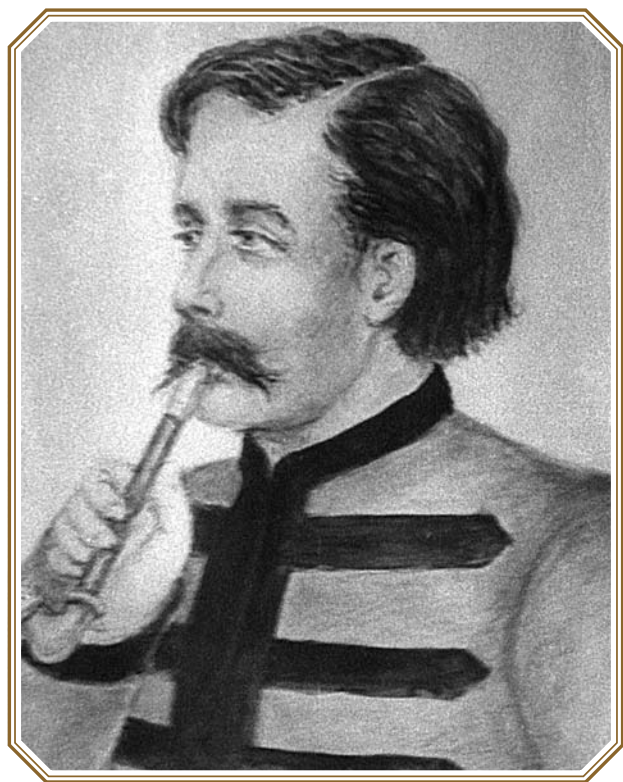
^{*} [Калинников Н. К.] По поводу статьи «Русского Вестника» «Отец Климент», помещенной в ноябрьской и декабрьской книжках 1879 г. // Руководство для сельских пастырей. 1880. № 12. С. 341–362. № 13. С. 375–389.

^{**} Там же. № 12. С. 342–343. См.: Леонтьев К. Н. Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. СПб., 2004. Т. 6. Кн. 2. С. 400 (далее — ПССиП). См. там же другой пример упоминания «Отца Климента» рядом с последним романом Достоевского.

^{***} А. С. Что такое старчество? (По поводу книги К. Леонтьева: Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной пустыни) // Церковный вестник. 1883. № 1. С. 4–5.

^{****} А. С. Саломон был близким другом Вл. С. Соловьева, с юности знал о. Климента (Зедергольма) и, что примечательно, еще в детстве познакомился

так — А. С. — он подписывал статьи в «Гражданине». Как явствует уже из заглавия, основное внимание автора статьи было обращено к теме старчества. При характеристике нарисованного Леонтьевым образа старца делается двойная отсыл-



Портрет молодого Леонтьева

ка к Пушкину и Достоевскому: «...Черты оптинского старца напоминают нам образ подвижника древнейшей Руси, величественную простоту и доброту отца Пимена, художественно представленного покойным Достоевским»*. Здесь, вероятно, подразумевается чтение Достоевским монолога Пимена на вечере Общества любителей российской словесности 6 июня 1880 года, во время Пушкинских торжеств в Москве, а также фрагмент о «типе русского инока-летописца» из Пушкинской речи. Такое сравнение могло больше понравиться Леонтьеву. Правда, первое имя

с семьей брата К. Н. Леонтьева, а впоследствии сблизился и с ним самим. Отец А. П. Саломона был в начале 1860-х годов сослуживцем Т. И. Филиппова в Св. Синоде.

* Леонтьев К.Н. ПССиП. Т. 6. Кн. 2. С. 404.

«из Достоевского», которое предугадывается читателем, это все-таки не пушкинский Пимен, а Зосима (при беглом чтении статьи А. С. даже может показаться, что автор ошибся).

Читая монастырские главы «Карамазовых», Леонтьев не мог не заметить, что Достоевский обращался к тем же источникам, что и он сам: книгам о. Леониды (Кавелина) «Историческое описание Введенской Оптиной пустыни» (изд. 3-е. М., 1878) и «Жизнеописание Оптинского старца иеросхимонаха Леониды (в схиме Льва)» (М., 1876)*. Достоевский не хуже Леонтьева был знаком с истоками русской традиции старчества — в жизни и трудах св. Паисия Величковского. Но об этом Леонтьев ни разу не упомянул. По-видимому, что бы ни писал Достоевский о монастыре, ему, оптинцу, все казалось свидетельством одного из «внешних». Для Леонтьева было дорого, что биография о. Климента написана в Оптиной и еще в рукописи читалась старцем Амвросием**, что средства от продажи первого отдельного издания были пожертвованы на оптинскую больницу, что старец Амвросий раздавал его книгу (издание 1882 года) образованным паломникам***.

* В распоряжении Леонтьева были также документы оптинского архива, прежде всего еще не опубликованное тогда житие старца Леониды, написанное о. Климентом (издано было лишь в 1890 г.).

** По свидетельству племянницы писателя М. В. Леонтьевой, книга писалась в полном смысле слова по благословиению старца Амвросия. «Когда он писал жизнеописание О. Климента Зедергольма, то много раз я носила Батюшке Амвросию (дядя тогда жил в Оптиной) места рукописи, почему-либо вызвавшие сомнение дяди, и читала их Батюшке, и только после разрешения сомнений, — переписывала для печати» (письмо М. В. Леонтьевой Г. В. Постникову от 16 января 1922 г.; Леонтьев К.Н. ПССиП. Т. 6. Кн. 2. С. 399).

*** См.: Там же. С. 26. По свидетельству о. Эразма (в миру Эраста Кузьмича Вытропского), старец Амвросий к своему духовному сыну «имел такое доверие, что нередко адресовал к нему тех из своих интеллигентных посетителей, которые нуждались в убеждениях в суете мира сего и необходимости веры в Евангелие» (Е. В. [Эразм (Вытропский)] Историческое описание Козельской Оптиной Пустыни и Предтечева скита. Троице-Сергиева Лавра,

Может быть, поэтому, несколько ревнуя к славе «Братьев Карамазовых» и не вполне оправданно применяя к художественному произведению критерий документальности, автор «Отца Климента» с такой настойчивостью и подчеркивал вымышленность изображаемой Достоевским монастырской жизни, опровергал сложившуюся еще при жизни писателя соотнесенность монастырских глав с Оптиной Пустынью, не раз приводил свидетельства о реакции на роман оптинской братии, не признавшей в Зосиме настоящего старца. «...Когда Достоевский напечатал свои надежды на *земное торжество христианства* в “Братьях Карамазовых”, то оптинские иеромонахи, смеясь, спрашивали друг друга: “Уж не вы ли, отец такой-то, *так думаете?*”»*. «...Ни по методу руководства, ни даже по манере говорить — мечтательный старец Достоевского на действительного Оптинского подвижника не похож. Да и вообще от. Зосима ни на какого из живших прежде и ныне существующих русских старцев не похож»**.

Говоря об оптинских перекрестях в путях Достоевского и Леонтьева, можно

вспомнить эпизод, не замеченный исследователями. В «Летописи жизни и творчества Ф. М. Достоевского» упомянута, но не приведена запись от 2 мая 1880 года в записной книжке давнего друга Леонтьева, К. Н. Бестужева-Рюмина. В эти дни историк читал «Братьев Карамазовых» в салоне С. А. Феоктистовой. 2 мая читались главы книг «Русский инок» и «Митя». Для нас важно, что даже в краткой записи есть оценка интересующего нас персонажа: «Вечер у С. — хорошо, чтение “Карамазовых” (житие Зосимы — святой XIX в., кутеж Д. Карамазова)...». А «перекрестьем» мы называли этот эпизод потому, что начинается запись об этом дне словами: «Был у Леонт<ьева>»*. Речь идет именно о К. Леонтьеве, приехавшем тогда в столицу хлопотать о помощи газете «Варшавский дневник»**. В апреле 1880 года Бестужев-Рюмин несколько раз встречался с Достоевским, устраивая вечер в Славянском благотворительном обществе, где писатель читал отрывки из еще не изданной десятой книги романа («Мальчики»). Если уж заходила при встрече с Леонтьевым 2 мая речь о литературных новинках, то, несомненно, «Братья Карамазовы» не были забыты.

После кончины старца Амвросия Леонтьев думал о возможности со временем написать его житие. Вспоминая Батюшку в письме к племяннику В. В. Леонтьеву от 20 октября 1891 года, монах Климент заметил: «И мало что я мог бы еще рассказать! Писать, однако, я теперь об нем не буду. — Краткого некролога не умею написать по общей *трафаретке*; — на это нашлись уже и найдутся еще другие. — Но я *буду думать* об этом; предложу в Оптинской и Шамардине собирать матерьял; — и когда соберется достаточно и сам разбе-

1902. С. 124). Т. е. Леонтьеву пришлось для кого-то послужить и катехизатором (ср. его рассуждения об отличии катехизатора от духовника в книге об о. Клименте). Один из эпизодов такого рода, связанный, кстати, со знакомой Э. К. Вытropicкого, доктором Соколовой, рассказан Леонтьевым в письме к Т. И. Филиппову от 26 июля 1886 г.: «по совету старца ходила ко мне, я старался и утешить и обратить ее (она по крайней мере деистка, что облегчает дело) <...> я все уговаривал ее поступить доктором в Шамардинскую женскую общину <...> Кажется, близится к обращению...» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1024. Л. 28).

* К. Леонтьев о Владимире Соловьеве и эстетике жизни (По двум письмам). М., 1912. С. 29. Точка зрения Леонтьева корректируется другими свидетельствами, приведенными в статье: Беловолов Геннадий, священник. Оптинские предания о Достоевском // Достоевский. Материалы и исследования. СПб., 1997. Т. 14. С. 301–312. О теме “Достоевский и Оптина” см. также: Фудель С. И. Наследство Достоевского. М., 1998. С. 169–185; Котельников В. Православные подвижники. М., 2002. С. 274–293.

** Леонтьев К. Оптинский старец Амвросий // Леонтьев К. Н. ПССиП. Т. 6. Кн. 1. С. 816.

* ИРЛИ. Р. I. Оп. 2. № 254. Л. 53.

** Пребывание его в Петербурге именно в эти дни подтверждается, например, запиской Т. И. Филиппова от 1 мая 1880 г.: «Приеду к Вам и прошу и Константина Аркадиевича (Губастова. — О. Ф.) позволения привести с собою Феоктистова, которого я к себе пригласил и который Вашего общества не испортит» (РГИА. Ф. 728. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 10).

русь в мыслях и чувствах моих, *то увижу* (через *год*, например) — *могу ли* я писать о нем или *не могу*. — А до тех пор не знаю; — не могу решить»*. Однако дни их кончины разделяет всего лишь месяц (10 октября и 12 ноября). Вместо «трафаретного» некролога Леонтьев успел лишь подготовить письмо в редакцию «Гражданина» с подборкой материалов из «Московских ведомостей» (некрологи и стихотворение, написанные его молодыми друзьями Е. Н. Погожевым (Поселяниным), А. А. Александровым и Ф. П. Чуфриним)**. 1 ноября он писал в Шамординский монастырь Л. О. Раевской: «Сам теперь *серьезного* об нем писать не собрался; да это и обдумать надо; — а посылаю в “Гражд<анин>”, где об нем до сих пор не было ни слова — 2-3 письма, которые наполовину будут состоять из *вырезок* тех же “Моск<овских> Вед<омостей>”; собственного будет мало. — Иначе *сразу* я не умею. — Богу угодно будет — Он научит *как* и *когда* взяться за серьезный труд»***.

Упоминание о старце Зосиме в некрологе *своего старца* свидетельствует о том, что посмертный спор с Достоевским продолжал волновать Леонтьева до последних дней. В контексте этого спора важен еще один эпизод: неудачная попытка Ле-

онтьева написать подлинное, а не «марга-риновое», по его выражению, христианское художественное произведение. Ему не удалось изобразить возрождение героев после встречи со старцем. Неоконченная повесть «Подруги» (первое название «Пути Господни»)*, создававшаяся по благословию и советам** старца Амвросия, обрывается как раз на главе об Андреевском монастыре — в начале сцены, когда старец Мартирий, в котором угадываются черты препп. Амвросия и Макария, приходит в гостиницу к главной героине произведения. Неудача постигла и роман «Две избранницы» (первое название «Генерал Матвеев»; 1870—1885): третья его часть, в которой также должно было совершаться возрождение и преображение героев, пропала в редакции журнала «Россия» в годы, когда его новые владельцы вели с Леонтьевым тяжбу. Нереализованным остался примыкавший к этому роману замысел «Святогорские отшельники». Все это лишь обостряло отношение писателя к последней книге Достоевского.

Упоминания об авторе «Карамазовых» и Пушкинской речи (два произведения, с которыми, собственно, Леонтьев и полемизировал) прорывались не только на страницы статей и писем, но и в маргиналии. Среди немногих сохранившихся книг с пометами Леонтьева одна из наиболее значимых — оптинское издание «Поучений и посланий» препо-

* Леонтьев К. Н. ПССиП. Т. 6. Кн. 2. С. 598. Ср.: «А Константин Николаевич действительно собирался со временем написать это житие. <...> Сказал, что теперь ничего не напишет о старце, а со временем примется за его биографию, и напишет не житие по шаблону, а изобразит старца как живого человека, со всеми его совершенствами и с теми немощами, пожалуй, недостатками, какие были и в нем, как во всяком человеке, как бы высоко не стоял он по духовной жизни. И вот этого времени, когда Константин Николаевич хотел изобразить нам живого отца Амвросия, уже не будет... А обещание ничего не писать о старце теперь, под свежим впечатлением его потери, он сдержал» (Субботин Н. Из Сергиева Посада (Письмо в редакцию) // Там же. С. 598—599; впервые: Московские ведомости. 1891. 18 ноября. № 319. С. 3).

** Гражданин. 1891. 3 ноября. № 305. С. 2. 11 ноября. № 313. С. 2. См.: Леонтьев К. Н. ПССиП. Т. 6. Кн. 1. С. 805—816.

*** Леонтьев К. Н. ПССиП. Т. 6. Кн. 2. С. 599.

* Ср. с названием позднейшего, но также «оптинского» романа И. А. Шмелева — «Пути небесные».

** Замечательна и характерна в этом отношении записка Леонтьева о. Эрсту Вытропскому от 20 января 1890 г. (год установлен по содержанию), в которой он просит помочь «подвинуть» у Батюшки свое литературное дело (подразумевается как раз работа над «Подругами»): «Продолжаю путаться в 3-х сюжетах и боюсь согрешить!» (Леонтьев К. Н. ПССиП. Т. 5. С. 887). Таким образом, со старцем подробно обсуждались не только биография о. Климента (Зедергольма) или публицистические статьи, но даже сюжетные ходы беллетристических произведений. Отца Амвросия Леонтьев называл своей «высшей духовной цензурой» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1011. Л. 27).

добного Аввы Дорофея (восьмое издание; М., 1888)*. Пометы на книге были адресованы священнику Иосифу Фуделю (1864–1918).

В начале нашей статьи не случайно говорится о книге «Отец Климент Зедергольм»: ведь первый полный перевод «Поучений» на русский язык был сделан К. К. Зедергольмом, причем еще до его поступления в монастырь. Книга была издана в Москве в 1857 году**. Старец Макарий писал свят. Игнатию (Брянчанинову) в декабре 1857 года: «Хотел побывать к нам Конст. Карл. Зедергольм, мой крестник. Он довольно сведущ и в Латинском, и в Греческом языке, им переведена книга Аввы Дорофея с Греческого, только литературный язык после у нас поисправлен...»***. Новая редакция перевода, подготовленная о. Климентом и преп. Анатолием Оптинским (Зерцаловым), издана в 1866 году, последующие издания воспроизводили именно эту редакцию. «Поучения» Аввы Дорофея Леонтьев несколько раз упоминает и цитирует в «Отце Клименте Зедергольме».

Надо заметить, что Леонтьев неоднократно обращался к сохранившемуся экземпляру «Поучений». Неисчислимы здесь его карандашные отметки и подчеркивания ногтем (последние — почти на каждой странице). Необходимо учесть, что речь идет об издании 1888 года, т. е. до этого (преп. Дорофей входил в постоянный круг чтения Леонтьева) он пользовался другими изданиями. От о. Иосифа книга досталась его преемнику в правах на издание леонтьевского наследия, С. Н. Дурылину, также оставившему на полях несколько помет. Важнейшие маргиналии Леонтьева Дурылин привел в своем докладе «К. Ле-

онтьев и Лесков о Достоевском», прочитанном в ГАХН в 1925 году и оставшемся до сих пор неизданным*.

Не вполне ясно, к какому точно времени могут относиться леонтьевские пометы (часть из них могла и не предназначаться для адресата) и когда именно книга была послана о. Иосифу. 4 декабря 1890 года Леонтьев писал ему: «Напишите — не нужно ли Вам книг? Я подарю Вам *Данилевского*? Еще что?»**. 10 декабря о. Иосиф благодарил «за предложение прислать книги», признавался, что ему «очень нужен теперь *Данилевский*»***, и прибавлял: «Мечтаю я также о каком-нибудь “отце-аскете”; например *Исаака Сирина* или что-нибудь подобное полезное для моей души. Лествичника я уже не только прочитал, но и “проштудировал”, как теперь говорят. Варсонофия Великого**** читаю с умилением; когда прочитаю, нечем будет питаться»****. Отвечая на эту просьбу, в январе 1891 года Леонтьев намеревался послать в Белосток, где служил тогда о. Иосиф, «Авву Дорофея или Петра Дамаскина, или Исаака Сирина»*****. Предпочел св. Исаака*****, предупредив,

* РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 163. Л. 133.

** РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1026. Листы не нумерованы.

*** По счастью, подаренный Фуделю экземпляр «России и Европы» Н. Я. Данилевского сохранился. Многочисленные пометы Леонтьева в этой книге должны стать предметом отдельного исследования.

**** Фудель упоминает здесь о чтении полного оптинского издания «ответов» свв. Варсануфия и Иоанна. Кстати, в оптинском издании Поучения аввы Дорофея, по традиции, выходили «с присовокуплением вопросов его и ответов на оные Варсануфия Великого и Иоанна Пророка». Видимо, памятуя об отношении о. Иосифа к св. Варсануфию Великому, Леонтьев и подчеркнул на титульном листе подаренной книги Аввы Дорофея синими чернилами «Вопросов ~ Пророка» и сопровождал это подчеркивание двумя NB слева и справа на полях.

***** РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1038. Л. 43 об.—44.

***** РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 16. Л. 3.

***** «Слова» св. Исаака были для Леонтьева не просто любимым христианским чтением, но

* Там же. Ед. хр. 1054.

** Предшествовавшие русские переводы отдельных поучений перечислены в книге архиепископа Филарета (Гумилевского) «Историческое учение об отцах Церкви» (М., 1996. С. 158–159. 4 паг.).

*** Святитель Игнатий (Брянчанинов). Странствие ко вратам вечности. Переписка с оптинскими старцами и П. П. Яковлевым... М., 2001. С. 122.

впрочем, что посылает славянское издание только «в виде опыта», и предложил, не смущаясь, вернуть книгу, если читать ее будет трудно*. Так и произошло. 28 февраля о. Иосиф писал: «...Исаака Сирина пришло Вам, так как славянский язык я плохо знаю и много времени уходит на подобное чтение, притом еще многое непонятное и пропускается**». По-видимому, после этого неудачного опыта Леонтьев и решил подарить молодому священнику книгу Аввы Дорофея, называемую «азбукою монашества»***. Однако о получении книги упоминаний в переписке нет. Не была она отправлена и вместе с другими подарками в марте 1891 года****? 3 апреля Леонтьев осведомлялся: «Получили ли

буквально ежедневной духовной пищей. Когда в 1877 г. он отдал свою книгу («славянское» издание 1854 г.) племяннице, то почувствовал себя лишенным очень важной поддержки и купил творения преподобного в новом переводе. «Купил себе другой экземпляр. — И перевод другой; понятнее и вместе с тем хуже. — Я тебе эту книгу отдам; а ты не забудь Оптиную мне назад привезти сюда. — Право, если я чем-нибудь доказал тебе в последнее время мою любовь, так это тем, что я тебе эту книгу отдал. — Без нее моя борьба стала сильнее» (из письма к М. В. Леонтьевой от 10 декабря 1877 г.; Леонтьев К. Н. ПССиП. Т. 6. Кн. 2. С. 428).

* РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 16. Л. 19.

** РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1039. Л. 24—24 об.

*** А. Н. [Никодим (Кононов), архим.] Старцы: о. Паисий Величковский и о. Макарий Оптинский и их литературно-аскетическая деятельность // Отечественные подвижники благочестия 18 и 19 веков. Сентябрь. Введенская Оптина Пустынь, 1996. С. 497. («Азбука» еще и в том смысле, что именно с этой книги старцы советовали начинать чтение аскетических творений.) Ср. в «Отце Клименте Зедергольме»: «...Исаак Сирин выше, глубже других, сходных с ним писателей. В нем есть какая-то особая мистическая музыка <...> Авва Дорофей и даже Иоанн Лествичник попроще, подоступнее; они полезны неопытным и менее ученым людям. <...> Исаак Сирин глубже ("гуще", как говорил, улыбаясь, покойный Климент)» (Леонтьев К. Н. ПССиП. Т. 6. Кн. 1. С. 295).

**** 19 марта Фуделю были посланы 1-й том сочинений А. С. Хомякова, 2-й том И. В. Киреевского, брошюра И. И. Кристи «О развитии догмата» и выписки из «Догматического богословия» митрополита Макария (Булгакова) (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 17).

посылку? Беспокоюсь»*. О. Иосиф отвечал 6 апреля: «Посылку Вашу давно получил <...> Искренно благодарю за присланные книги; возвращу их Вам, по всей вероятности, лично — летом**». Вот при этой встрече в Оптиной Пустыни, оказавшейся последней, и получил, вероятно, о. Иосиф «Поучения» Аввы Дорофея.

Разговор о «новом христианстве» начат уже на титульном листе:

«Прошу между прочим обратить внимание на то, как во всем этом и подобном мало *того рода* приторной сентиментальности, которую предлагает нам Достоевский — в речах *небывалого* старца Зосимы. К. Леонтьев».

Эти слова отсылают нас к теме сентиментального, «розового» христианства, которую Леонтьев обсуждал в 1880-х годах в переписке с Т. И. Филипповым, а позднее и с о. Иосифом Фуделем***.

Основные маргиналии и подчеркивания сосредоточены в поучениях «О смирennemудрии», «О страхе Божиим», «О том, что не должно полагаться на свой разум», «О том, чтобы не судить ближнего», «О самоукорении».

В поучении «О смирennemудрии», например, отчеркнут известный рассказ об авве Зосиме и софисте. (Здесь Леонтьева могло привлечь, кроме прочего, еще и совпадение имени с героем «Братьев Карамазовых».)

«Некогда авва Зосима говорил о смирении, а какой-то софист <...> спросил его: «скажи мне, как ты считаешь себя грешным, разве ты не знаешь, что ты свят? разве не знаешь, что имеешь добродетели? Ведь ты видишь, как исполняешь заповеди: как же ты, поступая так, считаешь себя грешным?» Старец же не находился, какой дать ему

* РГАЛИ. Ф. 2980. Ед. хр. 1027. Л. 48 (копия С. Н. Дурылина).

** Там же. Ед. хр. 1039. Л. 29.

*** См.: Фетисенко О. Л. К истории восприятия Пушкинской речи (Достоевский в неизданной переписке К. Н. Леонтьева и Т. И. Филиппова) // Достоевский. Материалы и исследования. СПб., 2001. Т. 16. С. 330—342.

ответ, а только говорил: “не знаю, что сказать тебе, но считаю себя грешным”. Софист настаивал на своем <...>. Тогда старец <...> начал говорить ему со своею святою простотою: “не смущай меня; я подлинно считаю себя таким”.

Видя, что старец недоумевает, как отвечать софисту, я сказал ему: “не то же ли самое бывает и в софистическом, и врачебном искусствах? Когда кто хорошо обучится искусству и занимается им, то, по мере упражнения в оном, врач или софист приобретает некоторый навык, а сказать не может и не умеет объяснить, как он стал опытен в деле: душа приобрела навык <...> постепенно и нечувствительно, чрез упражнение в искусстве. Так и в смирении: от исполнения заповедей бывает некоторая привычка к смирению, и нельзя выразить это словом”. Когда авва Зосима услышал это, он обрадовался, тотчас обнял меня и сказал: “ты постиг дело, оно точно так бывает, как ты сказал”. И софист, услышав эти слова, остался доволен и согласен с ними”^{*}.

Слова «Так и в смирении ~ выразить словом» на полях сопровождает помета «Превосходно!». На этом следует остановиться подробнее. Здесь Леонтьева-читателя привлекла мысль об исполнении заповедей как о первой (и, быть может, самой трудной) ступени к обретению «навыка» смирения. Размышляя о современном ему «сентиментальном» христианстве, Леонтьев называл одним из характерных признаков его своеобразную избирательность: что нравится, принимать, что не нравится, притуплять или игнорировать, словно не все в христианском учении одинаково непреложно^{**}. Для писателя, обратившегося в 40-летнем возрасте и прошедшего тяжелейший иску́с, очень

важным было представление о «лестнице». Нельзя сразу достичь высших ее ступеней (любви, рассуждения), не приблизившись к первой (отвержение мира). «Добродетель не груша, ее вдруг не съешь», — говорил св. Серафим Саровский^{*}. (Далее мы увидим, что почти все развернутые записи Леонтьева на полях «Поучений» Аввы Дорофея связаны с этой идеей постепенности и трезвости в пути ко спасению.)

Именно поэтому останавливали внимание Леонтьева рассуждения преподобного Дорофея о том, что «телесные труды, совершаемые разумно», служат путем к приобретению смиренномудрия (с. 61), и почти все упоминания о связи труда (включая сюда и труд молитвы^{**}) и смирения. «...Бедная душа как бы состраждет телу и сочувствует во всем, что делается с телом. Посему-то и сказал старец, что и телесный труд приводит душу в смирение» (с. 62—63), — эти слова также подчеркнуты. Подчеркнут и один из фрагментов о гордости (с. 56).

Разумеется, особое внимание в связи с нашей темой надо обратить на пометы в четвертом поучении «О страхе Божиим». (Понятие «страха Божия» стало основным предметом полемики Леонтьева с «нашими новыми христианами».)

Попутно хочется вспомнить о вызвавшей обширную полемику цитате из «Наших новых христиан» — «Начало премудрости страх Божий, плод же его любовь»^{***}. Неоднократно указывалось на то, что Леонтьев, якобы, сам «сочинил» окончание библейской цитаты; по выражению современного исследователя, «текст псалма дополнил собственным заключением»^{****}. Г. Б. Кремневым найдена парал-

^{*} Преподобного отца нашего Аввы Дорофея душеполезные поучения и послания... М., 1888. С. 59—60. Далее ссылки на это издание даются в тексте.

^{**} Ср. в предисловии к «Нашим новым христианам» (Леонтьев К. Восток, Россия и Славянство. М., 1996. С. 719).

^{*} Житие старца Серафима, Саровской обители иеромонаха, пустынножителя и затворника. Изд. 4-е. Муром, 1893. С. 194.

^{**} Леонтьев часто писал о пользе молитвы с «понуждением себя».

^{***} Леонтьев К. Собр. соч.: В 9 т. М., 1913. Т. 8. С. 159, 167, 183.

^{****} Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы. М., 1999. С. 360, 395 (со ссылкой на статью архим. Ан-

лель у св. Диадокха Фотикийского *, однако у цитаты есть более очевидный источник: Леонтьев пользовался славянским Добротолюбием (переводом св. Паисия Величковского), в нем и находим речение: «Начало убо добрых, страх Божий: конец же любви его» **. Здесь, как и в цитируемом Леонтьевым изречении, любовь — конец (тот же плод) страха Божия. В более известном современному читателю переводе св. Феофана Затворника это выражение звучит иначе: «Начало добра — страх Божий, а конец, любовь к Богу» ***. Здесь любовь — просто «конец добра» (то есть исполнения заповедей) ****. Поскольку основным фоном нашей статьи служит книга «Отец Климент Зедергольм», следует отметить, что в ней есть цитата из «Слова постнического и утешительного» св. Иоанна Карпафийского, не включенного св. Феофаном Затворником в русский перевод «Добротолюбия»; Леонтьев привел ее, вероятно, в собственном переводе, заимствовав из славянского издания.

Леонтьев не лукавил, прибавляя от безымянных «отцов»: «а любовь только плод». Учение о любви как плоде страха Божия встречается не только в приведенной малоизвестной цитате из «Цветособрания» Илии Екдика, но и в творениях

тония (Храповицкого) «Как относится служение общественному благу к заботе о спасении своей собственной души?», 1892). В связи с вопросом о точности цитирования можно привести признание Леонтьева из письма к Т. И. Филиппову от 12 ноября 1887 г.: «Пожалуйста не будьте строги к моим цитатам из Св. Писания и Св. отцов; я их очень люблю и они часто незаменимы, но едва ли я хоть одну помню с полной точностью» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1025. Л. 26).

* Кремнев Г.Б. [Комментарии] // Леонтьев К. Восток, Россия и Славянство. С. 717.

** Цветособрание советовательно любомудрецов тщаливых, излюбомудрствовано и сотворено Илиею малейшим пресвитером и Екдиком // Добротолюбие, или Слова и главизны священного трезвения. Часть четвертая. М., 1857. Л. 191.

*** Добротолюбие в русском переводе. Изд. 2-е. М., 1900. Т. 3. С. 422.

**** Многочисленные параллели можно найти и в оригинальных творениях святителя Феофана.

таких святых, как Ефрем Сирий, Иоанн Лествичник, Исаак Сирий, Симеон Новый Богослов. Коснулся этой темы и старший современник Леонтьева святитель Игнатий (Брянчанинов). Обратим внимание лишь на одну возможную параллель. В то время еще не были переведены на русский язык гимны св. Симеона Нового Богослова, но в своем переводе свт. Игнатий (Брянчанинов) их цитировал. Так, в «Слове о страхе Божиим и о любви Божией» (1844) он приводил большие фрагменты из 2-го гимна св. Симеона, посвященного страху Божию. «От страха зарождается любовь...» — говорится в этом гимне. Страх Божий уподобляется псаломскому «дереву при исходах вод», испускающему «странный цвет», который «оканчивается в плоде любви». «Страх в любви отнюдь не обретается, так как, в противоположность этому, душа не приносит плода без страха. <...> Древо с трудом процветает и приносит плод; плод же, напротив, искореняет все древо, и пребывает плод, пребывает один <...>. Цвет и плод эти, порожденные страхом, находятся вне этого мира» *. Слово архимандрита Игнатия (некогда бывшего послушником старца Льва) с этой развернутой цитатой, несомненно, читалось в Оптиной Пустыни. Не к нему ли восходит образ любви как плода с древа страха Божия?

Заметим также, что, когда у Леонтьева «отцы» прибавляют «а любовь только плод», можно увидеть в этих словах ссылку на апостола Павла: «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение...» (Гал. 5, 22), где любовь действительно плод — совершенный дар, сходящий свыше от Отца светов.

В личном опыте Леонтьева (смертельная болезнь, чудесное исцеление, обет перед иконой Божией Матери) был важен момент обретения «памяти смертной». Самые близкие ему молитвенные

* Игнатий (Брянчанинов), епископ. Сочинения. Т. 2. Аскетические опыты. Изд. 3-е. СПб., 1905. С. 70–73. Ср. с переводом иеромонаха Пантелеимона (Симеон Новый Богослов. Божественные гимны. Сергиев Посад, 1917. С. 25–27).

прошения православного богослужения — испрашивающие «безболезненной, непостыдной, мирной кончины живота нашего» и «доброго ответа на Страшном Суде Христове». В 4-м поучении Аввы Дорофея он подчеркивает слова: «благоугождаем Ему, боясь мук» (с. 71), «Отцы сказали, что человек приобретает страх Божий, если имеет память смерти и память мучений» (с. 77). «Отгоняем же страх Божий от себя тем, что делаем противное сему: не имеем ни памяти смертной, ни памяти мучений <...> но живем нерадиво...» (с. 78).

К словам «или делаем добро ради са­мого добра» сделано примечание:

«Мало ли что! *Нагинать* надо с *рабства* и *страха*; нынче всё *прямо* норовят от гордос<ти> в *сыновья*! Не... (край листа об­резан при переплетении. — О. Ф.)» (с. 71). (Имеется в виду воззрение святых отцов о трех состояниях, трех «мотивах» к исполнению заповедей: рабства, наемничества и сыновства.)

Слова «Таковий уже не боится <...> Бога, конечно, тем первоначальным страхом, но любит его, как и святой Антоний говорил: я уже не боюсь Бога, но люблю Его» (с. 72) вызывают примечание: «Другой *розовый* христианин вообразит как раз, что и он *Антоний*! *Плод* ума (несколько слов нрзб., край листа обрезан — О. Ф.) и по *природному* добродушию дается». Эти же слова св. Антония Великого прокомментированы Леонтьевым и в письме к А. Александрову от 24–27 июля 1887 года: «Та *любовь к Богу, которая до того совершенна, что изгоняет страх*, доступна только очень немногим; — даже из святых <...> очень немногие позволяли себе говорить то, что позволил себе сказать Антоний Великий: “Я Бога теперь уж так люблю, что и не боюсь Его”. — Сказал он это после таких испытаний и искушений, что нам и подумать страшно»*.

Много подчеркиваний сделано во фрагменте о совершенном страхе. Рядом

со словами святого о людях, стяжавших этот высший род страха Божия, «они уже не по страху действуют, но боятся, потому что любят» (с. 73) Леонтьев написал на полях «и все-таки боятся».

Рядом с рассуждением о переходе от состояния раба к состоянию наемника вновь помета «Превосх<одно>» (с. 73). На с. 74 отчеркнуто еще одно место о постепенном обретении совершенного состояния: «Ибо когда он постоянно будет избегать зла, как мы сказали, из страха, подобно рабу, и делать благое в надежде награды, подобно наемнику, то, пребывая, по благодати Божией, во благом, и соразмерно сему соединяясь с Богом, он получает вкус благого и начинает понимать в чем истинное добро и уже не хочет разлучаться с ним». На полях рядом с этим фрагментом Леонтьев написал: «А нынешние *пресные* боголюбцы прямо вверх прыгают. — Я же — грешный, — живу, по милости Божией, до сих пор на положении *наемника*».

Читая о «памяти мучений», необходимой для приобретения страха Божия, и о «дерзости», отгоняющей оный страх, Леонтьев записал карандашом на полях: «Вот и пресные боголюбцы — *ада* [не] хотят <п>ризнавать» (с. 78). Здесь несомненно подразумевается Вл. С. Соловьев. О его взглядах на проблему вечности мучений* Леонтьев еще 1 марта 1879 года писал старшему брату философа Вс. Соловьеву (непосредственно после известного фрагмента о Православии как о «нервной системе славянского организма» и о том, что «Достоевский <...> понял это»)**. Приведем обширную цитату из этого письма, поскольку в ней звучат те же мотивы, что

* Ср. с приведенными о. Еразмом (Вытропским) словами преп. Амвросия Оптинского о Соловьеве, сказанными, кстати, по поводу статей Леонтьева «Владимир Соловьев против Данилевского»: «А спроси-ка у него, как он думает о вечных мучениях?» (Е. В. [Еразм (Вытропский)] Историческое описание Козельской Оптиной Пустыни и Предтечева скита. С. 125).

** Лит. наследство. Т. 86. Достоевский Ф. М. Новые материалы и исследования. М., 1973. С. 473.

* РГАЛИ. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 669. Л. 13 об.

и в написанной в следующем 1880 году статье «О всемирной любви»:

«Правда ваш мыслящий, смелый и ученый брат сулит нам какого-то *Оригеновского журавля в небе*, вместо той старой, но еще свежей *синицы*, которую мы держим *еще в руках*. — <...> Я очень люблю Влад<имира> Сергеев<ича>; всегда его статьи внимательно читаю, очень много о нем *здесь* думаю; во многом, в общих взглядах согласен с ним (даже *восторженно* согласен!), но... хоть бы по вопросу о *вегном загробном наказании*... нет ли и тут чего-то *эмансипирующего*, эвдемонического, приближающегося к какой-то прогрессивной *гуманности*, к чему-то более *имманентному* и *эгалитарному*, чем к аскетически-трансцендентному?..

Боюсь, не ищет ли он все *оснований на любви*... Но *“любвы есть плод”*, а начало Христианской премудрости есть *страх Божий*. А за неимением страха Божия, не дурен и страх Бисмарка, Муравьева Виленского и Императора Николая?.. Очень недурен этот страх!..

Какая может быть тут на земле *любовь*!.. * Я смею думать, что проповедь бес-

* К вопросу о том, какая «может быть тут на земле любовь»: хочется вспомнить обстоятельства, в которых Леонтьев писал свою знаменитую статью «О всемирной любви». «Я приехал в мае домой к своим именинам из Москвы больной и простуженный до того, что до 1/2 июля из своего флигеля почти не выходил. — Не успел я прийти в себя от этого, как Людмила очень опасно занемогла. — Она была у нас в Кудинове; приехала дня на два и вдруг заразилась дизентерией, на которую было в это время поветрие, и осталась у нас почти на месяц в постели. <...> Совещаясь с другими, потому что болезнь была не проста и с разными тонкими и опасными осложнениями, я вынужден был следить за лечением сам и в то же самое время писал те возражения Достоевскому, которые Вы читали в “Варш<авском> Дневнике”. — Верьте, мне стоил этот труд больших усилий; вы это поймете; вообразите только себе совпадение серьезного труда мысли и труда срочного с заботами о дорогом человеке, с ответственностью за жизнь его, лежащей прямо и почти исключительно на Вас!» (из письма К. А. Губастову от 3 сентября 1880 г.; РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 28. Л. 90—90 об.). Этот рассказ лучше всего объясняет, почему возражение Достоевскому вышло столь резким. Л. О. Раевская, о которой здесь

страшной любви есть ничто иное как “le monde a l’envers”*, бессознательная подготовка *имманентной* религии, анти-трансцендентной, т. е. анти-Христианской, т. е. *Царства Антихриста*...

Любовь может на земле восходить лишь как благоуханный дымок — “яко кадило пред Тобою”**; ...не она *жжет*... жжет курение наше *огонь страха*... а *любвы есть* лишь тонкий и высший продукт — страдальческого самосгорания всей нашей жизни земной...

Она ведь ужасна — эта жизнь и никогда не поправится...»***.

Необходимо сказать несколько слов о ярком, резком выражении «пресные боголюбцы», которое Леонтьев дважды употребил в своих пометах на книге Аввы Дорофея. Оно находится в том же семантическом поле, что и «маргариновое христианство»****. Приближающееся «к какой-то прогрессивной *гуманности*» «новое христианство», от уклонения в которое писатель предостерегал о. Иосифа и его сверстников, не всегда сентиментально-слащаво (этот смысл Леонтьев выражал эпитетом «розовый»). «Пресные боголюбцы» могут быть очень деятельны, социально активны, весьма полезны для облегчения земной скорби. Что же настораживает «оптинского отшельника»? Словом «пресный» у него оттенен признак искусственности, поддельности (так пресен маргарин) и, главное, отсутствие подлинной *евангельской соли* (Мф. 5, 13; Мк. 9, 49—50; Лк. 9, 50; Кол. 4, 6)****.

По идет речь, как и Леонтьев, была духовной дочерью старца Амвросия и стала впоследствии монахиней Шамординского монастыря. Как не усмотреть и здесь встречи «окрест Оптиной»!

* мир наоборот (фр.)

** Пс. 140: 2.

*** РГИА. Ф. 1120. Оп. 1. Ед. хр. 98. Л. 35 об.—37.

**** См.: Фетисенко О. Л. К истории восприятия Пушкинской речи // Достоевский. Материалы и исследования. Т. 16. С. 334.

***** В Триоди постной, в одном из канонов свв. Апостолам содержится замечательный образ «вкусного» (приправленного солью) Евангельского учения: «Яко соли вкусных суще учений, гнильство

выражению преп. Исидора Пелусиотского, давшего толкование на другое место Писания — исцеление пророком Елисеем неплодных Иерихонских вод (пресных!) с помощью соли (4 Цар. 2, 21), — соль служит «образом заключающихся в Господнем учении силы и свойства все напоевать собою», а «воды, делающие бесплодными, прообразовали собою все человечество, с его неспособностью порождать добродетели и с бесплодием благочестия»*. Вот это «бесплодие благочестия» и подразумевал Леонтьев, говоря о пресных боголюбцах. «Наши новые христиане» для него — это люди, «имеющие вид благочестия, силы же его отвергшиеся» (2 Тим. 3, 5). То, что Леонтьев понимал «пресность» как бесплодие, подтверждает и цитировавшееся выше письмо к А. Александрову: «...То, что многие из нас считают в себе любовью к Богу — это весьма несовершенно и обыкновенно бесплодно без помощи и примеси страха (Божия)**».

В статье «К истории восприятия Пушкинской речи» мы уже упоминали о том, что Леонтьев боролся за влияние на своего ученика, «студента-юриста», а впоследствии молодого священника, призывая его от «пути Достоевского» (выражение самого И. Фуделя) на строго церковный путь***. Мотив педагогического соперничества с автором Пушкинской речи характерен и для писем Леонтьева к А. Александрову, Н. А. Уманову и другим ученикам. Посланная о. Иосифу книга «Поучений» аввы Дорофея с леонтьевскими пометами должна была, по-видимому, послужить важным аргументом в многолетнем разговоре о «новом христианстве».

Однако важно заметить, что спорил Леонтьев не столько с «мужеником стрем-

ления своего веровать»*, сколько с неприемлемым для него поворотом от Достоевского, наиболее ярко проявившемся в «Трех речах в память Достоевского» Вл. Соловьева. А за этим поворотом уже предугадывался еще один из вариантов развития русской христианской мысли в XX веке — «новое религиозное сознание».

И себя, и Достоевского Леонтьев считал лишь необходимой, по немощи человеческой, ступенью к иным высотам: «И я только *приготовление*, вторая ступень (после Достоевского)** к отцам Варнаве, Амвросию, Иоанну Кронштадтскому — к чтению Иоанна Лествичника, Варсонофия Великого, Аввы Дорофея и т. д. И *Евангелие* надо *сквозь их стекла* читать; — а не своевольно, как Протестанты»***. Думается, что, называя себя «приготовлением», он говорил не столько о своих книгах, сколько о реальном действии — стараниях препоручить чью-то душу старцу (кстати, все трое, названные им, ныне прославлены в лике святых), научить людей «красоте Церкви». «Сам я какой же советчик и какой я старец <...> мне не только смешно, но даже и страшно было бы, если бы меня кто-нибудь счел за настоящего руководителя. — У меня что есть? — У меня есть, конечно, вера (благодарю Бога и монахов за это приобретение); есть некоторый опыт личной христианской внутренней борьбы <...> и есть... нельзя даже сказать *нажитанность*, а некоторое давнее уже знакомство с аскетическими писателями...»**** Далее

* Так в 1885 г. назвал Достоевского С. Ф. Шарапов (Переписка И. С. Аксакова и С. Ф. Шарапова Вст. статья, подгот. текста, коммент. О. Л. Фетисенко // Русская литература. 2005. № 1. С. 162).

** Все-таки себя (может быть, как живущего под старческим окормлением?), забыв о проповедуемом смирении, Леонтьев поставил выше Достоевского.

*** Письмо И. Фуделю от 22 апреля 1888 г. (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 100. Л. 5–5 об.).

**** Письмо С. Ф. Шарапову от 18 мая 1888 г. (Переписка К. Н. Леонтьева и С. Ф. Шарапова (1888–1890) / Вступ. статья, подгот. текста, коммент. О. Л. Фетисенко // Русская литература. 2004. № 1. С. 130). Здесь же Леонтьев рассказывал о том, как

ума моего изсушите и неведения тму отжените...» (Трипеснец утрени четверга пятой недели Великого поста; песнь 9, второй тропарь).

* Преп. Исидор Пелусиот. Письма. М., 2000. Т. I. С. 9.

** РГАЛИ. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 669. Л. 13 об.—14.

*** Достоевский. Материалы и исследования. Т. 16. С. 341.

среди любимых отцов-аскетов Леонтьев называет и Авву Дорофея.

Имеет смысл еще раз подчеркнуть, как важно, что Леонтьев сделал так много помет в главах о смирении и страхе Божиим, настаивая на постепенности в духовном труде христианина. Сентиментальным «восторгам» в леонтьевских маргиналиях противопоставлялась трезвость древних отцов, нашедшая продолжение в близких писателю афонской и оптинской традициях. Эта трезвость звучит и в словах Леонтьева, написанных, кстати, по поводу ранней брошюры И. Фуделя: «нужно *проповедовать* любовь, ибо ее очень мало; но не надо ее *пророгить*; — чтобы без пользы не разочароваться горько»^{*}.

ему приходилось, однако, брать на себя роль духовного руководителя: «Напр<имер>, как юношам не открыть глаза на то, что христианство Достоевского одно лишь “млеко”, а не настоящая пища. — Что читать его не только приятно, но и очень полезно, но только для первого шага на добром пути» (Там же. С. 130—131). Ср. в письме к А. Александрову (24—27 июля 1887 г.): «Но надо доходить скорее до того, чтобы Иоанн Лествичник больше нравился, чем Ф. М. Достоевский» (РГАЛИ. Ф. 2. Оп. 669. Л. 6 об.). В этом же письме, кстати, Леонтьев говорит о себе в сравнении со старцами Амвросием Оптинским и Варнавой Гефсиманским: «Я млеко; они твердая пища» (Там же. Л. 13).

^{*} Из письма к Н. А. Уманову от 28 ноября 1889 г. (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 43. Л. 15 об.). В следующей же фразе вполне предсказуемо упомянут Достоевский.

Нарушая академический канон и отвлекаясь от прямого «посвящения» помет на полях (Достоевскому, Вл. Соловьеву или нарождающимся «новым христианам»)^{*}, позволим себе, в заключение, заметить, что для нас, живущих в эпоху *пламенного неофитства*, причудливо сплетенного с новой «официальной» церковностью, не менее, чем для современников и учеников Леонтьева, полезно предостережение не «воображать» себя новыми Антониями, не «норовить в сыновья», хотя и стремиться при этом «к почестям вышнего звания» (Флп. 3, 14).

Тема «Достоевский и Леонтьев» несомненно еще не раз будет привлекать внимание исследователей. Возможно, если несколько отойти от проблематики спора «о всемирной любви», который, по выражению С. Г. Бочарова, «и до сих пор для нас не остыл»^{**}, станет заметнее глубинное родство двух писателей. Может быть, именно это неузнанное (или отвергаемое) родство и не давало Леонтьеву даже через десять лет после смерти Достоевского завершить разговор с ним? С чужим так долго не говорят^{***}.

^{*} Совсем немного лет отделяет эти записи на полях от появления «церкви» Мережковских.

^{**} Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы. М., 1999. С. 392.

^{***} Впервые напечатано в сб.: Достоевский. Материалы и исследования. Т. 17. СПб., 2005.



Иван Есаулов

«Мы поверили бы французу и немцу...»

И. В. Киреевский о христианских основаниях
русского национального сознания и современная наука

Последний раз собрание сочинений И. В. Киреевского выходило в 1911 году. Однако многие его идеи находятся, так сказать, не *позади нас*, а *впереди нас*.

В начале нашего столетия мало кто из читателей вышедшего в свет двухтомника И. В. Киреевского мог в должной степени оценить меру проницательности русского мыслителя: решающие испытания для страны еще не наступили — и вообще их пророчили в прямо противоположном действительности направлении. Так, Д. С. Мережковский витийствовал о «грядущем Хаме», у которого якобы три лица: самодержавие, православие и «черная сотня». Хотя он ежедневно мог созерцать аплодирующих ему и пока еще льстиво суесящихся, не гипотетически ужасных, а вполне реальных «хамов», в самом скором времени в оистину с дьявольской энергией принявшихся сокрушать как раз самодержавие, православие и русский народ...

И. В. Киреевский жил и творил в совершенно иное, несравнимо более стабильное для Российского государства время, когда, казалось бы, невозможно было и ожидать тех вакханалий, которые и сегодня продолжают сотрясать государственное тело бывшей Империи. Однако же И. В. Киреевский не просто *предугадал* те опасности, которые ожидали Россию, но и до сих пор продолжает их *предугадывать*.

В тесных рамках статьи нет, разумеется, возможности претендовать на сколько-нибудь полное освещение заявленной темы. Сосредоточимся лишь на некоторых ее аспектах.

И. В. Киреевский высказал идею о зависимости *русского быта* от особенностей *русского ума*. Речь идет о попытке определения характерных черт *русского типа культуры*, проявляющегося на разных уровнях, но имеющего вполне определенный источник: православную веру. «Самая особенность русского быта заключается в его живом исхождении из чистого христианства», — уверенно резюмировал И. В. Киреевский в одной из программных своих работ — в речи «В ответ А. С. Хомякову». В статье «О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России» он развивает эту же идею более развернуто: «Учения св. Отцов Православной Церкви перешли в Россию, можно сказать, вместе с первым благовестом христианского колокола. Под их руководством сложился и воспитался коренной русский ум, лежащий в основе русского быта. Обширная русская земля даже во времена разделения своего на мелкие княжества всегда сознавала себя как одно живое тело и не столько в единстве языка находила свое притягательное средоточие, сколько в единстве убеждений, происходящих от единства верования в церковные постановления. Ибо ее необозримое пространство было все покрыто как бы одною непрерывною сетью, неисчислимым множеством уединенных монастырей, связанных между собою сочувственными нитями духовного общения. <... > Западный человек раздробляет свою жизнь на отдельные стремления и хотя связывает их рассудком в один общий план, однако же в каждую минуту жизни является как иной человек. <... > Не так человек русский... Во время

подвига молитвенного он особенно старается сохранить трезвый ум и цельность духа... Его обед совершается с молитвою. С молитвою входит в дом и выходит. Последний крестьянин, являясь во дворец перед лицо великого князя... не кланяется хозяину прежде, чем преклонится перед изображением святыни, которое всегда очевидно стояло в почетном углу каждой избы, большой и малой.

Так русский человек каждое важное и неважное дело свое всегда связывал непосредственно с высшим понятием ума и с глубочайшим средоточием сердца.

Существенно, что ни особенности быта, ни тем более особенности русского национального сознания отнюдь не определяются у И. В. Киреевского племенной языческой спецификой.

Русское национальное сознание не просто испытало *влияние* либо *воздействие* православной духовности как одной из составляющих национального характера, но именно «коренной русский ум» (национальное сознание) и «русский быт» *изначально сформировались* в недрах православной культурной традиции и поэтому *определяются* ею же.

Надо сказать, к этому центральному положению, весьма развернуто и аргументированно представленному И. В. Киреевским, и в XIX, и в XX веках относились, как правило, либо весьма скептически, либо с нескрываемой враждебностью. Однако причины такой реакции были порой весьма различны.

Так, для приверженцев «мифологической школы», увлеченных поисками дохристианских языческих корней в русском фольклоре (вплоть до собственного «доставления» вряд ли существовавшего когда-либо в действительности системного пантеона славянских богов, как в знаменитых «Поэтических воззрениях славян на природу» А. Н. Афанасьева), идеи И. В. Киреевского были неприемлемы в силу жесткого противопоставления ими «народного» (то есть дохристианского) устного творчества и письменных, идущих

от Византии, христианских источников (некоторое исключение составляет в этом смысле Ф. И. Буслаев, не разделявший преобладающего мнения о «вредном влиянии» византийской культурной традиции на русскую национальную культуру).

Понятно, что и для сторонников гипотезы о «двоеверии», якобы доминирующем в России, убеждения И. В. Киреевского о порождаемой Православием *цельности* русского духа («вера не относится к отдельной сфере в человеке... но обнимает всю цельность человека. Поэтому главный характер верующего мышления заключается в стремлении собрать все отдельные части души в одну силу») были также совершенно неприемлемы.

Думается, реанимируемые ныне представления о «двоеверии» в русском национальном сознании, аргументируемые ссылками на дореволюционные фольклорные записи, как будто бы подтверждающие массовые «отклонения» от ортодоксальной православной веры, в наше время как раз должны быть поставлены в новый (критический) контекст понимания, задаваемый временной *дистанцией*, отделяющей нас от христианской (православной) России.

Не стоит забывать, что фольклористы, обратившиеся к устному народному творчеству в XIX веке и жившие, в отличие от нас, еще в *православной* России, совершенно естественно замечали, подчеркивали и фиксировали в первую очередь как раз те явления, которые *резко отлигаются* от привычного им (иначе говоря, именно *христианского*) общекультурного фона. Сам же этот «фон» как раз потому мог на рациональном уровне и не осознаваться ими как нравственная и эстетическая система координат, что он представлял собой саму *стихию существования* русского национального сознания и самой России.

Не только русское крестьянство, в наибольшей степени, по И. В. Киреевскому, сохранившее православные основы жизни, но и русская интеллигенция, к началу XX века в массе своей уже безрелигиозная,

оказавшись на чужбине «по грехам своим», остро ощутила настоящую потребность прежде всяких «культурных» (в распространенном значении этого слова) начинаний строить для себя христианские храмы — как раз для того, чтобы сохранить и русскую культурную идентичность... В данном случае осмыслению существенно способствовала отрезвляющая *пространственная* граница, позволившая осознать *главное* в отечественном бытии, но именно потому и не замечаемое прежде.

Нам же ныне требуется *воля* в преодолении долгое время умело навязываемых представителями иных типов культур стереотипных и вполне мифологических представлений о доминантах русского национального сознания. Трудно сказать, что сложнее. Православная вера являлась культурной «почвой» и одновременно воздушной сферой, в атмосфере которой жили и умирали русские люди, зачастую совершенно не задумываясь о благодатном воздействии этого культурного «поля», — именно потому, что сами были его незаменимыми составляющими. Так не задумываешься порой о самом близком и родном, ставшем уже частью тебя самого, ощущая его только в миг утраты... Но ведь мы лишены и этого, уже почти приученные (давшие себя приучить!), например, к тому, что знаменитый «русский пейзаж» хорош уже сам по себе — своими «скромными» природными красотами. Хотя без *венгающих* холмы маковок православных церквей «пейзаж», лишившись *самого главного*, перестает быть также и *русским*, превращаясь в безнациональную красивую картинку, совершенно безразличную (как бы мы ни желали доказать обратного) к тому, что в нее будет вписано зодчими других культур. Но то же самое можно сказать и о русской литературе — без ее православной духовной основы. То же самое, увы, можно сказать и о *русском* национальном сознании...

Однако же наша нынешняя позиция имеет и очевидные преимущества. В частности, после сокрушения православной

России и последовавшего за этим ненасытного системного искоренения самих следов русской христианской культуры чуждая нашему типу духовности оппозиция «церковное/народное» может приниматься только теми, кто очень желает быть обманутым еще раз... Наша православная культура имела опыт собственной глобальной (а не локальной) Катастрофы — и не очень мужественно изо всех сил стараться «не понимать» этого, делая вид, что ее у нас вовсе не было (впрочем, трудно сказать, насколько уместно в данном случае прошедшее время).

Обогащенные новым (пусть и трагическим) контекстом понимания, мы уже не имеем нравственного права с той же бездумной легкостью, как наши предшественники, противопоставлять и «народное» Православие Православию «догматическому» (точно так же, как и некритически превозносить, скажем, едва ли не все гипотезы отечественного «религиозного ренессанса» начала века); мы должны вначале попытаться описать *общий знаменатель*, конституирующий единство русской культуры.

Русская трагедия XX века вынуждает нас пересмотреть словно бы навсегда в гуманитарных науках определившуюся иерархию «прогрессивных» и «реакционных» литераторов и историков — не для того, чтобы неизвестно ради какой цели «поменять знаки», а убедившись в постоянной закреплённости самой логикой «левого мифа» почетного титула «прогрессивности» как раз за теми, для кого православный строй Российской империи был тягостной и непереносимой обузой и кто затем в стихах и в прозе восславил, а также научно обосновал необходимость для блага всего остального (в массе своей прогрессивного) человечества наших собственных фабрик смерти.

Не стоит забывать о том, что радетели наши были *гуманистами*: они ведь открыто предупреждали: нам нужно только сдаться (*сдать себя*), и тогда нас уничтожат уже не будут. («Если враг не сдается,

его уничтожают!») Мы не должны также забывать (держа в памяти наши последующие гулаговские холокосты) и о том, что периодами *реакции* открыто обозначались периоды государственной *стабильности* России, а *реакционерами* — деятели масштаба И. В. Киреевского, поскольку они (удачно либо неудачно) пытались — каждый по-своему — именно сохранить православную Россию*. Причем, как понятно только сейчас, это «охранительство» было в интересах абсолютного большинства населения Империи...

* Одним из многих примеров идеологической ангажированности, не имеющей ничего общего с научной беспристрастностью, является недавняя история с несостоявшейся публикацией в четвертом томе словаря «Русские писатели» специально заказанной для данного издания статьи о С. А. Нилусе, в которой как бы заведомо реакционный автор представлен — вполне в соответствии с «объективистским» в целом подходом этого уважаемого издания — не только публикатором «Протоколов», но и заслуживающим внимания русским церковным писателем-мистиком. Известно, что наиболее «продвинутые» нынешние постсоветские «образованцы» с необыкновенной (и даже с неприличной) быстротой отбросили коммунистическую фразеологию (так, они разом перестали громогласно требовать немедленного возвращения к «ленинским нормам жизни»). Особенно быстро «перестроились» как раз те, для кого марксистско-ленинская схематика была весьма удобной идеологической дубинкой для подавления научного инакомыслия. Однако наш пример иллюстрирует очевидную условность такого рода идеологических перекрашиваний. Так, никого из могущественных «запретителей» статьи о С. А. Нилусе отнюдь не тронула антиреволюционная позиция русского писателя, равно как и то обстоятельство, что во время красного террора владельцы его книги «Великое в малом» расстреливались на месте, а затем шли по «расстрельным» статьям Уголовного кодекса. Дело в том, что средоточием системы ценностей наиболее влиятельных ныне «образованцев» продолжает оставаться какое-то иррациональное (если не сказать, мистическое) и вместе с тем чрезвычайно агрессивное неприятие Православия как такового. Поэтому те русские писатели, которые открыто отстаивали христианские первоосновы русского бытия, до сих пор в этих кругах имеют репутацию реакционных. Русская Катастрофа XX века для данных кругов отнюдь не является сколько-нибудь серьезным основанием для переоценки наследия именно этих писателей — даже в эпоху как будто бы полной «смены вех».

О гениальной проницательности И. В. Киреевского свидетельствуют ставшие чрезвычайно актуальными в самые последние годы споры о языке богослужения, грозящие привести еще к одному расколу Русской Православной Церкви.

В своей «Записке о направлении и методах первоначального образования народа в России» И. В. Киреевский рассматривает, так сказать, теневую сторону *образованности*: «Но что, если понятия, получаемые народом посредством грамотности, будут неистинные или вредные?» Как совершенно справедливо показывает философ, даже изучение догматов веры не является для православного типа культуры наиболее желательным: «Я думаю, что догматическое обучение религии, делающее из веры только одну из наук, могло быть с большей пользой заменено другим способом передачи религиозных истин».

Речь идет не о книжном начетничестве, но о постижении самого *православного богослужения* и *литургического языка* этого богослужения: «Если бы народ наш, ходя в церковь, понимал службу, то ему не нужно бы было учение катехизиса, — напротив, он знал бы несравненно больше, чем сколько можно узнать из катехизиса, и каждую истину веры узнавал бы не памятью, но молитвою, просвещая вместе и разум, и сердце. Но для этого недостает нашему народу одного: познания словенского (то есть церковнославянского. — И. Е.) языка».

Словно предчувствуя нынешние торопливые попытки окончательного отсечения русской культуры от ее церковнославянских корней посредством отказа от литургического языка богослужения, И. В. Киреевский подчеркивал в той же «Записке» полтора столетия назад: «По необыкновенно счастливому стечению обстоятельств словенский язык имеет то преимущество над русским, над латинским, над греческим и над всеми возможными языками, имеющими азбуку, что на нем нет ни одной книги вредной, ни одной

бесполезной, не могущей усилить веру, очистить нравственность народа...»

В рецензии «“Лука да Марья”. Народная повесть, сочинение Ф. Глинки» И. В. Киреевский резко возражает тем, «которые смотрят на наш народ как на ребенка, еще ничего не смыслящего и требующего детских игрушек, поверхностных наставлений, полужуточного языка и легких размышлений о предметах самых обыкновенных».

Напротив, «предметы, которые занимают ум народа и служат основанием его мышления, почерпываются им из самых глубоких истин нашего вероучения. <...> Вот отчего жития святых, поучения св. Отцов и богослужебные книги составляют или, правильнее, составляли любимый предмет его чтения, украшение его вечерних разговоров, источник его духовных песен, обычную сферу его мышления в старости, утешения его предсмертных минут, когда весь смысл жизни сосредоточивается в одно последнее сознание. Вот главное основание всей совокупности его развитых и неразвитых убеждений».

Задача построения *правового общества* в России, принципиально отчужденного от православных русских корней, является в такой же степени насилием над русским сознанием, как и провозглашаемое ранее построение общества *коммунистического*: то и другое — типичные продукты утопического мышления. Как замечал И. В. Киреевский в работе «В ответ А. С. Хомякову», «даже самое слово *право* было у нас неизвестно в западном его смысле, но означало только справедливость, правду. <...> На Западе, напротив того, все отношения общественные основаны на *условии* или стремятся достигнуть этого искусственного основания. <...> Поэтому *общественный договор* не есть изобретение энциклопедистов, но действительный идеал, к которому стремились без сознания, а теперь стремятся с сознанием все западные общества под влиянием рационального элемента, перевесившего элемент христианский». Иначе говоря, дух *Закона*

и *законнигества* в конечном итоге «перевесил» евангельский дух *Благодати*, если вспомнить известную сопоставительную характеристику митрополита Илариона. Однако иерархия ценностей, четко сформулированная автором «Слова о Законе и Благодати», является ядром русской христианской культуры как таковой — на протяжении всей тысячелетней истории России. Поэтому открыто декларируемые ныне призывы перейти не просто к иной, а к *прямо противоположной* иерархии ценностей будут означать, если она реально утвердится и будет доминировать в российской жизни, фактическое *завершение* русской истории как таковой, финал существования православного типа культуры в России.

Если для дальнейшего развития прогресса (тракуемого с «пролетарских» ли, «либеральных» либо «демократических» позиций) требуется, как все яснее становится, вовсе не безоговорочная капитуляция советского коммунизма (который, правда, согласно постоянным обвинениям левых западных интеллектуалов, «исказил», то есть «русифицировал», марксизм либо же вот-вот *собирался* его преступно «русифицировать»), а отречение от самой нашей православной сущности, то внимательное изучение — в новом контексте понимания — хотя бы одной статьи И. В. Киреевского «О необходимости и возможности новых начал для философии» для каждого русского интеллектуала может стать гораздо более действенным «противоядием», нежели чтение сотни номеров зачастую поверхностных «патриотических» изданий, по самой своей публицистически политической природе погруженных в быстропроходящее настоящее.

Задолго до лавинообразного интереса к творчеству Достоевского на Западе (которому мы все должны быть признательны, поскольку он, так сказать, «легитимировал» настоящее научное изучение реакционного русского писателя и на его родине), задолго до открытия чуда древнерусских православных икон И. В. Киреевский иро-

«Мы поверили бы французу и немцу...»

нически писал: «Желать теперь остается нам только одного: чтобы какой-нибудь француз понял оригинальность учения христианского, как оно заключается в нашей Церкви, и написал об этом статью в журнале; чтобы немец, поверивши ему, изучил нашу Церковь поглубже и стал бы доказывать на лекциях, что в ней совсем неожиданно открывается именно то, чего

теперь требует просвещение Европы. Тогда, без сомнения, мы поверили бы французу и немцу и сами узнали бы то, что имеем». И сейчас, вновь оглушаемые пристрастными криками об «идеализации» нами прежней православной России, сможем ли мы, не дожидаясь «француза» и «немца», узнать то нематериальное, что мы, несмотря на потрясения, все еще имеем?



Варвара Каширина

«Драгоценнейшее из всех изданий Оптиной Пустыни»

«Святаго отца нашего Исаака Сирина слова духовно-подвижнические»: история издания и рукописная традиция

В 2004 году к 150-летию со дня первого оптинского издания «Духовно-подвижнических слов Исаака Сирина» издательский отдел Оптиной Пустыни выпустил репринтное переиздание книги, подготовленной преп. Оптинским старцем Макарием на основе перевода преп. Паисия (Величковского).

Поистине драгоценной жемчужиной святоотеческой мысли можно назвать творения Исаака Сирина, сокровенного труженника на ниве духовной. По словам архиеп. Филарета (Гумилевского), «св. Исаак всю жизнь свою посвятил уединенному изучению души своей, и ничьи поучения не исполнены таких глубоких психологических сведений, как поучения св. Исаака; прошед сам степени духовной созерцательной жизни, св. Исаак представляет наставления о созерцаниях возвышенные и основанные на твердых опытах. Духовная жизнь изображена в его поучениях в приложении к самым неуловимым состояниям души»*. Неудивительно, что все подвижники, любители безмолвного жительства стремились приобрести рукописные творения Исаака Сирина, а оптинские старцы в своих письмах часто прибегали к его духовному авторитету.

В нашей статье мы напомним читателям, как готовились первые издания творений Исаака Сирина, а также сообщим некоторые новые сведения о рукописной традиции творений отшельника по архивным материалам Оптиной Пустыни.

* Филарет (Гумилевский), архиеп. Историческое учение об отцах Церкви: В 3 т. СПб., 1882. Т. 3. С. 135.

В первом издании творений Исаака Сирина, вышедшем в 1812 году в Нямецком монастыре, в предисловие была включена глава «О преводе книги святого Исаака Сирина с еллино-греческого на славенский язык краткое изъяснение», в которой рассказывалось о подготовке славянского перевода. Преподобный Паисий писал, что когда он находился на Святой Горе Афонской в скиту святых равноапостольных царей Константина и Елены, у него была одна книга святого Исаака Сирина. Часть ее он списал еще в Киево-Печерской Лавре в дни своей юности. Закончил же ее уже на Святой Горе по его просьбе один ревнитель. Эту книгу на Афоне преп. Паисий перечитывал не один раз и со вниманием. Но во многих местах, где не было грамматического смысла, никак не мог уразуметь. Там на полях он делал некоторые пометки, надеясь исправить, когда найдется лучший перевод.

Через некоторое время у одного иеромонаха нашлась новая рукопись, причем владелец утверждал, что рукопись во всем сходна с болгарским оригиналом, которому свыше четырехсот лет. В свою очередь болгарский текст восходит к греческому. Желая исправить свою рукопись, преп. Паисий выпросил у инок его книгу и в течение шести недель день и ночь с немалым трудом проводил сверку, однако отмеченные в рукописи места так и не были исправлены. Оказалось, что текст в двух рукописях был схожим. Эта и подобная работа с славянскими рукописями привела преп. Паисия к той мысли, что необходимо обратиться к первоисточникам, с которых были сделаны переводы,

т. е. к греческим текстам. И как писал сам преподобный, «уразумев это, я приложил все старание к тому, чтобы с Божией помощью, хотя отчасти узнать осмысленно еллино-греческий язык и приобрести отеческие книги на этом языке, писанные или печатные, в целях исправления. Более же всего я имел желание приобрести писанную книгу святого Исаака Сирина, еллино-греческую. А увидеть печатную я и надежды в жизни своей не имел. И желание мое это оставалось неудовлетворенным и в святой Афонской Горе, и по выходе с Святой Горы в Молдовлахию, где находился я в святой обители Сошествия Святого Духа, что называется Драгомирнскою, в течение двадцати лет. По прошествии же стольких лет, когда я стал приходить уже к оставлению надежды приобрести эту книгу на еллино-греческом языке, Всемогущий Бог по благодати Своей подвиг святейшего Иерусалимского патриарха кир Ефрема издать эту книгу в свет напечатанием ея, для пользы всех иноков, кто желал бы из нее научиться истинному безмолвию, по внутреннему человеку. Труд же и хлопоты по этому делу он упросил принять на себя образованнейшего иеродиаскала кир Никифора, ныне преосвященнейшего архиепископа Астраханского, который был тогда в Царьграде. Тогда же был в Царьграде и один из нашего братства. Последний, узнав об этом, стал умолять и святейшего патриарха кир Ефрема и иеродиаскала кир Никифора, чтобы, когда эта книга будет издана в печати, чтобы соблаговолили бы прислать мне, в Молдовлахийский монастырь Драгомирнский» *.

Это было в 1768 году, а уже через два года, в 1770 году книга была издана в Лейпциге на греческом языке. Перевод на греческий язык был сделан первоначаль-



*Преподобный Паисий (Величковский).
Кон. XVIII в. Молдавия. Неизвестный
художник. ЦАК МДА РЖ 22*

но иноками Лавры св. Саввы Авраамием и Патрикием, вероятно, в IX веке, однако по своему составу это был далеко не полный перевод творений Исаака Сирина, ибо, по свидетельству сирийского писателя начала XIV века Ebed-Iesu, «св. Исаак Ниневийский составил семь томов о водительстве духа, о божественных тайнах, о судах и о благочинии» *.

В Рождественский пост 1770 года преподобный Паисий наконец-то получил долгожданный печатный текст творений Исаака Сирина. Целый год трудился о. Паисий, сопоставляя пословно греческий и славянский тексты и внося в славянский текст множество исправлений. Однако подготовленный труд нельзя было в строгом смысле назвать новым переводом на славянский язык, что признавал и сам преподобный.

Своеобразным толчком к работе над новым переводом на славянский язык

* Старцы: о. Паисий Величковский и о. Макарий Оптинский и их литературно-аскетическая деятельность // Отечественные подвижники благочестия. Изд. Введенской Оптиной Пустыни, 1996. Сентябрь. С. 465. Этот же текст, но в более архаизированной форме приводится в предисловии к изданиям 1812 и 1854 гг.

* Цит. по: Сергей Соболевский, профессор Московской духовной академии. Сведения о преподобном Исааке Сирине и его писаниях / Иже во святых отца нашего Аввы Исаака Сириянина Слова подвижнические. М., 1993 (репринт с изд. Сергиев Посад, 1911). С. VII.

творений Исаака Сирина послужила найденная на Афоне греческая рукопись. Об этом писал сам Паисий (Величковский): «В 1786 году принесли мне рукописную еллино-греческую книгу св. Исаака с святой горы Афонской, так как и там было известно давнее мое желание приобрести эту книгу и усердная просьба к ревнителям ее перевода. К тому же и братья из нашего собрания побуждали меня к этому своими смиренными просьбами. Я же, с одной стороны, имел в виду свою старость и крайнюю телесную слабость, также и величину книги, и трудность этого дела, происходящую меру моих сил, и неизвестность часа исхода моего от этой жизни, и потому было отлагал намерение свое о переводе на несколько месяцев. Но с другой стороны, видел я и несповедимый Божий Промысл, сподобивший меня увидеть и еллино-греческую книгу святого Исаака рукописную, принесенную с святой горы Афонской исключительно для перевода, столь желательную для меня; еще же принимал во внимание и то, что и в еллино-греческом языке чрез столько лет я приобрел и большие познания, к тому же незадолго до принесения книги приобрел и книги, необходимые к производству перевода, т.е. лексиконы, и имел лексиконы на Ветхий и Новый завет; к тому же, когда эта книга была принесена, в душе моей зародилось непонятное какое-то влечение к переводу вновь книги святого Исаака Сирина. Этого я не мог не видеть. Истинно говорю, что и мысли я совсем не имел о новом переводе книги этого святого, если бы не пробудила этого желания вновь принесенная книга. Видел же и то, что и ревнители и братия нашего собрания усердно просили меня об этом и побуждали к этому. Поэтому, возложив всю свою надежду на Божию помощь, я начал новый перевод книги святого Исаака Сирина в том же 1786 году в пост перед Рождеством Христовым.

По обстоятельному рассмотрении обеих книг в основание перевода я положил еллино-греческую печатную, а рукописную имел при переводе в помощь. И поистине, большую помощь имел я при пере-

воде от нее. Без нее и при печатной мой перевод при всем старании, какое прилагал бы я, чтобы перевести, в немалом хромал бы. Во многих местах, как славянский, так и рукописный греческий находятся такие некоторые изречения, каких недостает в печатной. Отсюда можно догадываться, что при славянском древнем переводе была в употреблении подобная греческая рукопись. Переводя эту святую книгу, в основании имел греческую печатную, но слово в слово просматривал и греческую рукописную, и давнюю славянскую, исправленную в Драгомирне. Со вниманием рассматривал по силе своей имена и глаголы по лексиконам, наблюдая, сколько было возможно, и за свойствами обоих языков еллино-греческого и славянского. Я исполнял этот многожеланный для моей души труд со всею духовною радостью, оставляя без внимания всю болезненность свою внутреннюю и внешнюю моего грешного тела. Итак, по Божией благодати и всемогущим молитвам Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, и многомогущими молитвами преподобного отца нашего Исаака Сирина, истинного учителя, действующей в сердце чрез ум, молитвы и безмолвия, был закончен этот перевод мой в 1787 году»^{*}.

Рукопись нового перевода Исаака Сирина была прислана в Санкт-Петербург к митрополиту Санкт-Петербургскому и Новгородскому Гавриилу (Петрову), стараниями которого в 1793 году был издан паисиевский перевод «Добротолюбия». Однако какие-то обстоятельства, а также последовавшая в 1801 году смерть митрополита помешали изданию книги.

Среди сохранившихся рукописных творений Исаака Сирина, предназначенных для издания, можно указать на ру-

^{*} Старцы: о. Паисий Величковский и о. Макарий Оптинский и их литературно-аскетическая деятельность // Отечественные подвижники благочестия. Изд. Введенской Оптиной Пустыни, 1996. Сентябрь. С. 467–469. Этот же текст, но в более архаизированной форме приводится в предисловии к изданиям 1812 и 1854 гг.



Святого отца нашего Исаака Сирина слова духовно-подвижнические. Нямец, 1812 г.
Начальные листы издания

копись «**Творений Исаака Сирина**» из фонда о. Леонида (Кавелина) (НИОР РГБ. Ф. 557. № 85), о которой речь пойдет ниже, а также на список с паисиевского перевода «**Словеса постнические преп. Исаака Сирина**» из фонда Оптиной Пустыни (НИОР РГБ. Ф. 214. Опт-464), выполненный в 1805 году с оригинала 1791 года*.

В 1812 году уже сам Нямецкий монастырь, как дань памяти трудам преп. Паисия, издал его перевод 91 слова Исаака Си-

рина. На титульном листе было отмечено, что в типографии трудился схимонах Митрофан. Книга, объемом 173 листа (нумеровались только листы, а не страницы), была бесценным сокровищем для монашествующих. Однако именным указом от 27 июля 1787 года в Россию был запрещен ввоз книг русской и славянской печати «без изъятия в отношении содержания сочинений». Рукописные книги творений Исаака Сирина стоили в то время около 30 рублей, а книги, случайно попавшие в Россию из Нямецкого монастыря, в два раза дешевле.

Несмотря на издание Нямецкого монастыря, все же основной возможностью познакомиться с творениями Исаака Сирина были многочисленные рукописные списки, которые тщательно переписывались и хранились боголюбивыми читателями духовной литературы. Часть рукописей было

* Словеса постнические преп. Исаака Сирина. Рукопись 1805 г., скоропись. 378 л. 33,7x21,0 // НИОР РГБ. Ф. 214. Опт-464. Запись на л. 16: «На подлиннике написано собственною рукою: Его же есмь недостойный раб, трудивыйся в преводе сем Свято-Вознесенского Нямецкого и Предтечева Секульского Молдовлахийских монастырей архимандрит Паисий Величковский, родимец Полтавский. 1791 года ноября 23 дня». Писцовая запись на л. 378: «Окончися июня месяца 2-го гисла 1805 года».

копиями с печатного издания (например, из собрания Оптиной Пустыни НИОР РГБ. Ф. 214. Опт-467). Часть рукописей через ближайших учеников преп. Паисия попала к Оптиным старцам, позже эти рукописи были переданы в библиотеку Оптиной Пустыни и стали ее достойным украшением.

Мы расскажем о некоторых рукописях, имеющих пространные владельческие записи. Иногда записи настолько подробны, что позволяют рассказать об истории рукописной книги, предложив некоторые краткие пояснения. Кроме того, записи позволяют предположить, кто именно из старцев (Лев, Макарий, Моисей, Антоний) принес данную рукопись в Оптину Пустынь.

К старцу Льву сборники попали от его наставника схимонаха Феодора (Пользикова), ученика и последователя старца Паисия. В рукописи **«Словеса постнигеские Исаака Сирина»** из рукописного собрания Оптиной Пустыни (НИОР РГБ. Ф. 214. Опт-463)* владельческая запись на л. 3—3 об. гласит:

«Сия книга святого Исаака, из книг схимонаха Онуфрия, жившего 25 лет во пустыни над потоком Вороною, идеже и представися и погребен бысть 1789 года, марта 29 дня». <Далее другим почерком>: «Свидетельствую, своеручно писавай сию книгу, и с ним на том же пустынном месте в Волашине живший, схимонах Николай». <Далее записи-автографы старца Льва>: «Сей же старец иеросхимонах Николай восприял преблаженнейшую конгину в Нямецком монастыре во осмое лето по преставлении отца Онуфрия, то есть 1796 года». «Нямецкого Молдовлахийского воспитания и в мантию пострижения. А в схиму священноиером. Клеопы посвящен во Орловской епархии в Белобережской пустыни, по усердию же и по изволению соизволения воли Господней перешел в Северные страны в Валаамскую обитель в скит, где по прожитии и продолжении священнослужения во ознаменныя дни пяти годов, представи-

ся 1816 года мая 19-го дня в полунощи на праздник Вознесения Господня <...> <на полях: «от роду на 68-м году»> <...>, от самой пасхи 2-го дня мало ожень пищи употреблял и во время сконгания просветися лицем, и привлечением его лицезрения и мановением Всемогущего, на погребение и ко отпетию мало что осталось в монастыре, но вся братия по усердию приспела. И погребен бысть в скиту на нарочитом и красивом месте и над гробом соделана деревянная(sic) памятник с надписью».

Рукопись была закончена в 1781 году и представляет одну из ранних редакций перевода слов Исаака Сирина, выполненную преп. Паисием (Величковским). На титульном листе рукописи (л. 4) кинноварью было написано, что «сия книга святого Исаака Сирина из напегатанной еллиногретеским языком, разительством и иждивением блаженнейшего патриарха святого града Иерусалима Ефрема, трудолюбием же и тщанием и благоговейнейшего и премудрого Никифора иеромонаха Феотокки малороссийского богоспасаемого графа Полтавы архиепископа славянского и Херсонского преведена на славенороссийский язык всегестным старцем святыя обители Нямецкой Молдовской, отцем трудолюбивым иеросхимонахом Паисием, с которой да благословением его всегестности переписано священномонахом Николаем в земли Молдовской во пустыни над потоком Вороною при схимонаху(sic) Онуфрию, жившим и из слова до слова тожно во всем сведена верно в лето от сотворения мира 7289, от Рождества же по плоти Бога слова 1781 месяца генваря 30 дня».

О схимонахе Онуфрии известно из жития наставника преп. Льва — схимонаха Феодора. «В дикой пустыне, при потоке Поляна-Ворона, в пяти верстах от скита того же имени жил в то время старец Онуфрий, украшенный седидами лет и седидами мудрости божественной. Уроженец города Чернигова, из дворян, с юных лет возлюбил он Христа; ради Христа юродствовал в юности шесть лет; ради Христа оставил юродство, удалился с другом сво-

* Рукопись 1780—1781 гг., написанная полууставом на 383 листах, размером 22,9х17,6 см.

им иеромонахом Николаем в Украину и там принял ангельский образ; для большего же усовершенствования себя в подвигах иночества они переселились из Украины в Молдавию к великому Паисию, о благочестии и мудрости которого далеко пронесся слух в пределах России» *. Вскоре к ним на жительство перешел схимонах Феодор. И, как сказано в жизнеописании о. Феодора: «Старец Онуфрий сиял, как светильник веры и мудрости; к нему стекались удручаемые недоумениями и возвращались с радостью, озаренные светом истины; Николай блистал благодатным светом духа страха Божия, в глубоком смирении внимал самому себе и в блаженном безмолвии проводил жизнь свою; Феодор озарен был небесным светом послушания и трудолюбия: в кротости и терпении духа служил он старцам и готов был всегда служить всем» **.

По преставлении старцев Онуфрия и Николая рукопись попала к о. Феодору, а он, как следует из записи, возможно, оставил ее своему духовному другу о. Клеопе, вместе с которым в 1801 году вышел из Молдавии и через некоторое время поселился в Белобережской пустыни, где с 1804 года настоятельствовал о. Лев. В 1808–1811 годах старцы Феодор и Клеопа жили в уединенной келье недалеко от обители, к ним присоединился и сложивший с себя бремя настоятельства и о. Лев. Здесь-то, возможно, старец Лев впервые увидел эту рукопись. В 1816 году, после смерти о. Клеопы, владельцем рукописи стал о. Лев.

Дальнейшая запись гласит:

«Собрату моему, погтеннейшему монаху Макарию Грузинову, жительство проводившему со мною единодушно двадцать годов. Усердствую сию книгу боговдохновенную св. Исаака Сирина в 27 день сентября 1841 г.» <Подпись-автограф старца Льва>:

«Многогрешный иеросхимонах Леонид». <Ниже другим почерком>: *«Схимонах Макарий, ученик старцев».*

Как самое ценное сокровище, старец Лев хранил рукопись творений Исаака Сирина в течение всей жизни. За две недели до смерти он передал ее своему близкому и верному ученику о. Макарию (Грузинову). Старец Лев хорошо знал Санкт-петербургское семейство Грузиновых. Когда в 1817 году старцы Феодор и Лев перешли в Александро-Свирский монастырь, туда же поступил и молодой Матвей Яковлевич Грузинов, который в 1826 году был пострижен в мантию с именем Макарий. Когда же в 1829 году старец Лев переместился в Оптину Пустынь, его ученик последовал за ним и остался в этой обители уже навсегда. Мать о. Макария — Мелания Ивановна, также, оставив все свои мирские дела, последовала за ними в Оптину Пустынь, некоторое время прожила при обители и скончалась там схимницей в 1833 году.

В рукописи имеются и другие записи, говорящие о ее владельцах *. Позже рукопись попала в библиотеку монастыря.

Следующая рукопись *«Творений Исаака Сирина»* с подробными владельческими записями хранится в фонде о. Леонида (Кавелина) (НИОР РГБ. Ф. 557. № 85). Запись на л. 3–4 гласит:

* Запись, л. 393: *«Сия книга святого Исаака Сирина написана 1781 года генваря 30 дня».* Далее другим почерком: *«Сия к<нига> б<ыла> п<о>дарена с<химонахом> Феодором м. иеросхим. Леониду, которой преставился 1822 года апреля 7 дня в пяток на светлой седмице в первой четверти 4-го часа по полудни в самой густой свежей памяти в той же самой день святым елеем осoboрован и исповедан и приобщен святых и животворящих Таин, а на елеосвящении во время последней молитвы, которая гтется на разгнутом Евангелии над главою больного открылось Матфея, загало 115, кое гтется в Великую субботу на Литургии».* Далее другим почерком: *«Бывшая супруга сх. Феодора»* преставилась в 1826-го года генваря 16-го». Далее другим почерком: *«Иеросхимонах Лев преставился в Оптиной Пустыни в 1841-го года октября 11-го дня в субботу в 8-м часов и 20 минут ввечером на 73-м году своей жизни».*

* Жизнь и подвиги схимонаха Феодора. М.: Изд. Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1997. С. 17.

** Там же. С. 18.

«Сия книга по смерти схимонаха Антиоха принадлежит лаврскому светному монаху отцу Иоанникию», <далее другим почерком>: «А ныне с 1849 года подарена мне Санкт-петербургск. купчихою Евдокиєю Терентьевною Лесниковою и собственно принадлежит мне, иером. Ефрему». На л. 299 об.: «Сия книга подарена мне, иеромонаху Ефрему, достопогтеннейшею Санкт-петербургскою погетною гражданкою госпожею Лесниковой в 1849-м году»; «А в 1859-м году февраля 26-го я, многогрешный монах Авраамий, полугил сию книгу в благословение от него». На л. 1 об. владельческая запись того же монаха Авраамия, сделанная в конце 50-х гг.: «Сия богодухновенная книга писана достоблаженным старцем схимонахом отцом Феодором, сконгавшемся в Александро-Свирском монастыре в 1821-м году. А окончена писанием его другом и сожителем в Молдавских монастырях, схимонахом отцем Николаем. Оба они сподобились блаженной вечноности, как видно из жизнеописания их, составленного архимандритом отцем Игнатием, что ныне преосвященный Кавказский Ставропольский. Все это в удостоверении засвидетельствовано мне, многогрешному монаху Авраамию, погтенным схимонахом Леонидом, сконгавшемся в 1853 году в скиту Оптиной Пустыни и достопогтенным старцем моим отцем Ефремом, иеромонахом и казначеем малоярославецкого общежительного монастыря, от коих это я слышал».

Рукопись была написана в уединенной пустыни Нямецкого монастыря в конце XVIII века схимонахом Николаем и Феодором и представляет собой раннюю редакцию паисиевского перевода.

Поистине детективную историю этой рукописи излагает составитель жизнеописания Оптинского старца Макария — о. Агапит (Беловидов). «Судьба этой рукописи особенно замечательна. Писана она была полууставом на белой лощеной бумаге в лист, более половины — близким учеником старца Паисия схимонахом о. Феодором, а окончена другом его и сожителем в молдавских и русских обите-

лях схимонахом о. Николаем. Затем рукопись эта прислана была старцем Паисием Петербургскому митрополиту Гавриилу с таковым в предисловии (после посвящения) собственноручным подписанием: «Трудивыйся в переводе сем Свято-Вознесенского Нямецкого и Предтечева Секульского Молдовлахийских монастырей архимандрит Паисий Величковский, родимец Полтавский». По кончине же митрополита Гавриила в 1801 году, неизвестно как, рукопись перешла в частные руки какого-то барышника и привезена была им на продажу в Валаамский монастырь, так как дошел до него слух, что там живут старцы духовной жизни, которые, верно, купят ее за дорогую цену. Таким образом книга дошла и до рук, писавших ее, схимонаха о. Феодора, жившего в то время на Валааме. Можно себе представить радость, а вместе с тем и удивление о. Феодора по случаю обретения, в особенности для него столь драгоценной рукописи, которую он не надеялся не только иметь, но и когда-либо видеть. Господь, устроивший столь чудесное обретение рукописи, даровал смиренному и убогому старцу и средство возвратить оную из рук барышника. Это случилось между 1811 и 1817 годами. Отец Феодор чрезвычайно дорожил изгибшим и столь нечаянно обретенным сокровищем. Вообще старец сей столько любил писания св. Исаака Сирина, что во время постигавших его лютых скорбей, гонимый злобою и завистию, будучи вынуждаем неоднократно переходить из монастыря в монастырь, уносил с собою только одну эту книгу св. Исаака. После блаженной кончины старца Феодора в 1821 году книга эта досталась любимому его ученику и спутнику во время всей его скорбной жизни по выходе из Молдавии иеромонаху о. Леониду (в схиме Льву). Отец Леонид еще при жизни своей подарил ее своему ученику схимонаху Антиоху, по кончине которого она перешла к другому ученику старца Леонида, жившему тогда в Александро-Невской Лавре, монаху Иоанникию (в схиме Леониду). Сей подарил

ее благодетельнице Калужской Тихоновой пустыни, где и сам он проживал довольно долгое время, духовной дочери старца о. Леонида старице Е<вдокии> Т<ерентьевне> Л<есниковой>, а от нее книга эта в 1849 году перешла к иеромонаху той же обители о. Ефрему, бывшему также учеником старца Леонида. Отец Ефрем подарил ее духовному своему сыну монаху Авраамиию. А сей, отъезжая в 1858 году на жительство во св. Афонскую Гору, принес сию рукопись в дар Оптиному старцу иеросхимонаху о. Макарию, который в предсмертной своей болезни благословил ею вместе с иконою св. Исаака Сирина... скитского иеромонаха (впоследствии архимандрита) о. Леонида (Кавелина); а им оставлена в скитской библиотеке Оптиной Пустыни»^{*}.

Таким образом, и эта рукопись творений Исаака Сирина какое-то время была в келейной библиотеке преп. Льва.

Несколько рукописей творений Исаака Сирина начала XIX века, которые происходят из Свенского монастыря, могли поступить в оптинское собрание из библиотек старцев Моисея и Антония. Известно, что старец Моисей в 1808 году поступил в Брянский Свенский монастырь и 3 августа 1809 года был определен в число послушников. Сохранилась рукопись «Лествицы», которая была написана старцем Моисеем в Свенском монастыре в 1810 году^{**}. Через некоторое время, в 1811 году, по любви к пустынной жизни старец Моисей ушел к рославльским пустынножителям. Во время войны 1812 года на некоторое время он возвращался в Свенский монастырь. Многие рославльские отшельники также были выходцами из Свенского монастыря, поэтому рукописи, выполненные в этом монастыре, могли попасть к преп. Оптинским старцам Моисею и Антонию.

Это две рукописи *«Словеса постнические Исаака Сирина»* начала XIX века. Первая рукопись 1806–1811 годов, напи-

санная полууставом на 272 листах, размером 33,0x20,5 см (НИОР РГБ. Ф. 214. Опт-465). На первом листе сделана запись:

«Сею книгою благословляю Свенского монастыря иеромонаха Серапиона, а моего возлюбленного о Господе брата в знак моей любви к нему 1811-го года декабря 3-го дня. Свенский игумен Амвросий». Владельческая запись иеромонаха Серапиона по листам: *«Дал сию книгу во владение в знак любви его преподобия Свенского Успенского монастыря игумена Амвросия...»*

Вторая рукопись 1811 года, написанная полууставом на 259 листах, размером 33,0x21,0 см, вероятно, список с предшествующей (НИОР РГБ. Ф. 214. Опт-466). Писцовая запись на л. 259 об. гласит:

«Писана сия богодухновенная книга св. Исаака Сирина тщанием и усердием Свенского монастыря иеромонахом Серапионом. Писал же сию книгу одного же монастыря монах Маркиан. Загата писать 1811 года июля 6-го, скончана того же года октября 6-го».

Рукописные творения Исаака Сирина, распространившиеся в России в начале XIX века, хранились в монастырских библиотеках и имели огромное влияние на духовную жизнь. Н.В. Гоголь, посетивший Оптину Пустынь в середине XIX века, прочитал в скиту творения Исаака Сирина и был поражен глубиной открытия человеческой души. На своем экземпляре первого издания «Мертвых душ» против того места, где речь идет о «прирожденных страстях» («есть страсти, которых избрание не от человека. Уже родились они с ним в минуту рождения его на свет, и не дано ему сил отклониться от них. Высшими начертаниями они ведутся... вызваны они для неведомого человеком блага»), он написал карандашом: «Это писал я в “прелести”, это вздор — природженные страсти — зло, и все усилия разумной воли человека должны быть устремлены для искоренения их. Только дымное надмение человеческой гордости могло внушить мысль о высоком значении природженных страстей —

^{*} Жизнеописание оптинского старца иеросхимонаха Макария. М., 1997. С. 116–117.

^{**} НИОР РГБ. Ф. 214. Опт-509.

теперь, когда я стал умнее, глубоко сожалею о “гнилых словах”, здесь написанных. Мне чужалось, когда я печатал эту главу, что я путаюсь, вопрос о значении прирожденных страстей много и долго занимал меня и тормозил продолжение “Мертвых душ”. Жалею, что поздно узнал книгу Исаака Сирина, великого душеведца и прозорливого инока. Здравую психологию и не кривое, а прямое понимание души встречаем у подвижников-отшельников. То, что говорят о душе запутавшиеся в хитросплетенной немецкой диалектике молодые люди, — не более как призрачный обман. Человеку, сидящему по уши в житейской тине, не дано понимания природы души»*.

Около 1852 года в Оптиной Пустыни началась работа по подготовке к изданию творений Исаака Сирина, которая была завершена через два года. К этому времени в монастыре уже был накоплен опыт по изданию святоотеческой литературы. В конце 1848 года были изданы «Четыре огласительных слова к монахи-не», сочиненные и говоренные 1766 года иеромонахом Никифором (Феотокием), переведенные с греческого старцем Паисием (Величковским); в 1849 году напечатано «Преподобного отца нашего Нила Сорского предание ученикам своим о жителстве скитском» с подстрочными примечаниями; в конце 1849 года издана книга «Восторгнутые класы в пищу души», содержащая несколько переводов из Святых отцев преп. Паисия (Величковского). В 1852 году — «Преподобных отцев Варсануфия Великого и Иоанна руководство к духовной жизни в ответах на вопрошения учеников», славянский исправленный перевод старца Паисия был заново сверен с греческим подлинником и снабжен подстрочными примечаниями. В конце 1852 года изданы «Преподобного отца нашего Симеона Нового Богослова, игумена и пресвитера, бывшего от огады



Преподобный Макарий (Иванов), старец Оптиной Пустыни. 1854 г. Оптина Пустынь. Иеромонах Гавриил. ОР РГБ. Ф. 213. К113. Ед. 4

св. Маманта». В начале 1853 года вышел славянский перевод старца Паисия с новогреческого «Оглашение преподобного Феодора Студита», в конце того же года — «Преподобного отца нашего Максима Исповедника толкование на молитву «Отче наш» и его же «слово постническое по вопросу и ответу» — перевод с греческого, выполненный духовным сыном старца Макария Т.И. Филипповым.

В монастыре сложился и коллектив единомышленников, которые под руководством старца Макария трудились над подготовкой этих изданий. Ближайшими помощниками старца Макария были преп. старец Амвросий, иером. Леонид (Кавелин), впоследствии архимандрит и наместник Троице-Сергиевой Лавры, иером. Ювеналий (Половцев), впоследствии архиепископ Виленский и Литовский, иером. Климент (Зедергольм), бывший магистр классической филоло-

* Матвеев П. Гоголь в Оптиной Пустыни // Русская старина. 1903. № 2. С. 303.

гии Московского университета. Из светских лиц активное участие принимали: И. В. Киреевский, профессор Московского университета С. П. Шевырев и М. П. Погодин.

Работавшие над переводами иноки ежедневно собирались в келье старца Макария, который, по воспоминаниям о. Леонида (Кавелина), «не прекращая своих обычных занятий с братией и приходящими, посещая в определенное время и гостиницу, тем не менее принимал самое деятельное участие в сих занятиях: можно утвердительно сказать, что ни одно выражение, ни одно слово не было вписано в отсылаемую в цензуру рукопись без его личного утверждения... Деятельность его в этом отношении была поистине изумительна: старец, одаренный от природы живым энергичным характером, в этих занятиях точно забывал себя, почасту жертвуя для них и тем кратким отдыхом, который был очевидно необходим его утружденному и немощствующему телу. Хотя и у всех участвовавших в сих трудах не было недостатка в усердии, но нельзя не сознаться, что если кто чувствовал по временам изнеможение от усиленных занятий, то отнюдь не старец, он был неустойчив. Но за то, как щедро были награждены мы за малые труды наши! Кто из внимающих себе не отдал бы нескольких лет жизни, чтобы слышать то, что слышали уши наши: это объяснения старца на такие места писаний отеческих, о которых, не будь этих занятий, никто из нас не посмел бы и спросить его, а если бы и дерзнул на сие, то несомненно получил бы смиренный ответ: “Я не знаю сего, это не моей меры, может быть, ты достиг ее, а я знаю лишь: “Даруй ми, Господи, зрети моя прегрешения! Очисти сердце — тогда и поймешь!” Кто из нас в состоянии будет забыть, с какою снисходительностью выслушивал он, утешенный от Господа даром духовного рассуждения, наши детские немотствования и делал уступки, в желании изящнее или яснее выразить мысль там, где не видел нарушения духовного смысла, прикрывая оные приличной

отеческой шуткой... Если возникло разногласие в понимании, старец немедленно устранял оное, или предлагал на среду свое собственное мнение, или, смиряясь и смиряя нас, оставлял такое место вовсе без пояснения, говоря: «Это не нашей меры, кто будет делать, тот поймет, а то как бы не поставить наше гнилое вместо его (разумея старца Паисия) высокого духовного понимания»*.

При подготовке к изданию творений Исаака Сирина использовали все доступные издания и рукописи: греческое издание 1770 года, славянское 1812 года, о которых уже говорилось выше, а также новый перевод 30 слов Исаака Сирина, опубликованный в 1821–1829 годах в журнале «Христианское чтение», и переводы профессора Императорской Московской духовной академии протоиерея П. С. Делицына, сделанные в конце 1840 — начале 1850-х годов. В памятной записке старец Макарий писал: «О напечатании книги св. Исаака Сирина мы не смели надеяться предпринимать какие-либо средства (вероятно, потому что уже напечатан был русский академический перевод сего Святого отца); но Бог судьбами Своими устроил неожиданно и даровал нам иметь духовное утешение велие — видеть ее напечатанною в 2400 экземплярах. Вот как это случилось: в 1852 году, когда я был в Москве, говоря с гг. Киреевскими о русском (академическом) переводе сей книги, как бы хорошо и полезно было напечатать сию книгу на славянском языке старца Паисия, предложил им при случае предложить о сем высокопреосвященнейшему митрополиту Филарету. Бывши в Троицкой лавре в то же время, предложил о сем о. наместнику архимандриту Антонию**.

* Житие оптинского старца Макария / Сост. Леонид (Кавелин), архим. Изд. Введенской Оптиной Пустыни, 1995. С. 164–165.

** Антоний — архимандрит, наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры (6 октября — 12 мая 1877 года). В миру Андрей Гаврилович Медведев, из крестьян. В 1817 году посетил Саровскую обитель, а с 1818 года поселился у преп. Серафима,



Святитель Филарет (Дроздов), митрополит
Московский и Коломенский. 1861 г. Москва.
Н.Д. Шпревиг. ЦАК МДА Гр. 1

По отъезде моем он, улучив время, в разные времена при разговоре докладывал о сем его высокопреосвященству»^{*}.

Благословение на работу над книгой было получено от Московского митрополита Филарета, который передал его через наместника Троице-Сергиевой Лавры о. Антония: «Рад буду, если напечатают отцы оптинские книгу Исаака Сирина на славянском и для цензуры затруднения не предвижу. Желательно было бы, чтобы

который предсказал ему настоятельство. Через полтора года перешел в Высокогорскую Вознесенскую пустынь, где в 1822 году пострижен в монашество и рукоположен в иеродиакона и иеромонаха. В 1826—1831 годах строитель Высокогорской пустыни. В 1831 году избран наместником Троице-Сергиевой лавры и возведен в сан архимандрита Вифанского монастыря при ней. Должность наместника о. Антоний исполнял 46 лет. При нем значительно окрепла духовная жизнь, особенно прославились скиты лавры. Был духовником митрополита Филарета. Состоял в переписке с оптинскими старцами.

^{*} Жизнеописание оптинского старца иеросхимонаха Макария. М., 1997. С. 148.

при сем на некоторые места сделаны были с подлинника пояснения, как сделано в издании Варсануфия Великого. Но если сие окажется трудным, и без сего напечатать хорошо. А с пояснениями славянский текст по мне лучше русского, потому что по свойству языка перевод ближе к подлиннику. Новым переводам я меньше верю»^{*}.

О том, с какой тщательностью проводилась работа над подготовкой нового издания, свидетельствует обширная переписка старца Макария с И.В. Киреевским, а также с митрополитом Филаретом (Дроздовым), который, несмотря на всю занятость, не только всячески поощрял издания Оптиной Пустыни, но и сам участвовал в переводе и толковании наиболее сложных мест.

В августе 1852 года И.В. Киреевский писал о. Макарию относительно полученной им части перевода слов Исаака Сирина: «До сих пор мне кажется, во всех тех местах, где Вы отступаете от перевода лаврского, Вы совершенно правы и смысл у Вас вернее. Но, несмотря на это, мне кажется, что перевод Паисия все еще остается превосходнее, и хотя смысл в нем иногда не совсем ясен с первого взгляда, но эта неясность поощряет к внимательнейшему изысканию, а в других местах в словенском переводе смысл полнее не только от выражения, но и от самого оттенка слова. Например, у Вас сказано: *Сердце, вместо божественного улаждения, увлечется в служение гувствам*. В словенском переводе: *Разсыпается бо сердце от сладости Божия, в служение гувств*. Слова *разсыпается от сладости*, может, и неправильны по законам наружной логики, но влагают в ум понятия истинные, и, между прочим, это дает разуместь, что сладость Божественная доступна только цельности сердечной, а

^{*} Из письма архимандрита Антония к о. Макарию от 18—21 сентября 1852 года. Опубликовано: Иеромонах Ераст (Вытропский). Историческое описание Козельской Оптиной Пустыни и Предтечева скита (Калужской губернии). Изд. Свято-Введенской Оптиной Пустыни, 2000. С. 246.

при несохранении этой цельности сердце служит внешним чувствам.

Такое выражение: *Иже истиною сердца своего уцеломудряет видение ума своего* — дает не только понятие о исправлении сердечном, но еще и о том, что пожелание нечистое есть *ложь сердца*, которою человек сам себя *обманывает*, думая желать того, чего в самом деле не желает» *.

Письмо было получено в обители, и уже всего через несколько дней из Оптиной Пустыни был отправлен ответ: «Я согласен с Вами, что перевод старца Паисия гораздо превосходнее во всем против русского; и, собственно, для моего понятия не надобно другого, хоть иногда и не все доступно до скудного моего ума, но для читателей, вообще и особо не расположенных к словенскому наречию, трудно уразумевать многое, а внимательно вникнуть в смысл материи трудно их понудить. Словенское наречие часто заключает в себе что-то великое, высокое и таинственное, а на русском языке никак нельзя выразить вполне» **.

В письмах обсуждались и переводы отдельных слов и понятий, когда было сложно найти нужные эквиваленты тому или иному понятию из области духовной жизни. Например, старец Макарий в одном из писем писал И.В. Киреевскому: «Мы во многих случаях полагаем слово же *разум* оставить так, как и в славянском тексте, а в некоторых *знание, разумение и ведение*. Но в русском академическом переводе нигде не назван разум *разумом*, а все больше *ведением* или *знанием*. Мы справлялись и в других переводах на русском языке: все разум называют *ведением*, и потому господа ученые усвоили это слово, так же как и мы *разум*» ***.

* Из письма И.В. Киреевского к о. Макарию от 12 августа 1852 г. Опубликовано: Иван Васильевич Киреевский. Разум на пути к истине / Сост. Н. Лазарева. М., 2002. С. 325—326.

** Из письма о. Макария к И.В. Киреевскому от 18 августа 1852 г. // Там же. Л. 328.

*** Из письма о. Макария к И.В. Киреевскому от 6 августа 1852 г. // Там же. Л. 322.

И.В. Киреевский также по возможности входил во все тонкости перевода и иногда предлагал старцу свои варианты: «...позвольте мне сказать мое мнение о двух словах в Вашем переводе: *созерцание* и *доброе*. Для чего предпочитаете Вы *созерцание* слову *видение* или *зрение*? Первое — новое, любимое западными мыслителями и имеет смысл более *рассматривания*, чем *видения*. Потому нельзя, например, сказать, что ум от состояния молитвы возвышается к *степени созерцания*, так же как нельзя сказать, что он возвышается к *степени рассматривания*. Если же один раз необходимо греческое слово *θεωρία* перевести *видение*, то не худо бы, кажется, и всегда одному слову усвоить один смысл. Таким образом может у нас составиться верный философский язык, согласный с духовным языком словенских и греческих духовных писателей. Второе слово — *доброе*, которое на словенском языке, кажется, значит то же, что на русском *прекрасное*. Вы везде изволите и на русском языке переводить словом *доброе*. От этого, мне кажется, в некоторых местах выходит неполный смысл. Например, в конце 27-го слова Исаак Сирин, кажется, приписывает второму чину разума совершение и *доброе* (по естеству), и *изящного*. По-словенски первое названо *благое*, а второе — *доброе*. Поэтому всю деятельность изящных искусств можно отнести к области разума этой степени. Если же слово *изящное* или *прекрасное* заменить словом *доброе*, то весь этот смысл пропадает» *.

Такая тщательная и внимательная работа над каждым словом и выражением, обозначающими понятия духовной жизни, соединение высокой академической науки с духовной опытностью обеспечивали высокий уровень изданий Оптиной Пустыни.

Митрополит Филарет, просмотрев готовый перевод творений Исаака Сирина, одобрил его, внося некоторые дополнения. В марте 1853 года он писал старцу Макарию:

* Из письма И.В. Киреевского к о. Макарию от 21 августа 1852 г. // Там же. С. 331.

«Помолитесь о нас, борющихся с волнами людей и дел, да не погрязнем, но да касаемся, хотя несколько, берега тишины и свободы. Несколько месяцев прошло, доколе я нашел, наконец, время оторваться от дел неволи, чтобы заняться делом желаемым — чтением рукописи св. Исаака Сирина, приготовленной Вами к печатанию, но и теперь, не кончив сего, принужден возвратиться к окружающим меня неизбежным делам должности. Около половины книги читал я непрерывно, внимая учителю и Вашим толкованиям. Далее просматривал некоторые места, но не могши продолжать и опасаясь еще надолго остановить дело, решаюсь завтра послать рукопись к цензору. Простите меня, что я дерзновенною рукою коснулся некоторых примечаний Ваших, не имея возможности предварительно изъяснить Вам, почему так коснулся. Некоторые места книги темны в греческом, также как и в славянском тексте. Вероятно, сему причиною, между прочим, греческий переводчик с сирского. Некоторые примечания на такие места показались только догадочными и недовольно соответствующими греческому тексту. В таких случаях мне показалось лучшим оставить место темным, нежели подвергать опасности дать читателю нашу мысль, вместо мысли св. Исаака Сирина. В некоторых случаях мне показалось, что толкование не соответствует духу учения. Таково следующее место в слове 44. Текст: *безмолвие простое посреде правды укорно есть*. Примечание к слову — простое: *без гувства благодатных действий*. Неужели всегда, когда не ощущаются благодатные действия, безмолвие уже есть укорно, или достойно осуждения? И добрые подвижники тотчас ли получают ощущение благодатных действий? И у достигших, не скрываются ли иногда сии ощущения, по несовершенству или смотнительно? — Почему я изменил сие толкование так: *без других подвигов и добродетелей*. В сем смысле сделано замечание и в греческой книге. Одно толкование не решился я переменить сам собою и представляю о сем при сем записку. Если согласитесь на предлагаемую перемену, то

возвратите предлагаемое мною толкование, дабы передать оное цензорам для внесения в рукопись. О изменениях меньшей важности, которые позволил я себе сделать, говорить не нужно и по немалому числу их неудобно»*.

В ответном письме старец Макарий писал: «Ваше Высокопреосвященство, милостивый отец и архипастырь! Высокое смирение Вашего высокопреосвященства, явленное в своеручном писании Вашем от 9 числа сего марта, коим удостоили мою худость, до глубины души тронуло меня, и еще более дало познать и видеть мою нищету, и навело боязнь, да не будет мне на осуждение таковое снисхождение Ваше. Молчанием обротеваю** ум мой и, повергаясь мысленно к святительским стопам Вашим, безгласное приношу благодарение. При многотрудных и многосложных подвигах и попечениях Вашего Высокопреосвященства о великой пастве пространного нашего отечества, Вы изволили уделить время на прочтение рукописи св. Исаака Сирина, по благоволению и благословению Вашего Высокопреосвященства приготовленной нами к напечатанию, с толкованиями или пояснениями на некоторые неудобопонятные места славянского текста, и удостоили слабый труд наш Вашего архипастырского внимания, рассмотрев оный. Это сродно токмо высокой особе Вашей и Вашей любви к распространению духовного учения святых отцов для питания оным чад Православной нашей Церкви. Представляя сию рукопись Вашему Высокопреосвященству, мы никак не смели считать наши пояснения точными и правильными; но утешались надеждою, что Ваше Высокопреосвященство обратит на них милостивое внимание, и, быв осчастливлены оным, почитаем из-

* Из письма митрополита Филарета к о. Макарию от 9 марта 1853 г. Опубликовано: Иеромонах Ераст (Вытropicкий). Историческое описание Козельской Оптиной Пустыни и Предтечева скита (Калужской губернии). Изд. Свято-Введенской Оптиной Пустыни, 2000. С. 256—258.

** Т.е. заграждаю (ц.-сл.).

менения, сделанные Вами, справедливыми и святыми. Зная просвещенный разум и опытность Вашего Высокопреосвященства, с любовью и чувством невыразимой благодарности лобызаем мысленно святительскую вашу десницу, потрудившуюся в сем исправлении наших погрешностей. В некоторых же темных местах мы, хотя и дерзали делать пояснения, не желая оставить их так, но если Ваше Высокопреосвященство изволите находить, что лучше оставить темное темным, нежели основываться на догадочных мыслях, то веруем, что Господь возвестил Вам сие, и это, без сомнения, будет надежнее и полезнее.

Касательно двух мест, на которые Вы изволили сделать замечания и изменения, осмелимся доложить Вашему Высокопреосвященству, как мы понимали, не считая, впрочем, нашу мысль за правильную. В 44 слове на слова: *безмолвие простое посреди правды укорно есть* сделано нами пояснение: *без ощущения благодатных действий*. Ваше Высокопреосвященство справедливо изволили заметить, что подвижник может не иметь сих ощущений, не доспев еще до сего, или по другим причинам, но мы имели в виду повыше сих строк исчисленные действия преуспевания безмолвия и рассматривали слова: *безмолвие простое посреди правды укорно есть*, только по отношению к оным, в высоком устроении находящимся людям, а не в таком разуме, чтобы простое безмолвие вовсе было укорно или осуждения достойно: в нем, конечно, есть свои степени и умаления и приращения по мере духовного возраста каждого. Мы так понимали, но не могли вполне выразить нашу мысль. Исправление же Ваше: *без других подвигов и добродетелей* — ближе к понятию многих и точнее, ибо от совершення подвигов бывает и преуспевание в благодатных ощущениях.

В 21 слове наше замечание на тексте: *густота есть забвение разума сущих грез естество, обретенных в мире от естества*, не выражает настоящего разума и точности, а замечание Вашего Высокопреосвященства очень ясно и правильно, и мы смирен-

но просим заменить оным наше ошибочное, если есть на сие Ваше соизволение» *.

В марте 1854 года книга «Святого отца нашего Исаака Сирина, епископа бывшего Ниневийского, слова духовно-подвижнические, переведенные с греческого старцем Паисием Величковским» была напечатана тиражом в 2400 экземпляров. Цена издания составляла 2 рубля **. Митрополит Филарет пожертвовал на издание 100 рублей, а также «выражал заботу о том, чтобы издание книг, при щедродарительности оптинских старцев, окупалось продажей их, дабы на эти деньги можно было печатать другие книги» ***.

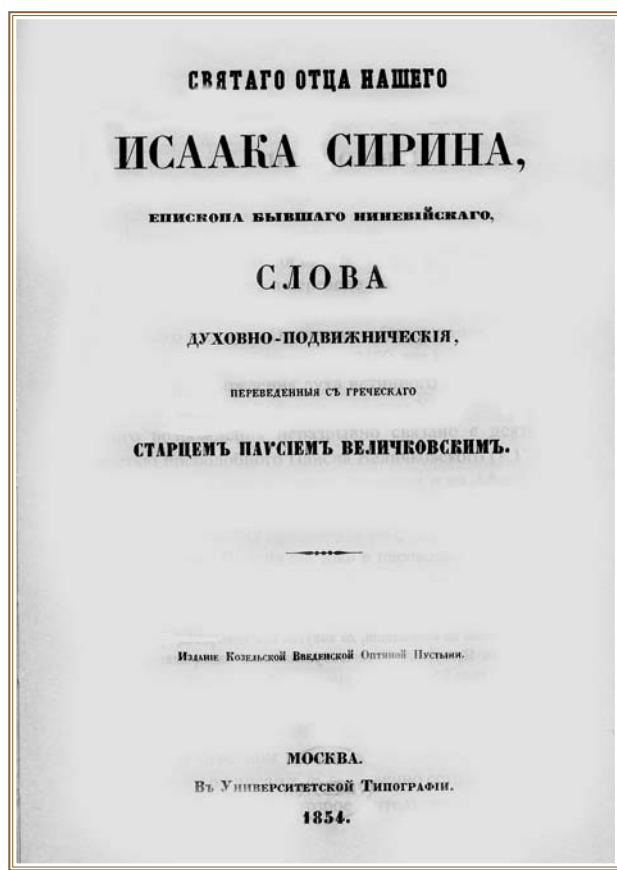
В издании был полностью сохранен перевод преп. Паисия (Величковского), а в постраничных сносках были предложены необходимые пояснения. Таким образом, издатели донесли до читателей без каких-либо искажений точный перевод преп. Паисия, в то же время снабдив его подробными примечаниями. К тексту был приложен пространный предметный алфавитный указатель, составленный самим старцем Макарием. Первый жизнеописатель старца Макария архимандрит Леонид (Кавелин) называл издание этой книги «драгоценнейшим из всех изданий Оптиной Пустыни» ****.

* Из письма о. Макария к митрополиту Филарету от 17 марта 1853 г. Опубликовано: Иеромонах Ераст (Вытropicкий). Историческое описание Козельской Оптиной Пустыни и Предтечева скита (Калужской губернии). Изд. Свято-Введенской Оптиной Пустыни, 2000. С. 258–260.

** См.: Каталог книг, изданных Козельской Введенской Оптиной Пустынью (НИОР РГБ. Ф. 213. К. 39. Ед. хр. 5), где указаны цены на издания. Например, книга «Житие и писания Паисия Величковского» стоила 1 р. 50 коп., «Преподобных отцев Варсануфия Великого и Иоанна руководство к духовной жизни в ответах на вопрошения учеников» — 2 р., Лествица в русском переводе — 1 р. 25 коп., «Житие схимонаха Феодора» — 10 коп. и т. д.

*** Жизнеописание оптинского старца иеросхимонаха Макария. М., 1997. С. 153.

**** Сказание о жизни и подвигах блаженного памяти старца Оптиной Пустыни иеросхимонаха Макария / Сост. и [еромонах] Л[еонид (Кавелин)]. Изд. Введенской Оптиной Пустыни, 1995. С. 168.



Титульный лист издания 1854 г.

Первые экземпляры издания были получены в Оптиной на Пасху 1854 года. Радость старца Макария, всех его искренних соратников и близких учеников была велика. В памятной записке старец Макарий записал: «Итак, сия богодухновенная книга (св. Исаака) помощью Божиею напечатана благословением владыки, и первые три экземпляра оной (в переплете), присланы к нам в обитель на светлой неделе, 13 числа (апреля 1854 г.), на третий день праздника, как самый приличный подарок для Светлого праздника». В письме к своим севским племянницам он добавлял: «Иван Васильевич и Наталья Петровна (Киреевские) все усилие употребили докончить к Пасхе. Почти даже и невозможно было сего сделать»^{*}.

Архимандрит Оптиной Пустыни преп. старец Моисей уже по сложившей-

ся традиции безвозмездно послал книгу Исаака Сирина во все библиотеки духовных учебных заведений: академий и семинарий; почти всем епархиальным преосвященным, ректорам и инспекторам духовных академий и семинарий; в лавры и во все общежительные русские обители, на Афон, а также во многие приходские церкви.

С особой благодарностью было отправлено издание слов Исаака Сирина в Нямецкий монастырь. Нямецкая обитель, по достоинству оценив труд старца Макария по изданию книги, прислала о. Макарию камлотовую^{*} рясу греческого покроя. Старец Макарий одевал ее только тогда, когда приступал к принятию Святых Таин. А перед своей кончиной старец передал ее о. Илариону, своему близкому ученику и последователю в старческом служении.

Ученики старца Макария, которые трудились с ним над переводом слов Исаака Сирина, о. Леонид (Кавелин) и о. Ювеналий (Половцев) в ноябре 1857 года были назначены в Русскую духовную миссию в Иерусалиме, где пробыли два года. Зная постоянный интерес старца Макария к святоотеческим рукописям, в 1858 году о. Леонид прислал в скит славянскую рукопись «**Словеса постническия преподобного Исаака Сирина**», написанную в 1389 г. на Афоне (НИОР РГБ. Ф. 214. Опт. 462)^{**}. Эта рукопись и поныне является самой древней в фонде Оптиной Пустыни. На л. 1 об. рукою старца Макария была сделана запись, в которой пояснялась история рукописи:

«Сия книга святого Исаака Сирина как драгоценная редкость и подарок прислана в Оптину Пустынь в скит находящимся в Иерусалиме при Духовной миссии сего скита иеромонахом Леонидом Кавелиным иеромонаху Макарию Иванову. Обретенная

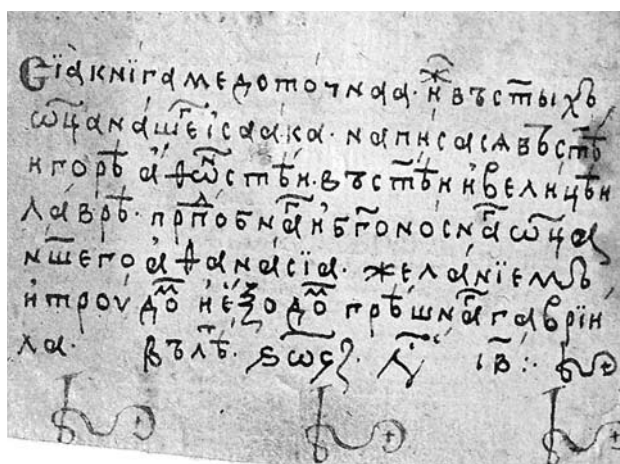
^{*} Камлот — суровая шерстяная ткань.

^{**} 4 листа из данной рукописи находятся в собрании Порфирия Успенского (ГПБ. Q1 903), они должны быть помещены между 305 и 306 листом рукописи.

^{*} Жизнеописание оптинского старца иеросхимонаха Макария. М., 1997. С. 153.



Слова постнигеские преподобного Исаака Сирина. 1389 г. НИОР РГБ. Ф. 214. Опт-462. Л. 2об.-3



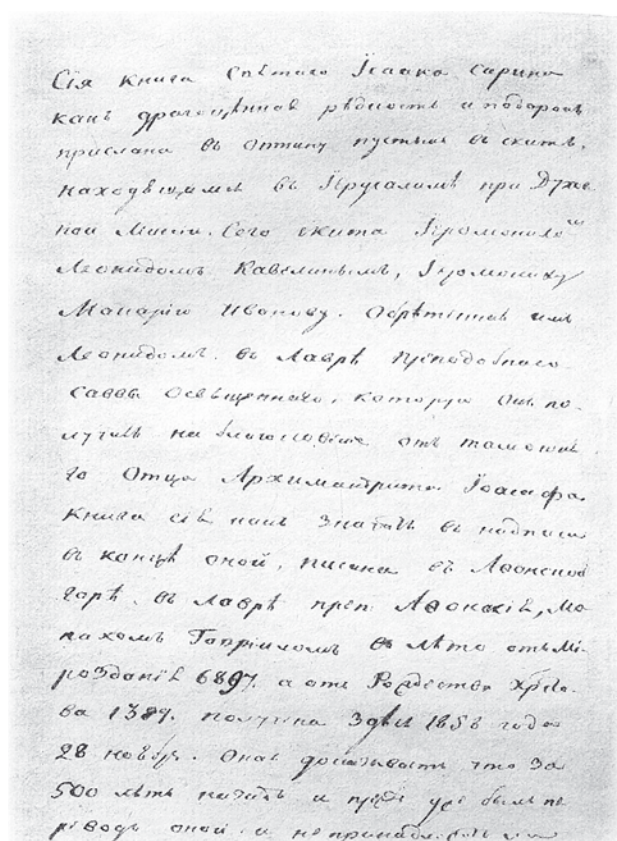
Слова постнигеские преподобного Исаака Сирина. 1389 г. НИОР РГБ. Ф. 214. Опт-462. Л. 474 об. Запись писца Гавриила о выполнении рукописи в Лавре св. Афанасия в 1389 г.

им, Леонидом, в лавре преподобного Саввы Освященного, которую он полугил на благословение от тамошнего отца архимандрита Иоасафа. Книга сия, как знагит в надписи в конце оной, писана в Афонской

горе, в лавре преп. Афанасия монахом Гавриилом в лето от мироздания 6897, а от Рождества Христова 1389. Полугена здесь 1858 года 28 ноября. Она доказывает, что за 500 лет назад и прежде уже был перевод оной, и не принадлежит ли к временам Константина и Мефодия или их последователей. Иеро<м>. Макари<ий>; ниже приписка: «По ветхости переплетена и согнities листов в корне, книга сия переплетена здесь иеромонахом Исаакием Антимоновым в марте месяце 1859 г.»

В записи преп. Макария повторены писцовая запись (л. 474 об.) и запись о новом переплете (л. 475), выполненном будущим настоятелем Оптиной Пустыни схиархимандритом Исаакием (Антимоновым):

«Книга сия была в весьма ветхом переплете, и листы в корне от сырости погнили, потому здесь уже в скиту листы подклеены и вновь переплетены 1859 года в марте месяце иеромонахом Исаакием Антимоновым».



Слова постнигеские преподобного Исаака Сирина. 1389 г. НИОР РГБ. Ф. 214. Опт-462. Л. 1об. Запись-автограф преп. Макария (Иванова)

Сохранившиеся рукописи второй половины — конца XIX века свидетельствуют о том, что работа над сочинениями Исаака Сирина продолжалась, в частности, над переводом на русский язык*.

Русский перевод 30 слов Исаака Сирина, как отмечалось выше, был напечатан в «Христианском чтении». В 1854 г. вышел в свет полный русский перевод, выполненный с греческого языка в Московской духовной академии. Как писал профессор Московской духовной академии Сергей Соболевский, «перевод 30 слов в “Христианском чтении” — довольно удачен и литературен, но зато иногда волен, перевод Московской духовной академии — бук-

вальнее, но зато темнее»*. Учитывая эти недостатки, профессор Сергей Соболевский подготовил новый перевод творений Исаака Сирина на русский язык, в значительной степени опираясь на перевод преп. Паисия, о чем и было сказано в предисловии к изданию: «Перевод был сверен с переводом старца Паисия Величковского, и во множестве мест, где оказывались между ними разногласия по смыслу или вообще где русский перевод внушал подозрения, он был сличен с греческим текстом по изданию Никифора Феотокиса (1770 г.), а в некоторых местах еще и с греческими рукописями Московской Синодальной библиотеки. Но так как и греческий текст представляет собой также перевод, хотя и древний с сирийского языка, на котором св. Исаак писал, то мы сочли полезным обращаться иногда и к новейшим переводам прямо с сирийского, которые имеются в западно-европейской литературе. <...> Во многих случаях в виду трудности для понимания высоких мыслей св. Исаака, мы сочли необходимым сделать пояснительные примечания к тексту перевода, частью (очень немногие) наши собственные, а большей частью заимствованные нами из примечаний к переводу Паисия в печатном издании 1854 г. и из примечаний в греческом издании Никифора Феотокиса»**.

Уже в наше время был опубликован перевод с сирийского новых творений Исаака Сирина «О божественных тайнах и о духовной жизни», подготовленный иеромонахом Иларионом (Алфеевым)***.

Издание слов Исаака Сирина 1854 года, подготовленное в Оптиной Пустыни, являлось авторитетнейшим источником

* Сергей Соболевский, профессор Московской духовной академии. Сведения о преподобном Исааке Сирине и его писаниях / Иже во святых отца нашего Аввы Исаака Сириянина Слова подвижнические. М., 1993 (репринт с изд. Сергиев Посад, 1911). С. X.

** Там же. С. XI—XII.

*** Преподобный Исаак Сирин. О божественных тайнах и о духовной жизни: новооткрытые тексты/ Перевод с сирийского, примечание и послесловие иеромонаха Илариона (Алфеева). М., 1998.

* См. НИОР РГБ. Ф. 214. Опт-469—473. А также «Сравнительные таблицы переводов с греческого языка на славянский и русский словес постнических Исаака Сирина» (НИОР РГБ. Ф. 214. Опт-477) и др.



Слова постнигеские преподобного Исаака Сирина в переводе преподобного Паисия Величковского.
Сер. XIX в. Писарской список. Миниатюра с изображением преподобного Исаака Сирина.
НИОР РГБ. Ф. 214. Опт-468. Л. 27 об.

для всех последующих переводов творений Исаака Сирина.

Говоря о значении издания Оптиной Пустынью духовно-подвижнических слов Исаака Сирина, и шире — всего комплекса святоотеческой литературы, можно заметить, что «если по всей справедливости старцу Паисию принадлежит честь обновителя русской иноческой жизни и первого русского инок — наставника и руководителя в аскетическом чтении, то и Оптиной Пустыни следует приписать ту

великую заслугу, что она явилась лучшею и единственною в России продолжательницею дела Паисиева. И ее литературно-издательская деятельность — прямое продолжение переводческих трудов старца Паисия»^{*}.

^{*} Старцы: о. Паисий Величковский и о. Макарий Оптинский и их литературно-аскетическая деятельность // Отечественные подвижники благочестия. Изд. Введенской Оптиной Пустыни, 1996. Сентябрь. С. 476—477.



Варвара Каширина, Галина Черкасова

К истории иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»

Любовью и надеждой в печалях и радостях молимся мы Пресвятой Богородице, Заступнице рода христианского, перед Ее чудотворными иконами, которых на Руси «как звезд на небе».

Есть среди них одна, особо почитаемая в Оптиной Пустыни, благословленная старцем Амвросием, великим утешителем земли Российской. Старец назвал эту икону «Спорительница хлебов» и установил ее празднование 15/28 октября — после времени окончания жатвы и уборки урожая. Спустя некоторое время именно в этот день тело старца было предано земле.

Перед иконой молятся об умножении плодов земных и небесных, просят благословения на труд. В акафисте поется: «Хотящим жати спасение, яко село сладкое, показалася еси, Владычице, от него же питающися, имамы пищу вечную и нетленную. Мы же, земнии суще, молим Тя, Пречистая Дево, покажи силу Твою на жатве нив и полей наших, егда приидет время их, и всяк злак да изобилует на утешение нас, поющих Богу: Аллилуиа» (Кондак 7).

История создания иконы представлена практически во всех жизнеописаниях преподобного Амвросия. В частности, говорится, что «в 1890 году прислана была ему настоятельницею Болховского женского монастыря, игумениею Илариною, особенная икона Божией Матери. Царица Небесная представлена сидящею на облаках. Руки Ее простерты на благословение. А внизу, среди травы и цветов, стоят и лежат ржаные снопы. Изображение Матери Божией собственно есть снимок с написанного Ее лика на иконе «Всех святых», находящейся в Болховском женском мо-

настыре; а снопы ржаные написаны по желанию и назначению старца Амвросия, который и дал этой иконе наименование «Спорительницы хлебов». Горячие молитвы возносил старец пред этой иконою; учил и понуждал молиться пред нею и собранных им в общине духовных чад своих. В последний год своей жизни он делал снимки с этой иконы и раздавал и рассылал многим и из посторонних своих почитателей. А незадолго до последней своей болезни в честь этой иконы он составил особый припев к обычному Богородичному акафисту* (Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою! Подаждь и нам, недостойным, росу благодати Твоея и яви милосердие Твое)».

Икона с необычной иконографией, исполненная глубокого духовного содержания, изображала Божию Матерь над созревшими хлебными снопами, благословляющую русскую землю. В последние годы жизни тяжело больной старец, находясь подолгу в Шамординской обители и будучи обеспокоенным ее судьбой, горячо молился Богородице о покровительстве и заступничестве; тогда-то и возник замысел иконы. Тихая величественная красота русской земли благословляется Царицей Небесной с этой иконы. Невольно вспоминается описание этой обители, основанной по благословению преподобного Амвросия. «Весь огромный горный скат покрыт густым лиственным лесом. А там глубоко-глубоко у подошвы горы в ложбине, среди изумруд-

* Жизнеописание в Бозе почившего оптинского старца иеросхимонаха Амвросия / Сост. Агапит (Беловидов), архим. Изд. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1992 (репринт). Ч. II. С. 103.



*Преподобный Амвросий (Гренков), старец Оптиной Пустыни. 1902 год. Оптина Пустынь.
Иеромонах Даниил (Болотов). Холст, масло. 67.5x70.3 ЦАК МДА РЖ 18. Передан из
Патриарших покоев Троице-Сергиевой Лавры в 1970-е годы. Справа внизу темно-коричневая
подпись: «Художникъ Даниилъ Болотовъ Оптина Пустынь 1902. 15 Июля».
Публикация: Духовные светози России. Кат.215. Каталог. Москва, 1999*

ной зелени, серебряной лентой изгибается небольшая речка Серена. За нею луга, и далее вправо к югу-западу — холмистая местность, сливающаяся с голубым небом. Все это летом зеленеет и пестреет от множества мелких цветов, рассыпанных щедрою Творческой рукой. Левее на юго-восток глаз любопытного наблюдателя, чрез крестьянские поля, засеянные разным зерно-

вым хлебом, пробегает пространство верст на 10-ть, если не более. И там в конечной дали виднеется Оптинский хутор над рекой Жиздрой, а за ним вековой бор, отуманенный прозрачною воздушной синевою» *.

* Жизнеописание в Бозе почившего оптинского старца иеросхимонаха Амвросия / Сост. Агапит (Беловидов), архим. Изд. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1992 (репринт). Ч. I. С. 111.

Икона «Спорительница хлебов» имела непростую историю, некоторые страницы которой мы и предлагаем читателям.

Сразу по кончине старца в Оптиной Пустыни стали собирать материалы об иконе «Спорительница хлебов». Сохранившаяся переписка по поводу иконы позволяет, с одной стороны, сообщить некоторые новые факты из истории создания образа, с другой — пояснить уже известные.

Одним из первых, кто попытался обобщить все сведения об иконе, был письмоводитель старца Амвросия о. Ераст (Вытропский), впоследствии составивший «Историческое описание Козельской Оптиной Пустыни и Предтечева скита» (1902 г.). Помимо уже известных фактов, он указывает следующий повод написания иконы: «Житель северной губернии, в первый раз в жизни увидев черноземные хлебные поля, поражен был видом беспредельного, как море, пространства, волнообразного, наполненного сжатыми снопами хлеба. В уме зрителя явился вопрос: чем же народное религиозное сознание выразило свою благодарность за тучное поле к Промыслу и в особенности к Покровительнице рода христианского Пресвятой Деве Богоматери. Есть икона Покрова, но ее происхождение византийское и идея ее — избавление от всякого зла. Между тем, каждая русская крестьянка-хозяйка постоянно молится о том, чтобы была скорость в хлебе. С этими мыслями в октябре 1889 г. прибыл он к старцу и по окончании рассказа только что хотел было добавить старцу о своих дорожных впечатлениях, старец предупредил его вопросом: «У меня многие просят икону Божией Матери на благословение. Как ты думаешь, какую бы написать, Покров что ли?» Пересказав старцу свои впечатления, этот северянин напомнил, что в России, стране по преимуществу земледельческой, нет иконы, выражающей благословение Божией Матери на урожай хлебов. «Да, — такой нет, — сказал старец». Можно бы изобразить Божию Матерь в облаках, благословляющую снопы в полях. А название этой иконе можно бы придать «Споритель-

ница хлебов»*. Позже, в феврале 1890 г., икона была доставлена из Болховского монастыря.

Кто был тот «житель северной губернии», который фактически, по словам о. Ераста, предложил идею иконы, остается неизвестным.

Еще одна версия возникновения образа «Спорительницы хлебов» была предложена известным одесским издателем Е.И. Фесенко, который сотрудничал с Оптиной Пустынью. Так, в письме к настоятелю обители о. Ксенофону от 14 февраля 1912 г. Е.И. Фесенко писал, что при печатании образа Божией Матери он хотел бы рассказать краткую историю иконы, составленную им на основании рассказов братии: «Будучи еще молодым иноком, старец Амвросий прибыл в Оптину Пустынь, и, вручив сию икону игумену, просил принять его в число братии. Игумен заметил: «Наша обитель столь бедна, что нуждается в насущном хлебе, и даже часть братии разбрелась, не будучи в состоянии переносить голод. Ты же молод и не будешь мириться с голодом». Юный Амвросий ответил: «Я вместе с братией стойко буду переносить лишения, но возьмите от меня святой образ сей и молитесь ему, и Богоматерь услышит Вашу молитву и избавит Вас от нужды». Игумен внял просьбе Амвросия и принял его в число братии, а всю ночь, запершись в келлии, молился перед св. образом. На другой день после сего от какого-то неизвестного помещика в обитель было прислано три подводы муки, а через несколько дней еще несколько мешков ржи для обсеменения полей, и с тех пор обитель не имела нужды в хлебе, а образ получил от всех жителей наименование Спорительницы хлебов»**.

Сказать определенно, насколько изложенные выше истории создания образа соответствовали действительности, сложно. Известно, что особо чтимыми иконами для

* НИОР РГБ. Ф. 213. К. 39. Ед. хр. 4. Л. 101.

** НИОР РГБ. Ф. 213. К. 39. Ед. хр. 4. Л. 123.

старца Амвросия были образы Богоматери Тамбовской — родительское благословение, и Богоматери «Скоропослушницы», присланной из Афонской часовни, перед которыми в келлии старца теплились неугасимые лампы*.

Икона «Спорительница хлебов» за короткое время стала необычайно почитаться верующими. Этому способствовали чудотворения от образа, о которых упоминалось в жизнеописании старца: «...первым чудом милости Божией и заступления Царицы Небесной, по молитвам благодатного старца пред этою святою иконою, можно считать то, что, хотя последний год земной жизни его был вообще на Руси голодный, но в пределах Калужской епархии и, в частности около Шамординской общины, хлеб родился. Затем, хотя рожь в это время была дорога, однако старец, еще при жизни своей, успел столько ею запастись, что во весь этот год, и даже следующий за ним, в обители, несмотря на многочисленность ее насельниц, недостатка в хлебе не было. «Спорительница хлебов» помогла.

В следующее затем лето, уже по кончине Старца Амвросия, послушником Оптиной пустыни, Иваном Феодоровичем Ч-м, из дворян, написанная им самим икона Божией Матери «Спорительницы хлебов» послана была в Пятницкую женскую общину Воронежской епархии. Там по случаю сильной засухи, грозившей неминуемым голодом, совершено было молебствие пред нею; после чего вскоре пошел дождь, и обитель с окрестностями спасена была от голода. По той же причине много нашлось почитателей старца Амвросия, желавших иметь у себя эту икону**.

* Четвериков С., протоиер. Описание жизни блаженной памяти Оптинского Старца Иеросхимонаха Амвросия в связи с историей Оптиной Пустыни и ее старчества. Составлено по прежним жизнеописаниям и по новым источникам. Изд. Козельской Оптиной Пустыни, 1912. С. 177.

** Жизнеописание в Бозе почившего оптинского старца иеросхимонаха Амвросия / Сост. Агапит (Беловидов), архим. Изд. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1992 (репринт). Ч. II. С. 103–104.

Чтобы подробнее изучить историю создания образа «Спорительницы хлебов», необходимо было искать новые архивные свидетельства.

Как известно, в начале лета 1889 г. старец заказывает особый список с иконы «Всех святых» Болховского Всесвятского монастыря*, который был готов к февралю 1890 г. Настоятельница Болховского монастыря игумения Илария** в январе 1894 года сообщала в Оптину Пустынь: «...в начале июня 1889 г. казначея нашего монастыря монахиня Сергия была у старца отца Амвросия, при прощании с ним он ей приказал сказать мне, чтобы я приказала сделать список с Божией Матери, которая на иконе Всех святых, у нас местная, и подписать «Спорительница хлебов», прислать ему, такую же оставить себе в монастыре и поставить в амбаре для того, чтобы не было оскудения хлеба. Мною исполнено все, как он приказал. В феврале 1890 г. я сама отвезла икону, подавая ему, спросила, хорошо ли написана. Он ответил: «Хорошо, а я думал, что ты не исполнишь моего желания». И спросил: «А у себя оставила такую же?». Я ответила: «Да». Но ни мне, ни казначеи нашей (я ее спрашивала) не сказал, с каким намерением и куда назначил эту икону. В это время старец жил в Оптике***.

* Болховский Богородично-Всесвятский монастырь был основан в 1853 г. как женская община тульской помещицей Софьей Иосифовной Трубицыной (впоследствии иг. София). В 1856 г. община была принята в духовное ведомство с представлением в ее пользование Всесвятской кладбищенской церкви. В 1875 г. община была переименована в общежительный монастырь.

** В «Списке настоятельниц женских монастырей и общин» за 1889 г. сообщается, что игумения Илария, 63 лет, из дворян, в учебном заведении не обучалась. В монастырь поступила 19 августа 1859 г., в монашество пострижена 13 июля 1875 г. До пострижения была надзирательницей в монастырской рукодельной. В настоятельской должности состоит с 24 июня 1885 г. См.: Список настоятельниц женских монастырей и общин. СПб., 1889.

*** НИОР РГБ. Ф. 213. К. 39. Ед. хр. 4. Л. 120–120 об.

В статье Л.А. Щенниковой, посвященной иконе «Спорительнице хлебов»^{*} и вышедшей в 1996 году, ошибочно назван художник, который мог бы выполнить замысел старца. Это иеромонах Даниил (Болотов), родной брат настоятельницы Шамординской обители Софии. Нам, однако, не удалось найти этому подтверждение. Более того, имя о. Даниила ни разу не встретилось в архивных документах, что практически опровергает эту версию.

Распространившееся в современной литературе мнение об авторстве о. Даниила (см. Духовные светочи России, М. 1999; Православная Энциклопедия, М. 2001, т. 2; и пр.) опровергает и исследователь его жизни и творчества А.Л. Толмачев: «ни по технике, ни по стилю исполнения икона не может быть приписана кисти Болотова, тем более что никаких связей с Болховским монастырем у него не было. Если бы старец Амвросий хотел привлечь Дмитрия Михайловича <Болотова>, он поручил бы исполнение этого образа шамординской иконной мастерской»^{**}, основанной о. Даниилом.

Опубликованная в 2001 году эта работа А.Л. Толмачева, к сожалению, не была принята во внимание м. Екатериной (Филипповой), автором статьи о старце Амвросии в Православной Энциклопедии. В выпущенном в том же 2001 году 2-м томе издания, иконописец обители м. Даниил (Болотов) также указан как исполнитель образа Божией Матери «Спорительница хлебов». (Православная Энциклопедия М. 2001, т. 2, стр. 136)

Интересное свидетельство о распространении иконописного образа находим в письме Е.И. Фесенко от 14 февраля 1912 г.:

^{*} Щенникова Л.А. Прославленные иконы Пресвятой Богородицы у преподобных старцев Серафима Саровского и Амвросия Оптинского // Искусство христианского мира: сборник статей. Вып. 1. М., 1996. С. 120.

^{**} Толмачев А.Л. Отец Даниил (Болотов) — оптинский иконописец и портретист / 2000-летию Рождества Христова посвящается. М., 2001. С. 211.

В этой же статье отмечены основные художественные приемы о. Даниила как профессионального портретиста и иконописца, а также приведены свидетельства современников о его работах.



Икона Богородицы «Спорительница хлебов». 1890-е годы. Дерево, грунт, масло. 11.9х9.4. ЦМиАР КП 3269. Публикация: Духовные светочи России. Кат.216. Каталог. Москва, 1999

«Слишком 20 лет тому назад, <...> иеродиакон о. Трефилий <...> водил меня в скит к старцу Амвросию и с его благословения тогдашний игумен, <...> вручил мне икону Божией Матери Спорительницы хлебов, писанную на холсте, и просил отпечатать с него несколько тысяч экземпляров образков на бумаге, форматом 5х6 вершков. <...> образки разошлись, а камни, на которых был сделан рисунок иконы, уничтожены; но требования на этот образок не прекращаются, что и заставляет меня повторить печатание этого образка...»^{*}

Отвечая на многочисленные запросы верующих, собранные и обобщенные монастырем сведения по истории иконы в 1894 году были направлены в редакцию «Церковных ведомостей». Однако статья

^{*} НИОР РГБ. Ф. 213. К. 39. Ед. хр. 4. Л. 122–123.



Икона Божией Матери «Спорительница хлебов», написанная по благословению о. Амвросия в 1891 году и принадлежащая старцу

«Сведения об иконе Божией Матери «Спорительница хлебов» не была опубликована.

В письме от 27 июля 1894 г., присланном из редакции в Оптину Пустынь, говорилось: «...присланная Вами статья «Сведения об иконе Божией Матери «Спорительница хлебов» по докладу господину обер-прокурору Святейшего Синода, Его Высокопревосходительством признана неудобною к напечатанию в виду определения Святейшего Синода от 20 мая — 3 июня 1892 года за № 1217, коим отклонена просьба московского купца Перлова* о разрешении отпечатать изображение Божией Матери под названием «Спорительница хлебов». В означенном определении отказ объяснен опасением, что «распространение такого изображения с необычным в Право-

* Участие Перлова в этом деле не было случайным. Искренний ученик преподобного Амвросия, он по завещанию старца поддерживал Шамординскую обитель.

славной Церкви наименованием Божией Матери может возбудить в народе неправильные и нежелательные толки»*.

Запрещение Святейшего Синода почитать прославленную старцем Амвросием икону было связано с необычной иконографией и наименованием образа Божией Матери, а также с неоднозначным отношением духовных властей к личности старца Амвросия.

Однако время опровергло определение Святейшего Синода. Вопреки запрещению Синода, изображения иконы «Спорительница хлебов» продолжали распространяться по России; с образа делались как живописные списки, так и литографии. Любовь и доверие к старцу, безграничная вера в заступничество Богоматери сделали эту икону истинно народной.

Иконе «Спорительница хлебов» посвятил стихотворение известный поэт конца XIX века Вячеслав Иванов:

Есть в Оптиной Пустыни
Божия Мать Спорительница.
По видению старца Амвросия
Написан образ Пречистой:
По краю земли дивное
Богатство нивное;
Владычица с неба
Глядит на простор колосистый;
Спорятся колосья
И множатся в поле снопы золотистого
хлеба...
Тайные Церкви глубин святорусских
Затворница,
Руси боримой со светлыми духи
Поборница,
Щедрая Благотворительница,
Смут и кровей на родимой земли
Умирительница,
Дай нам хлеба вскорости
Добрым людям спорости,
Матерь Божия Спорительница!

О развитии иконографии во времени позволяют судить приводимые иллюстрации.

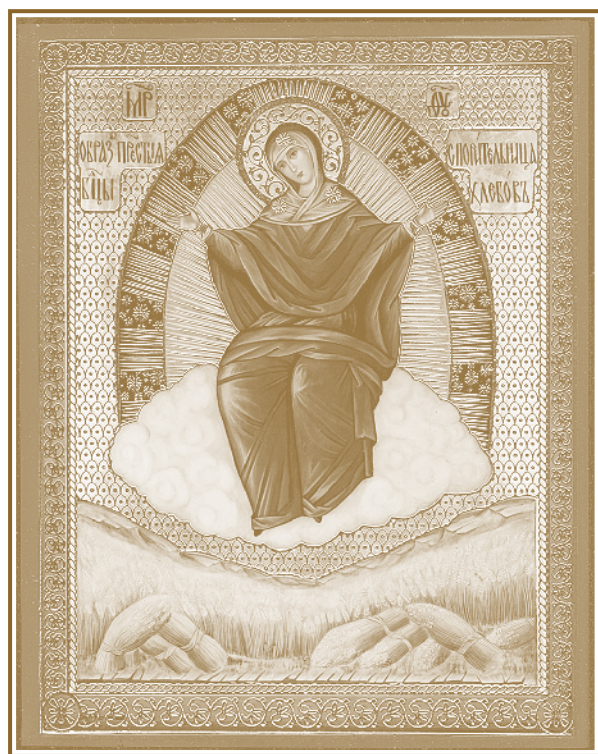
* РГИА. Ф.797. Д.66. Ед.хр. 143. Отд. III. 3 ст. Л. 1-6.

Наиболее ранняя — икона 1890-х годов, хранится в музее Древнерусской культуры и искусства им. преп. Андрея Рублева. В работе о. Павла Флоренского «Иконостас» есть слова, как будто относящиеся именно к этому образу: «Мне почему-то припомнился тут Оптинский старец Амвросий с его иконой, т. е. написанной, хотя и недостаточно чутко, художником, проникнутым натуралистическими навыками кисти, иконой «Спорительницы хлебов» ... в полном противоречии со всем строем современной церковной интеллигентности, в противоречии с Синодом ...» *

Этих «натуралистических навыков кисти» уже нет в широко распространенных литографических иконах конца XIX в.

На современных же иконах Богоматерь, сидящая на облаке и благословляющая хлебное поле, чаще всего, окружена овальной мандорлой-сиянием, пронизанной лучами и украшенной звездами.

* Флоренский П. А. Иконостас. М.: Искусство, 1994. С. 83



Икона «Спорительница хлебов».
Новейшая иконография

Нетрудно заметить, что нет единой иконографии, но на каждой иконе с любовью написанная Богоматерь, сидящая на облаке, без Богомладенца, одинаково благословляет поле, питающее нас хлебом жизни; и поле это, разное, — такое, каким его видит иконописец.

В настоящее время икона «Спорительница хлебов» — икона с необычной иконографией образа Богоматери и наименованием — глубоко почитаема верующими. Во многих храмах России есть этот образ, чаще современной иконографии; есть он и на древней нормандской земле, недалеко от Парижа. Городок Провемон последние сорок лет известен как русская Лесна. Здесь находится Свято-Богородицкий Леснинский женский монастырь *, создание

* Свято-Богородицкий Леснинский женский монастырь основан в 1885 году по благословению Оптинского старца Амвросия и св. прав. Иоанна Кронштадтского на западе России в селе Лесне Константиновского уезда Седлецкой губернии.

Место это было известно своей чудотворной русской иконой Божией Матери, явленной в 1683



Икона «Спорительница хлебов» во Введенском соборе Оптиной Пустыни

которого благословили старец Амвросий и св. прав. Иоанн Кронштадтский. Среди святынь, сохранных сестрами обители в скорбном и трудном пути 20 века, есть и икона «Спорительница хлебов», такая же, какая была в келлии старца Амвросия.

И среди множества храмов, словно рассыпанных Создателем небесных жем-

году и находившейся сначала в селе Буковичи, где происходило много чудес и исцелений. Позавидовав славе русской святыни и насильно отобрав икону, латинское духовенство поместило ее в ново-построенном костеле в селе Лесне. В 18 веке католический орден паулинов воздвиг в Лесне большой костел, в который была перенесена чудотворная Леснинская икона Божией Матери, но в 1863 году паулины за участие в польском восстании были удалены, а в 1875 году леснинский костел был передан православным, перестроен и приспособлен к православному богослужению.

Основательницей и первой игуменией Леснинского монастыря была матушка Екатерина (в миру графиня Екатерина Борисовна Ефимовская), считавшая, что монашество должно «служить народу, быть его наставником и руководителем». См. *Игуменья Екатерина. Монастырь и христианский аскетизм.*

Претворяя в жизнь принципы деятельного монашества, матушка Екатерина под духовным руководством и поддержке двух святых земли Российской, за годы своего игуменства превратила Лесну в процветающий монастырь, в религиозно-просветительный и благотворительный центр. Значение монастыря для дела православия в крае, где католичество и униатство было сильно, огромно. Из Леснинской обители образовались и другие монастыри этого края: Вировский, Радечницкий, Теолинский, Красностокский и Березвячешский.

В августе 1915 года, когда фронт стал приближаться, монастырь эвакуируется. Сначала в Петербург, где леснинские сестры пробудут до августа 1917 года, затем в Кишинеvскую епархию.

Осенью 1920 года леснинские монахини переедут в Сербию, сначала в монастырь Куведжин, а через несколько месяцев им предоставят другой монастырь – Хопово, где они со своей святыней, Леснинской чудотворной иконой Божией Матери, пробудут более двадцати лет. Славные традиции монастыря, любовь сестер к Богу и к ближнему, помогали возрождать женские обители на сербской земле, быть духовной опорой русской эмиграции.

Гроза Второй мировой войны прогремела над монастырем, когда область Срема, в которой находился Хоповский монастырь, вошла в новое Хорватское государство. В 1942 году, в канун праздника Покрова, леснинским сестрам было приказано оставить монастырь и отправиться



Храм в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» на территории подсобного хозяйства Оптиной Пустыни

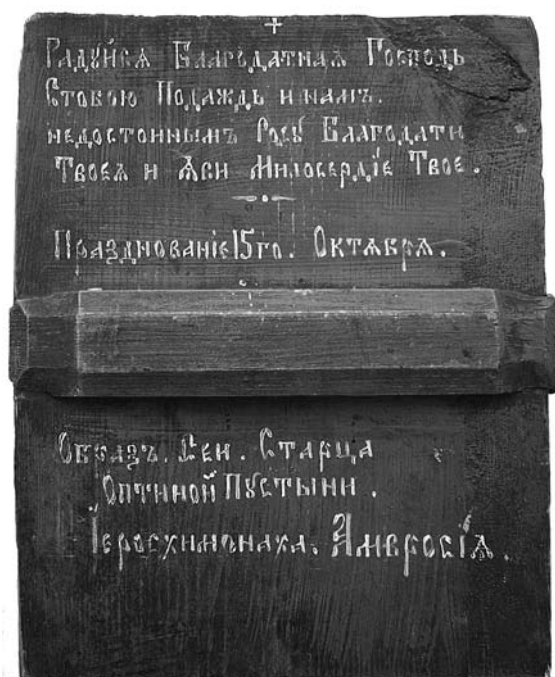
чужин, есть храмы, посвященные этому образу.

В 2000 году храм в честь иконы «Спорительница хлебов» был освящен и на

в Сербию с одним ручным багажом. Только чудесной защитой Богоматери удалось спастись сестрам в этот период грабежей и поджогов, и покинуть Хопово навсегда весной 1943 года.

В Белграде, занятом немцами, леснинские сестры терпели тесноту и голод; здесь же они остались и после взятия Белграда советско-сербскими войсками, уповав на неизменную защиту Божией Матери. Обитель продолжала существовать, пользуясь любовью верующих сербов и русских, сохраняя монастырский устав.

В 1950 году леснинские сестры покинули Югославию, переехав во Францию. Сначала им удалось найти и арендовать дом в окрестностях Парижа в селе Фуркё, затем, весной 1967 года, они покупают старинное поместье в селе Провемон, в 80 км от Парижа. 10(23) октября 1967 года Леснинская чудотворная икона была встречена монахинями и внесена в часовню в доме, а в 1968 году в день сентябрьского праздника Леснинской иконы был освящен восстановленный храм монастыря.



Икона из келлии старца Амвросия в Скиту

территории подсобного хозяйства Оптиной Пустыни.

Нам ничего неизвестно о судьбе той иконы, перед которой старец Амвросий возносил свои святыя и благодатныя молитвы. В 1892 году по указу Святейшего Синода эту икону унесли из Шамординской обители. В современных комментариях к работе о. Павла Флоренского «Иконостас» нам встретилось указание на сообщение епископа Уфимского Анатолия в январе 1988 года в Бергамо, в котором он указывает на то, что эта икона находится в литовской деревне Михново под Вильнюсом*.

Промыслом Божиим в келлии преподобного старца Амвросия в скиту Оптиной Пустыни несколько лет назад появился живописный список с ранних икон «Спорительницы хлебов». Эту икону в 1999 г. передал обители Александр Курочкин из Ростова-на-Дону, у которого образ Царицы Небесной, купленный по случаю, находился около семи лет. Профессиональный реставратор, он открыл надпись на обо-

ротной стороне иконы, скрытую под слоем краски:

Радѣйша Благодѣтельная Господь
Ставлю Подаждь и намъ
недостоннымъ Родъ Благодати
Твоея и Дви Милосердіе Твое.

Празднованіе 15го. Октября.

Еще ниже:

Образъ Св. Старца
Оптиной Пустыни.

Иеросхимонаха. Амвросіа.

Наименование иконы на лицевой стороне «Спорительница Хлеба» написано тем же почерком, что и надпись на обороте.

Зная, что ничего в нашей жизни случайного нет, радуясь, что с обретением этой иконы восстановилась утраченная связь времен, молимся перед благословенным образом и верим, что молитвы наши не остаются неслышанными: «Ничица и неимуция пропитай, старость поддержи, младенцы воспитай, всех вразуми преискренне взывати ко Господу: Хлеб наш насущный даждь нам днесь. Сохрани, Прегрешительница Мати, люди Твоя...».

* Флоренский П. А. Там же. С. 171.



Владимир Добров

Константин Леонтьев в Оптиной Пустыни и у стен Троице-Сергиевой Лавры

Имя К. Н. Леонтьева — русского мыслителя, публициста и писателя — сегодня, после выхода в свет его произведений и писем, вряд ли нуждается в особом представлении. Менее исследована его биография, хотя и здесь, особенно после выхода в 1995 году в Петербурге в серии «Русский путь» двухтомника «К. Н. Леонтьев: Pro et contra» и появления первых семи томов академического Полного собрания сочинений и писем, издаваемого Институтом русской литературы (Пушкинским Домом), сделано уже немало. Почти неизвестной на этом фоне остается духовная биография писателя. А ведь, по словам митрополита Антония (Храповицкого), в лице Леонтьева мы находим «одного из лучших русских людей, одного из недюжинных русских талантов, одного из наиболее преданных Христу и Церкви православных христиан, у которого есть чему поучиться не только желающему верить и спасаться мирянину, но и профессиональному дипломированному богослову». Восполнить хотя бы отчасти этот пробел и призвана настоящая подборка публикаций.

Первый из предлагаемых вниманию читателей материалов — отрывок из кандидатского сочинения по кафедре систематической философии и логики студента Императорской Московской духовной академии Владимира Доброва «Религиозно-этические взгляды К. Н. Леонтьева», написанного в 1916 году, словно в опровержение пророческих слов В. В. Розанова, так отозвавшегося о судьбе мыслителя: «Прошел великий муж по Руси — и лег в могилу. Ни звука при нем о нем; карканьем ворон он встречен и провожен. И лег, и умер в отчаянии, с талантами необыкновенными. ...Точно над ним стоит ангел смерти и мешает ему ожить». Ценность печатаемой работы усугубляется еще и тем обстоятельством, что в распоряжении ее автора были неопубликованные письма К. Н. Леонтьева, в том числе адресованные насельникам Оптиной Пустыни: иеромонаху Клименту (Зедергольму) от 2. 4. 1878 г. из Любани и семь писем (1886—1890) послушнику Ерасту Вытронскому; а также Евангелие на русском языке (СПб., 1864) с собственноручными пометками писателя, принадлежавшее А. А. Александрову.

Вслед за сочинением В. Доброва помещаются три письма К. Н. Леонтьева, посланные из Оптиной Пустыни. Первое — к публицисту О. А. Новиковой (рожд. Киреевой, 1840—1925) — печатается целиком, поскольку оно полно раскрывает разные стороны жизни Леонтьева в оптинские годы; из двух других, адресованных Т. И. Филиппову (1825—1890) и архиепископу Виленскому Алексию (Лаврову-Платонову, 1829—1890), приведены лишь те места, которые непосредственно связаны с оптинской темой. Тексты подготовлены и примечания составлены Г. Б. Кремневым и О. Л. Фетисенко

Представление о детских годах и воспитании Леонтьева тесно, неразрывно связано с образом его родной матери. «Мать и сын» — так можно было бы обозначить первую часть его био-

графии, от рождения до выхода на самостоятельную жизнь. Исключительно важное влияние на него матери сознавал сам Леонтьев, то же самое в один голос утверждают и все изучавшие личность этого мыслителя.

В своих воспоминаниях, за период с 1831 года по 1868 год Леонтьев задает-ся вопросами: «Был ли я религиозен по природе моей? Было ли воспитание мое православным?» И, стараясь припомнить свое детство до возможных подробностей, отвечает «нерешительно: да и нет!»*. Сказав, что их дом «не был особенно набожным домом», Леонтьев прежде всего отмечает почти полное отсутствие влияния на него родного отца, Николая Борисовича, отставного прапорщика гвардии**. Будучи совершенно равнодушен к личности отца, который даже жил отдельно от своей семьи и вовсе не занимался воспитанием детей, по крайней мере последнего сына, каким был наш мыслитель, — Леонтьев отмечает только слабые свои впечатления от отцовых похорон, когда он «ничуть не горевал и не плакал»***, — да два-три случая из религиозной обрядности его родителя. Не без скорби вспоминает Леонтьев о первой своей исповеди, когда, подошедши к отцу за прощением, услышал от него: «Ну, брат, берегись теперь... Поп-то в наказание за грехи верхом кругом комнаты на людях ездит!» «Кроме добродушного русского кощунства, — замечает Леонтьев, — он, бедный, не нашел ничего сказать ребенку, приступавшему впервые к священному таинству!» Заявив, что отец его был «и не умен и не серьезен»****, Леонтьев тем заключает о нем свое воспоминание.

* Леонтьев К. Н. Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. / Подгот. текста и коммент. В. А. Котельникова и О. Л. Фетисенко. СПб., 2003. Т. 6. Кн. 1. С. 791. Далее сокращенно: Леонтьев. Здесь и далее текст цитат из произведений Леонтьева исправлен по этому изданию (за исключением случаев перевода В. Добровым авторской речи из первого лица в третье).

** Леонтьев Николай Борисович (1784—1839 или 1840); см. о нем: Леонтьев. Т. 6. Кн. 2. С. 525—526. Н. Б. Леонтьев был отцом К. Н. Леонтьева лишь «по имени», о его настоящем отце, В. Д. Дурново (1789—1833), см. в том же томе по указателю имен.

*** Леонтьев. Т. 6. Кн. 1. С. 792.

**** Там же. С. 793.

Насколько незначительное влияние оказал на духовную природу Леонтьева его отец, как родитель и как воспитатель, настолько велико было влияние его матери, Феодосии Петровны, урожденной Карабановой*. Не без основания Леонтьев описывает личность своего деда по матери Петра Матвеевича**, который был, по его словам, «может быть один из самых “выразительных” представителей того рода прежних русских дворян, в которых иногда привлекательно, а иногда возмутительно сочеталось нечто тонкое “версальское” с самым страшным, по своей необузданной свирепости, “азиатством”. Истинный барин с виду, красивый и надменный донельзя, во многих случаях великодушный рыцарь, ненавистник лжи, лихоимства и двуличности <...> слуга Государю и Отечеству преданный, энергический и верный, любитель стихотворства и всего прекрасного, Петр Матвеевич был в то же время властолюбив до безумия, развратен до преступности, подозрителен донельзя и жесток до бессмыслия и зверства»***. Леонтьев сам молчаливо сознавал, что во многих чертах своего характера и мировоззрения он был подлинным внуком этого человека.

Но главным ваятелем духовной природы Леонтьева была, без сомнения, его мать. Он писал, что «чрезвычайно сильная его любовь к в высшей степени изящной и благородной, хотя вовсе не ласковой и не нежной, а, напротив того, суровой и сердитой матери, делала для него священными тех людей и те предметы, которые любила и чтילה она»****. И вот Леонтьев с большою любовью описывает убранство комнат его матери в их родовом имении Кудиново Калужской губернии. Он старается показать, насколько развита была его мать в эстетическом отношении, насколько тонок был ее вкус, даже в домашней обстановке, где мно-

* Леонтьева Феодосия Петровна (1794—1871).

** Карабанов Петр Матвеевич (1765—1820-е); см. о нем: Леонтьев. Т. 6. Кн. 2. С. 449—452.

*** Леонтьев. Т. 6. Кн. 1. С. 566—567.

**** Там же. С. 560—561.

гое «озарялось восхитительным, романтическим полусветом». «Я прошу, — писал он, — мне простить все эти, быть может, и лишние подробности, но мне так приятно обо всем этом писать! И кроме того, воспоминания об этом очаровательном материнском “Эрмитаже” до того связаны в сердце моем и с самыми первыми религиозными впечатлениями детства, и с ранним сознанием красот окружающей природы и с драгоценным образом красивой, всегда щеголеватой и благородной матери, которой я так неоплатно был обязан всем (уроками патриотизма и монархического чувства, примерами строгого порядка, постоянно-го труда и утонченного вкуса в ежедневной жизни), что я не могу сдержать себя...»^{*}. «...В детстве моем, — замечает он в другом месте, — я был ей (матери) гораздо более, чем отцу, обязан хорошими религиозными впечатлениями»^{**}.

Мать Леонтьева, по его словам, «была религиозна, но не была достаточно православна по убеждениям своим. У нее, как у многих умных русских людей того времени, христианство принимало несколько протестантский характер. Она любила только ту сторону христианства, которая выражается в нравственности, и не любила ту, которая находит себе пищу в набожности. Она не была богомольна; постов почти вовсе не соблюдала и нас не приучала к ним, не требовала их соблюдения. Заметно было иногда, что она немножко даже и презирала слишком набожных людей <...> Мать моя не любила “простого” народа; не любила толпы, тесноты и толкотни в храмах; принуждать себя много не находила нужным. Она хотела молиться *для себя* искренно, тепло; хотела молиться тогда, когда ее сердце требовало молитвы. Она, видимо, была из тех людей, которые не признают важности долгого принудительного и тяжкого (почему бы то ни было тяжкого) присутствия в храме. Она хотела не почтительного повиновения уставу и обряду,

искала не подвига послушного (и отчасти сухого) выстаивания даже при неудобных, развлекающих или раздражающих условиях; она хотела молитвы горячей и покойной. Вот почему, я думаю, она некоторые петербургские церкви, особенно домовые, предпочитала не только деревенским, но и калужским, например»^{*}. Молиться «перед угловым киотом» учила его не мать, а горбатая тетушка Екатерина Борисовна Леонтьева^{**}, отцовская сестра. «Но я помню хорошо, — пишет Леонтьев, — как сама мать молилась по утрам и вечерам»^{***}. «Я спал несколько лет подряд в кабинете матери за колоннами, на трехцветном диване; и как часто, просыпаясь зимним утром, продолжал лениться, и, лежа на нем, слушал внимательно, как сестра моя <...> читала по книжке утренние молитвы и псалом: “Помилуй мя, Боже”... Сестра читала, мать молилась...»^{****} «Эти две первые зимы ежедневных утренних молитв не прошли для меня без следа»^{*****}, — говорил он. — «Много лет прошло с тех зимних дней, когда я просыпался на полосатом диване, много было и вовсе новых радостей и неожиданного горя; но эти утренние молитвы все так же живы в памяти и сердце <...> никогда и нигде я не забывал тех слов псалма, которые меня тогда (почему? — не знаю сам) особенно поразили и невыразимо тронули... “Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит”. Я с тех пор никогда не могу вспомнить об матери и родине, не вспомнивши и этих слов псалма»^{*****}. «И когда уже мне было 40 лет, когда матери не было уже на свете, когда после целого ряда сильнейших душевных бурь я захотел сызнова учиться верить и поехал на Афон к русским монахам, то от этих утренних молитв в красивом

^{*} Леонтьев. Т. 6. Кн. 1. С. 794, 799.

^{**} Леонтьева Екатерина Борисовна (1787—?), см. о ней: Леонтьев. Т. 6. Кн. 2. С. 359.

^{***} Леонтьев. Т. 6. Кн. 1. С. 794.

^{****} Там же. С. 557.

^{*****} Там же. С. 795.

^{*****} Там же. С. 557.

^{*} Леонтьев. Т. 6. Кн. 1. С. 556—557.

^{**} Там же. С. 794.

кабинете матери с видом на засыпанный снегом сад и от этих слов псалма мне все светился какой-то и дальний, и коротко знакомый, любимый и теплый свет»*. Вспоминает Леонтьев о производивших на него в детстве сильное впечатление некоторых богослужениях, как например, изредка о зимних всенощных в Кудиновской длинной зале. «Помню, — говорит он устами героя своего романа Владимира Ладнева, — как приезжал священник** по великопостным вечерам служить у нас всенощную. Собиралась семья в длинную белую залу, освещенную только на одном конце церковными свечами, и что за томительный восторг охватывал мою душу, когда высокий отец Василий, наполнив залу кадильным дымом, сквозь который из угла блистали наши образа, начинал звучным, густым, возрастающим голосом: “Се жених грядет во полунощи!” Тогда я, бывало, кланялся в землю, и мне, поверите ли, казалось, что в самом деле идет откуда-то <...> Божественный жених среди ночи... Раскрытая дверь темного коридора, глубокое молчание всех других комнат... самый ландшафт в огне, освещенный месяцем, зимний сад, полосы тени от деревьев по снегу, пустынная, обнаженная аллея, пропадающая за недоступными сугробами, и таинственная мысль о безлюдности огромных полей... Из родных кто молится усердно на коленях, а кто, прислонясь к стене, вполголоса поет за священником; сзади люди громко кладут поклоны, вздыхая...»*** — Сообщает еще Леонтьев об одном «важном обстоятельстве», по его мнению, из своей детской жизни, характеризующем его тогдашнее настроение. Когда мать его маленьким возила раз в Оптину Пустынь, ему так там понравилось, что он сказал: «Вы меня больше сюда не возите, а то я непременно тут останусь»****. Приведа это со слов матери, Леонтьев сожалеет, что

не может об этом вспомнить сам, тем более, что этот штрих его детства приобретает провиденциальное значение, так как Оптина Пустынь сыграла громадную роль в последние годы его личной жизни. [...]

Мы решили, в виду важности, нарочито выделить нашу речь о влиянии на Леонтьева знаменитого Оптинского старца, иеросхимонаха о. Амвросия (Гренкова), которого мы считаем после родной матери, в пору детства, и афонского старца о. Иеронима*, в годы наибольшего расцвета духовных сил и природных дарований, — третьим лицом, которое могущественно-благотворно повлияло на религиозную жизнь Леонтьева, уже под конец лет последнего отлив ее в строго определенную форму.

Леонтьев вспоминал, что когда в 1874 году он приехал из Турции, «обвеянный афонским воздухом»**, и вскоре поехал в Оптину, то отец Амвросий ему «чрезвычайно понравился», но он «все-таки в течение 5 лет не получал от него тех утешений, которые получал от более сурового Иеронима Афонского»***. Более всего ужасало Леонтьева то, что надо было говорить о. Амвросию все кратко, все только в окончательном виде, без всяких объяснений. Это была «мука» для него — после Иеронима, который с ним беседовал, расспрашивал, про себя рассказывал, объяснял, богословствовал и т. д. На первых порах еще внутренне гордого Леонтьева «выручал» о. Климент (Зедеггольм)****, иеромонах Оптиной Пустыни, который

* Иероним (Соломенцев, 1803—1882), иеросхимонах, духовник русского на Св. Горе Афон Пантелеимонова монастыря.

** Ср.: Леонтьев. Т. 6. Кн. 1. С. 266.

*** Цитируется письмо, адресованное Л. А. Тихомирову, опубликованное посмертно под заглавием «Письмо о вере, о немощех духовенства и о самом себе».

**** Климент (в миру Константин Карлович Зедеггольм, 1830—1878), иеромонах; сын лютеранского пастора в Москве. После окончания историко-филологического факультета Московского университета принял Православие и служил в Св. Синоде. Поступил послушником в Оптину Пустынь (1862), в которой оставался до конца своей жизни.

* Леонтьев. Т. 6. Кн. 1. С. 795.

** В тексте романа «Подлипки»: «он».

*** Леонтьев. Т. 1. С. 356.

**** Леонтьев. Т. 6. Кн. 1. С. 797.

«рассуждал» за старца, «употреблял все усилия», чтобы «приучить» Леонтьева к нему. «Я старался 5 лет ездить в Оптину, — вспоминает Леонтьев, — и очень любил туда ездить, но гораздо больше через Климента, чем через о. Амвросия».

Отец Климент, со своей стороны, оказал заметное влияние на духовный склад Леонтьева, с которым пребывал во взаимной дружбе до самой кончины своей. Лучшим изображением духовного обмена о. Климента и К. Н. Леонтьева и признательности последнего к памяти первого является с любовью составленное Леонтьевым жизнеописание этой интересной личности*. В своем произведении Леонтьев вспоминает о первой встрече его в лесной даче Оптиной Пустыни с о. Амвросием, к которому у него были письма с Афона**. Здесь же он впервые познакомился и сразу сдружился и с о. Климентом, который долго расспрашивал нового знакомого о Востоке, Турции, Святой Горе и которому весьма понравился «тот мысленный воздух», который Леонтьев принес с собою, возвратившись из Турции, — «овеянность, так сказать, Святыми Местами». Далее, Леонтьев вспоминает о той любви, какую питал к нему о. Климент, о своем долге гощения в Оптиной Пустыни, беседах не только о самых высших вопросах богословия, но и на светские современные темы. Леонтьев отмечает и ту пользу, которую он сам во многих отношениях извлек из бесед «своего высокообразованного и верующего друга», который горячо, с чувством протестанта, предостерегал его от увлечения католицизмом и вообще от профессиональной мягкости, от «религиозной безбоязненности» его ума, который не опасался даже и мусульманство хвалить и Коран читать с удовольствием. Леонтьев благодарно вспоминал, что подобными

беседами о. Климент заставил его нередко «рассматривать предметы веры и жизни с новых сторон» и привлекал его внимание на то, на что оно еще ни разу не обращалось... «чем сделал ему «много добра»...» * Но весной 1878 года о. Климент неожиданно скончался. Смерть его была до того великой утратой для Леонтьева, что он, по его словам, при виде могилы своего «бедного друга» пришел скорее в негодование, чем в истинную скорбь. И «пунцовое, сияющее в темноте пятно» света лампы на могиле о. Климента производило всегда сильное впечатление на Леонтьева, которому оно казалось «иногда кротким, но зато, иногда, нестерпимо страшным во мраке посреди снегов» **.

В наших руках было неизданное и единственно сохранившееся письмо Леонтьева к о. Клименту, от 2 апреля 1878 года, из Любани, где в то время пребывал он. Это любопытное послание проникнуто глубочайшим уважением и благодарностью к о. Клименту. Но оно более интересно отражением внутреннего настроения автора и его отношения к Оптиной Пустыни. В этом письме Леонтьев пишет, что он «никогда не страдал забвением Оптиной, а напротив того, для Оптинских стал терновым венцом»... Далее он объясняет последнее следующими предполагаемыми им мнениями о нем оптинских иноков: «Никак не отвяжется; письма длинные, чувства смутны, почерк гадкий, претензий куча, грехов самых странных целый музей. Ко всенощной идти не хочет, а просит, чтобы его *били*; на постную пищу сердится, а у нас за 1000 верст требует разрешения чуть не на то: во фраке или в сюртуке ему ехать с дамами разговаривать!» Леонтьев говорит далее, что он, может быть, и давно уже не писал в Оптину и в частности о. Клименту, но причина этому, прежде всего, в его положении: «Иногда у меня голова кругом идет от разнообразных впечатлений, от неуправляемой и безысходной работы мысли,

* Книга К. Н. Леонтьева «Отец Климент Зедегольм, иеромонах Оптиной Пустыни» впервые была напечатана в «Русском вестнике» (1879. № 11—12). Отдельные прижизненные издания вышли в 1880 и 1882 гг.

** См.: Леонтьев. Т. 6. Кн. 1. С. 265—266.

* Леонтьев. Т. 6. Кн. 1. С. 339.

** Там же. С. 351.

от вещественных забот, которые отдыха не дают; от бесспорных недугов и *болей* то там, то здесь, которые чередуются *беспрерывно*, так что вот уже 5 лет, как я дня совершенно здорового не помню. И, наконец, от духовной борьбы с «лютыми воспоминаниями», с унынием, когда не везет, и с легкомысленной, нестерпимой игрой фантазии, когда дела внешние получше... А во-вторых, заверяет, что он «небрежен и неблагодарен не умеет быть. Не это мой порок! Вините меня в развращении ума и тела, в лени, в празднословии, в *лимаргии*, в гордости мысли и т.д. Но не в неблагодарности!» В заключение письма Леонтьев останавливается на вопросе: что такая за «задняя мысль» о. Климента в последнем письме к нему? «Уж не о папстве ли? И о том, что все, кроме православия, от дьявола? — О, Господи! Я совершенно согласен, и разговор мой иной совсем. Он из статей моих понятен. Я не писал об этом потому, что надо *много писать*. Дьяволы *разные*... И один изгоняет другого». После кончины о. Климента Леонтьеву, по-видимому, было приятно писать, что он «поселился, по прежним примерам, в Скиту, и даже в келлии самого покойного о. Климента», и пишет «на том столе, на котором и он писал».

Из только что приведенного нами письма Леонтьева к о. Клименту, между прочим, еще видно, что Леонтьев в то время уже находился в переписке с о. Амвросием. А переписка с Губастовым* сообщает о частых поездках первого, начиная со времени его приезда с Востока в Россию. Он проводил в этой обители и роковой для себя 1877-й год, когда почему-то ждал своей смерти. Но еще не замечается сильного влияния Оптинского отшельника на нашего мыслителя, который, как уже нам известно, и сам говорил, что в первые годы своего общения с Оптиной Пустынью он ездил туда больше из-за о. Климента.

* Губастов Константин Аркадиевич (1845—1919), близкий друг и сослуживец Леонтьева по дипломатическому ведомству, автор воспоминаний о нем. В переписке состояли с 1867 г.

«Когда же Климент умер, — вспоминал потом Леонтьев, — и я сидел в зале о. Амвросия, ожидая, чтобы меня позвали, я помолился на образ Спаса и сказал про себя: «Господи! наставь же старца так, чтобы он был опорой и утешением! Ты знаешь мою борьбу!» (Она была иногда ужасна, ибо тогда я еще мог влюбляться, а в меня еще больше!) И вот о. Амвросий на этот раз продержал меня долго, успокоил, наставил, и с той минуты все пошло совсем иначе. Я стал с любовью его слушаться, — и он, видимо, очень меня любил и всячески меня утешал!»

Действительно, Леонтьев с любовью послушался о. Амвросия, когда в 1887 году, выйдя в отставку с хорошей пенсией после службы в Московском цензурном комитете, он, в исполнение данного им в 1871 году обета, согласился на совет мудрого старца связать остаток дней своих с монастырем. Правда, даже в феврале 1886 года он писал Губастову, что тот пусть не думает, что его «тянет сильно в Оптину». — «Нет, — на время — да, с радостью; а на долго — все равно, везде телесные страдания, везде равнодушие... Поздно!» Но в том же феврале в следующем письме к тому же лицу он уже пишет, что в мае уедет в Оптину, — «и там увидим и вместе с отцом Амвросием решим, *как* мне доживать свою отныне обеспеченную жизнь». В письме к Оптиному скитнику, послушнику о. Эрасту Вытропскому*, от 28 октября 1886 года Леонтьев просит передать «батюшке» (о. Амвросию) о его поездке в Петербург, «куда ездил по совету Т. И. Филиппова** и провел там семь, чрезвычайно деятельных дней, представляясь разным влиятель-

* Еразм (в миру Эраст Козьмич Вытропский, 1829—1913), монах, заведующий канцелярией Оптиной Пустыни, принимал участие во многих оптинских изданиях. В миру — титулярный советник, служил в Тверской удельной конторе, овдовел по первому браку. На добровольном послушании в Скиту с 1889 г., вступил в братство 5 апреля 1898 г.

** Филиппов Третий Иванович (1825—1899), государственный и церковно-общественный деятель, публицист.

ным лицам и т. п.»... И. Д. Делянов* (тогдашний министр народного просвещения) был очень внимателен к нему и спросил: где он будет после отставки жить? «Я сказал, — пишет Леонтьев, — или в Оптиной Пустыни или на Троицком Посаде». — А он: «лучше бы на Посаде, поближе к Академии и к Москве, где вы имеете такое полезное влияние». — Я на это ответил, что в Оптиной будет *похожайшее*. Он сказал: «жаль, что вы перестанете писать; я надеюсь, что вы будете еще и писать и даже действовать».»

Осенью 1887 года Леонтьев окончательно поселился со своей женой** и любимыми слугами около стен Оптиной Пустыни, арендовав довольно поместительный двухэтажный дом. С этого времени начинается пора всецелого послушания нашего мыслителя воле о. Амвросия. Леонтьев испрашивал благословение у него на каждый свой шаг, на каждый поступок, не только на свое решение, но даже намерение. Такое благословение и послушание он считал весьма важным в «загробном» отношении, в смысле «трансцендентного эгоизма».

Влияние о. Амвросия на Леонтьева, будучи весьма сильным, в то же время отличалось исключительной терпимостью. Личное расположение Оптинского отшельника к искалеченному судьбою и кротко отдававшемуся под его волю человеку доходило до удивительного потворства даже слабостям и привычкам последнего. Так, о. Амвросий не благословил Леонтьева отказываться от сделанного ему в 1887 году приглашения переселиться в Петербург для занятий при новой консервативной большой газете***, а «велел потребовать больше денег и удобств». Леонтьев хотел назначить 6000 в год, но о. Амвросий

сказал: 8000, так чтобы с пенсией выходило 10 500. На письмо Леонтьева с такими, именно, требованиями и желанием «неслыханных льгот» благоприятного ответа, конечно, не последовало. Или, например, однажды отец Амвросий не благословил Леонтьева «тратить деньги на поездку для дела неверного», и последний, признается, был рад, «что батюшка о. Амвросий избавил его и от расхода, и от путешествия». Внезапно решившись и благословившись обходиться без мяса, по-монашески, Леонтьев хотел попытаться и бросить курить, но о. Амвросий не велел, «потому что это труднее и борьба помешает ему писать». А последние литературные занятия Леонтьева все проходили с полного разрешения и благословения о. Амвросия.

Леонтьев испытывал положительное влияние на себя Оптиной Пустыни. В одном письме к Александрову* он писал, что «если, *наконец*, старше я стал (после 40 лет) предпочитать мораль — поэзии, то этим я обязан, право, не годам, не старости и болезням... но Афону, а потом Оптиной...» Этим обителям он считал себя обязанным «суровостью настоящего православного мировоззрения», своей «неподвижностью в старом православии». Всецело это в нем, конечно, может быть оспариваемо и не признаваемо, но что он сам лично для себя старался, как он говорит, «на незначительный остаток дней своих оставаться на почве простого и старого, афонского и оптинского, православия», — то это несомненно.

Что касается внутреннего настроения Леонтьева в последние годы его жизни в Оптиной Пустыни, то в его душу сошла какая-то примиренность со всем, даже с литературной судьбой своей. Еще в 1886 году он писал Губастову, что «общественная роль» его кончена, а что касается литературы, то он еще раз повторяет: угас «священный огонь». «Рано, положим, в

* Делянов Иван Давыдович (1818—1897), граф, министр народного просвещения (с 1882).

** Леонтьева (урожд. Политова) Елизавета Павловна (ок. 1842—1917), с 1861 г. жена К. Н. Леонтьева.

*** Речь идет о газете «Гражданин», с 1887 г. ставшей ежедневной.

* Александров Анатолий Александрович (1861—1930), поэт, филолог, публицист консервативного толка. Познакомился с Леонтьевым в 1884 г., а с 1887 г. находился с ним в переписке.



К. Н. Леонтьев. 1889 г.

55 лет, — продолжал он. — Ну, да вам-то известно: много ли ободряли меня люди прежде? Струна терпения литературного перетерлась уже прежде. Теперь — и лучше может быть в некоторых отношениях, но уж поздно; струна эта лопнула и заменена новою, совсем другою — идеалом христианского терпения. А этот идеал непременно ведет к большему или меньшему равнодушию. Я говорю: к равнодушию, а совсем не к унынию... Уныние — вещь ужасная!» «После 30-летней борьбы, — писал он в том же году Розанову*, — утомлен, наконец, несправедливостью, предательством, равнодушием одних; безсилием и неловкостью других; подлостью — третьих... Моя литературная судьба есть удивительная школа терпения — и только. Завидовать нечему!» И Леонтьев был, между прочим, очень признателен Розанову, что «наконец-то после 20-летнего почти ожидания» он нашел в нем человека, который понимает его сочинения «именно так, как он хотел, чтобы их понимали». Но, хотя Леонтьеву и «надоело, наконец, быть глазом вопиющего в пустыне», однако вечная нужда в деньгах для уплаты старых долгов и т. п. не давала ему возможности полного отдыха от тяжелых уже для него литературных занятий. В год смерти он писал, что, должно быть, ему, увы! придется и умереть с пером в руке. «Да будет воля Господня! Если смотреть на это, как на своего рода крест, возложенный свыше на самолюбие мое, то, разумеется, это другое дело. Я так и смотрю... на мое теперь писательство только как на трудный христианский долг для моего личного смирения и очищения»... Он рад был, что в 1890—1891 годах у него этой нужды и принудительного труда стало заметно меньше. В письме к Розанову от 19 июня 1891 года он пишет: «До прошлого года я считал тот день потерянными, в который я не писал; теперь таких дней множество; и я рад, что могу не

писать». Но это были уже последние дни его...

Ощущая на себе могущественные результаты благотворного влияния Оптиной Пустыни, Леонтьев усиленно звал всегда посещать ее и всех друзей и знакомых своих. Он желал «выучить» их «благословляться» у о. Амвросия на важные дела, так как тот, по его убеждению, давал обращающимся к нему за советом мудрое «духовное решение» всех волнующих и недоуменных вопросов. «Раз о. Амвросий благословил, о чем же тут толковать?»

Леонтьев в Оптиной Пустыни все более и более креп духовно под опытной рукой о. Амвросия, который, по свидетельству о. Ераста (Вытропского), имел такое доверие к К. Н. Леонтьеву, что нередко адресовал к нему тех из своих интеллигентных посетителей, которые нуждались в убеждениях о суете мира сего и необходимости веры в Евангелие*. Леонтьев был прямо-таки зачарован Оптиной Пустынью, где ему все нравилось, начиная от внешней природной картины до скитских бдений в келлии старца. — Мы уже изложили его оригинальные взгляды на высокое значение старчества. Леонтьев героически продолжал укреплять себя духовно и телесно. Он уже три года, по благословению старца, не ел мясной пищи, что, при его вечно болезненном организме, действительно, надо признать подвигом. Все это в конце концов привело к тому, что когда однажды, придя к своему старцу о. Амвросию, он услышал от него, что теперь ему должно бы келейно принять мантию, — ответил только вопросом: к какому дню прикажет «батюшка» приготовиться ему к пострижению?

В письмах Леонтьева мы нигде не находим прямых слов о принятом им постриге в монашество. Встречаем только несколько, хотя и довольно прозрачных, намеков на что-то важное, происшедшее в

* Розанов Василий Васильевич (1856—1919), писатель, литературный критик, журналист. С Леонтьевым был знаком заочно, вел переписку последние 8 месяцев его жизни.

* См.: Историческое описание Козельской Оптиной Пустыни и Предтечева скита (Калужской губернии). Вновь составленное Е. В. <Еразмом Вытропским>. Свято-Троице Сергиева Лавра, 1902. С. 124.

его личной жизни. В письме к Александрову от 3 мая 1890 года Леонтьев писал: «Я думаю о переходе в ограду, в скит или монастырь. Лизав<ета> Павл<овна> с Варей* (прислуга) — в Козельск. Сейчас нельзя, по хозяйственным условиям: но *это-то толкает*. От Амвросий взирает благоприятно на эту думку мою». В другом письме, к Губастову, от 25 марта 1891 года он пишет: «Лизавету Павловну, с Божьей помощью, куда-нибудь сбудем». Сам же надеется, что «Господь в какой-нибудь просторной келье его устроит». Но вот в письме к Розанову из Сергиевского Посада от 18 октября того же года он уже извещает: «В жизни моей *теперь* крутая перемена, или, вернее, несколько перемен, в зависимости одна от другой. Главное то, что я, так сказать, разрушаю теперь свой домашний, семейный строй, крепко сложившийся за последние 11 лет, и в ожидании возможности поступить куда-нибудь в ограду, поселяюсь пока здесь один, в некоторого рода “безмолвии”». Немного дальше в этом же письме, сообщая, что его «иногда душит до слез нервный гортанный кашель», Леонтьев замечает: «в этом отчасти я сам виноват, — курю; с помощью Божией, впрочем, стал гораздо меньше курить, а все-таки еще курю. Вот за этот грех и казнюсь. (Для других курить не грех, а для меня грех)».

А. М. Коноплянцев** сообщает, что 23 августа в Предтечевом скиту Оптиной Пустыни, в келлии старца Варсонофия*** К. Н. Леонтьев принял тайный постриг с именем Климента. Этот биограф не говорит ничего об участии самого о. Амвросия в постриге Леонтьева. Мы лично думаем, что пострижение Леонтьева в келлии о. Варсонофия без присутствия о. Амвросия произошло потому, что последний еще

3 июля 1890 года переехал из Оптиной Пустыни, где жил все время ранее, в основанную им самим Шамординскую Казанскую женскую общину, откуда уже до самой своей смерти не возвращался.

Еще с весны 1891 года о. Амвросий стал настойчиво побуждать Леонтьева к переселению его в Сергиевский Посад для хирургической помощи от неизлечимой и крайне опасной болезни. — О. Амвросий говорил своему духовному сыну, что «не должен христианин напрашиваться на слишком жестокую смерть; лечиться — смирение». Леонтьев по этому поводу замечает: «Вот почему о. Амвросий и желает, чтобы я был ближе к хорошим хирургам. А если бы он сказал: “не ездите и готовьтесь здесь умирать” (как он иным и говорит), то я, конечно, остался бы». Но, по видимому, его еще нужно было смирять. Леонтьев соглашался на совет о. Амвросия тем более, что «Троица — после Оптиной единственное место в России, где ему теперь не противно жить»... Леонтьев находился между Оптиной Пустынью и Троице-Сергиевой Лаврой с ее Посадом «сходство главных черт». После пострига его уже ничто не задерживало в Оптиной Пустыни, и 30 августа 1891 года он переезжает на жительство в Сергиевский Посад, где поселяется в Новой лаврской гостинице. Жена его, Елизавета Павловна, вероятно, около того же времени уехала к племяннице своего мужа М. В. Леонтьевой* в Орел. По крайней мере, до настоящего времени, как нам известно, обе они живут там при женском монастыре.

Переехав в Посад, Леонтьев почти не выходил из своего помещения. Лавру также мало посещал, вследствие болезни ног. Он еще в Оптиной Пустыни, по его словам, не мог выстаивать так любимых им домашних всенощных у о. Амвросия, а высиживал их в кресле. Здесь же, как мы слышали от лица, знакомого с покойным пи-

* Пронина Варвара Лукьяновна (ок. 1866—1950), воспитанница Леонтьева.

** Коноплянцев Александр Михайлович, юрист, биограф Леонтьева. См.: Жизнь Константина Николаевича Леонтьева // Памяти К. Н. Леонтьева. Сборник. СПб., 1911. С. 138.

*** Варсонофий (Плиханков, 1845—1913), схииеримандрит, великий Оптинский старец.

* Леонтьева Мария Владимировна (1848—1927), племянница К. Н. Леонтьева; ее воспоминания см.: Леонтьев. Т. 6. Кн. 2. С. 73—140.

сателем по последним дням его жизни, он часто приглашал к себе из Лавры монахов, чтобы они читали ему ту или другую службу. Одевался он по-прежнему в любимый свой костюм — русскую поддевку. Доказательством его монашества были только четки в руках. А. А. Александров передавал нам, что он однажды застал Леонтьева одетым в черную рясу и примеривающим перед зеркалом клобук. На вопрос: в чем дело, последний ответил: «Да, совершилось, я теперь уже монах»... В последовавшей затем беседе Леонтьев с горестью заметил своему собеседнику, что и до сего времени «сквозь прорехи его монашеской мантии проглядывает яркая, разноцветная одежда его эстетизма».

Здесь, в Посаде, 10-го октября этого же года он получил печальное для себя известие о кончине старца о. Амвросия. Но оно не застало его врасплох, так как старец в последнее время был очень слаб, и Леонтьев еще удивлялся, «как он мог дожить до 79 лет». «Я столько лет ждал со дня на день его смерти, — писал он Розанову, — что теперь ничуть этим не поражен. Понимаю, конечно, что встретятся еще не раз случаи, если проживу еще долго, когда я буду восклицать: “где о. Амвросий!”... Но что же делать! Воля Божия! Господь, если нужно, и другого человека нам пошлет! До получения известия, я каждый день поминал его имя на молитве за здоровье, а после стал поминать за упокой. И только... Мое чувство к нему было более духовного оттенка; я его слушался, избегал делать что-нибудь важное без его благословения; видел от него много всякого добра (даже и вещественного в прежние трудные времена); но так страстно, как другие, привязан к нему не был». Вспоминая о прощании в последний раз с о. Амвросием и передаче ему своего нового чувства — «отвращения к собственному писательству», Леонтьев поминает его совет: «издавать старое и не писать ничего нового, разве по нужде». «Помоги мне, Господи, исполнить завет этого святого человека», — заключает Леонтьев свои слова о почившем руководи-

теле его религиозно-нравственной жизни. Подобными же мыслями Леонтьев поделился и с А. А. Александровым, которому писал, что «давно уже приучил свою мысль к этой утрате», так как о. Амвросий «был слишком слаб, чтобы можно было надеяться на продолжение его жизни». «Разумеется, — добавил он, — ни один духовник уже не может мне заменить его. Будем так дожидать наш грешный век».

Не прошло и месяца со смерти о. Амвросия, как внезапно К. Н. Леонтьев заболел своей смертельной болезнью — воспалением легких. Приехал лечиться от одной болезни, а умер от другой. Замечательно, что он давно уже предчувствовал год своей смерти. Леонтьев не раз отмечал, как мы уже говорили, важное значение для его жизни последних цифр одного десятилетия и первых следующего. Эти переходы играли какую-то роковую роль в его судьбе. Еще в январе 1890 года он писал Александрову, что роковые в его жизни цифры «уже сильно дают себя чувствовать. Если не смерть близится, то надо ждать какой-то новой, тяжелой и значительной в его жизни перемены». А в марте 1891 года на страницах своего письма к Губастову Леонтьев уже настаивает: «Вижу, вижу, что 1891 год мне даром не пройдет: или смерть или какая-нибудь другая крупная перемена в жизни». В майском письме к Александрову он еще тревожнее сообщает: «В заключение письма, прибавлю, что мне все что-то грустно последнее время; если Вы не забыли, что я Вам говорил о значении в моей жизни годов 40—41, 50—51, 59—61, 70—71, 80—81, то Вам будет понятно то подавляющее действие, которое имеет на меня цифра 91! Жду все какого-то события, перелома в жизни моей, — быть может, и смерти...»

Предчувствие Леонтьева не обмануло... Болезнь его быстро прогрессировала и 12 ноября (вторник) в 10 часов утра К. Н. Леонтьева не стало. Так исполнились пророческие слова о. Амвросия, сказанные им Леонтьеву при последнем их расставании, что они скоро, очень скоро увидятся.

Перед кончиной его напутствовал Св. Тайнами известный иеромонах Гефсиманского скита о. Варнава*, который, как нам передавал о. И. И. Фудель**, был одной из причин, привлекавших Леонтьева к Сергиевскому Посаду. Последними словами Леонтьева было: «Надо покориться!» Когда стали готовить тело его к погребению, то поверх сорочки увидели надетый на нем параман. Не оставалось уже никакого сомнения в его иночестве. Отпетый 15 ноября членами Академического духовенства

* Варнава (Меркулов, 1831—1906), иеромонах, старец Гефсиманского скита при Троице-Сергиевой Лавре.

** Фудель Иосиф Иванович (1864—1918), протоиерей; один из учеников Леонтьева.

во главе с ректором, архимандритом Антонием (Храповицким)* в храме приюта имени Е. С. Кротковой, которой Леонтьев любовался, когда они оба были молоды и ездили в московский свет, — прах его нашел вечный покой на кладбище Черниговского скита, близ Троице-Сергиевской Лавры. Надпись памятника на могиле покойного мыслителя скрывает тайну «монаха Климента»... Там только «мирское» имя писателя и дата: 12 ноября 1891 года.

1916 г.

* Антоний (Храповицкий, 1863—1936), митрополит Киевский и Галицкий; в описываемое время архимандрит, ректор Московской духовной академии (1890—1895). Впоследствии Первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей.

Из писем К. Н. Леонтьева

18 августа 1891 года в Оптинском скиту, в той келлии, где впоследствии жил преп. Варсонофий Оптинский, был совершен тайный постриг духовного сына старца Амвросия, писателя и мыслителя Константина Николаевича Леонтьева (1831–1891).

Еще в детстве, впервые оказавшись в Оптиной, он сказал матери: «Вы меня больше сюда не возите, а то я непременно тут останусь». Константин Николаевич прогно забыл об этих словах, да и о самой поездке. Об этом вспомнила и рассказала внучке в 1870 году его мать, узнавшая, что ее младший сын, «несмотря на последние удачи... по службе, стал огчень тосковать и думать о том, чтобы кончить жизнь... в монастыре»*. А повествуется обо всем этом эпизоде в незавершенном произведении, которое создавалось в том именно месте, куда будущий монах Климент просил его «не возить».

Пережив возможность внезапной смерти без покаяния и, что было тогда не менее важно для него, — смерти от огчень неизящной болезни (хотя, какая ж болезнь красива?), напоминающей холеру; давши обет поехать на Афон и постригясь в монахи — и исцелившись; проживши с небольшими перерывами почти год на Афоне — и получив благословение вернуться до времени в мир и «рекомендательные» письма старцев Иеронима и Макария, — с этими самыми письмами и еще «овеянный Афоном»**, Леонтьев и появился летом 1874 года на лужайке «даги», где «отдыхал» (как обычно, не переставая принимать народ) батюшка Амвросий***. В тот же день старец познакомил его со своим письмоводителем, отцом Климентом (Зедергольмом), в котором Леонтьев нашел, по его выражению, «катехизатора» и близкого духовного друга****.

После этого был неудачный опыт послушничества в Николо-Угрешском монастыре у «крепкого хозяйственника», ныне местночтимого святого Московской епархии преп. Пимена (Мясникова) и снова возвращение в мир. Угрешский настоятель «соблазнял» необычного послушника обещаниями устроить ему развод, постриг и быстро повести его по иерархической лестнице, суля даже архиерейство****, — это позволяли устроить широкие связи о. Пимена. Это испугало Леонтьева, который выбрал самый простой и действенный ответ: сослался на то, что его Старец (в то время это уже Амвросий) ничего подобного ему не говорит.

На несколько ближайших лет «распорядок» был таким: жизнь между маленьким родовым имением (Кудиново — Калужской, скажем — «Оптинской», губернии), Москвой и

* Леонтьев К. Н. Мое обращение и жизнь на Св. Афонской Горе // Леонтьев. Т. 6. Кн. 1. С. 797.

** Ср. слова иеромонаха Климента (Зедергольма): Там же. С. 266.

*** До этого он попытался напомнить о себе настоятелю Троице-Сергиевой Лавры о. Леониду (Кавелину), с которым был знаком еще в Турции, и просил позволить ему жить при монастыре, не оставляя занятий литературой. На это последовал отказ (См.: Там же. Т. 6. Кн. 2. С. 336).

**** После кончины о. Климента Леонтьев, живя в Оптиной, написал о нем книгу (одно из лучших своих произведений), которую старец Амвросий любил раздавать посетителям «пообразованней».

***** См.: Леонтьев. Т. 6. Кн. 1. С. 245. Жена Леонтьева с конца 1860-х годов страдала душевной болезнью. Казалось бы, повод к разводу довольно благовидный, но крест семейной жизни не был снят с Леонтьева и по его решению, и по благословению старцев. Поэтому и в 1891 г. постриг мог быть только тайным.

Оптиной, куда приезжал иногда на короткое время — говеть, а иногда и на несколько месяцев, на целую зиму. Прогно обосноваться в Оптиной мешал недостаток средств. Трудно представить, но из переписки Леонтьева мы узнаем, что почти все, написанное им в те годы, создавалось «для заработка».

После вынужденной продажи заложенного-перезаложенного имения, переселения в Москву и устройства на службу* поездки стали более редкими (правда, в последний год перед отставкой удалось полугить и несколько раз продлевать отпуск, проведенный, конечно, в Оптиной). В эти годы Леонтьев сближается с другим монастырем — Троице-Сергиевой Лаврой и пытается снова приблизиться к давней мысли о постриге. Сведений об этом в настоящее время мы почти не имеем, кроме нескольких упоминаний в переписке и короткой записи о несостоявшейся в 1886 году «попытке пострижения»**, где рядом с именем Гефсиманского старца Варнавы мы встретим и имя настоятеля Лавры, однажды уже не принявшего Константина Николаевича под ее сень (и, добавим, сделавшего это и в третий раз, о чем речь далее). Даже выйдя в отставку зимой 1887 года, Леонтьев еще некоторое время колебался, выбирая между Сергиевым Посадом и Оптиной. Видимо, в «путях небесных» его жизнь была связана с обеими прославленными обителями.

Наконец, был приобретен дом, который — по бывшему роду деятельности его нового владельца — в Оптиной быстро прозвали «консульским». Здесь на несколько лет Леонтьев смог устроиться на излюбленный лад — полубарской, полумонашеской жизнью. Свои статьи тех лет он объединяет в цикл, по праву названный «Записками отшельника». Старец благословил Леонтьева рассказать о своем обращении и о пути к монашеству в воспоминаниях и в романе (оба замысла, нагнанные одновременно, не были завершены)***.

Некоторая неопределенность положения между миром и монастырем, по-видимому, часто смущала Константина Николаевича и однажды, еще до переселения в Оптину, он поделился этим с дочерью другого мыслителя-«оптинца», И. В. Киреевского. М. И. Бологовская ответила замечательным письмом: «Странно, Константин Николаевич, во многом не могу согласиться с Вами! Вы говорите — “презираете себя за то, что все еще мирянин” — а я и места презрению не найду, — а только смирению, ибо вижу в том Промысл Божий, стало быть, еще не пришел день и час! Поверьте, придет, и полагаю, не только будете монах, но и подвижник! Это мне казалось даже в самый первый раз, когда увидел Вас в рясе, — представился в недалеком будущем второй Дамаскин!»**** Последнему пожеланию — новому расцвету литературного дара уже в тине монашества — и не дано оказалось сбыться. Предвестия же были самые многообещающие: «Мирное, мягкое, радостное настроение его продолжалось; он не мог им нахвалиться и очень часто возвращался к разговору о незаменимости глупства, какое он переживает, о пользе “внимания себе” <...> он жил полною, непередаваемою пересказом жизнью»****. Это сказано одним из учеников Леонтьева о состоянии его после пострига (уже после отъезда из Оптиной).

Старец Амвросий, предвидя свою скорую кончину, направил духовного сына в Троице-Сергиеву Лавру, как бы вручая его старцу Варнаве. Известно, что, утешая Леонтьева, он сказал ему: «Скоро увидимся». И действительно, Константин Николаевич не дожил даже до своих первых монашеских именин.

* В цензурный комитет.

** Леонтьев. Т. 6. Кн. 2. С. 35.

*** На тему «Леонтьев и Оптина» написано немало, но рекомендовать читателю хотелось бы посвященную этой теме главу из книги В. А. Котельникова «Православные подвижники и русская литература. На пути к Оптиной» (М., 2002).

**** Цит. по: Фетисенко О. Л. Путь Константина Леонтьева к монашеству // Православный летописец Санкт-Петербурга. 2001. № 1. С. 105.

***** См.: Там же. С. 109.

Скончался он в одной из лаврских гостиниц, — архимандрит Леонид в отечердной раз принял его отгужденно. По странному стегению обстоятельств, нынешнее священнона- галие Лавры, по-видимому, «наследует» у о. Леонида настороженное отношение к памя- ти Леонтьева, замедляя с благословением на установление мемориальной доски на стене этой гостиницы.

В заключение скажем о том, ради зего, собственно, и написано это небольшое предид- словие к подборке фрагментов из «оптинских» писем Константина Николаевича.

Как известно, погребен он был на кладбище Гефсиманского скита, в начале 1990-х го- дов на восстановленной могиле воздвигнут крест. Можно возблагодарить Господа за то, что это стало возможным. Однако есть одно обстоятельство — неисполненное завеща- ние. Резь идет не об официальной духовной*, а о более гастном, но от этого не менее важ- ном, документе под названием «Мои посмертные желания», написанном 17 мая 1891 года и адресованном наследникам и всем, кто будет около завещателя в день кончины. Второй пункт** гласил: «Где бы я ни находился в день смерти, я прошу отвезти тело мое в Опти- ну. — От. Амвросий обещал мне давно, что мне дадут даром большое место за алтарем той удаленной церкви, которая находится около усадьбы От. Ювеналия, за больницей. И что и близких моих, если желаю, можно там похоронить»***.

Ясно, что если это не было исполнено ни в 1891-м, ни в последующие годы до 1917-го, то теперь, когда есть лишь, возможно, достаточно приблизительно установленное ме- сто погребения и памятник на нем, ни о каком перенесении останков монаха Климента на обещанное преп. Амвросием место не может быть речи. Но возможно «гастигное» испол- нение завещания — установление креста или какого-либо памятного знака, пусть даже не на конкретном указанном в завещании месте, лишь бы это было сделано в родной для монаха Климента обители.

Ольга Фетисенко, зам. главного редактора
Полного собрания сочинений и писем К. Н. Леонтьева

О. А. Новиковой

30 мая; 89 г., Оптиная Пустынь.

Наконец-то Вы вспомнили обо мне, Ольга Алексеевна! И за то спасибо. — Я гасто об Вас здесь думал и часто гля- дел на портрет Ваш; — «всегда ли с до- брым чувством?» — Вы спросите, может быть; и на этот естественный вопрос я отвечу — «Нет! Не всегда!» — Иногда с огень добрым, иногда не то чтобы с дур- ным, — нет, а с колеблющимся и недо- верчивым.... Вы так умны, так гениально догадливы, так житейски опытни, что объяснять Вам эти чувства мои будет не-

нужным трудом. — Сами все знаете и обо всем сами догадаетесь — скоро. — Слава Богу, что Вы хоть на короткое время воз- вратились на родину, которую Вы всег- да так хорошо и талантливо защищаете с политической стороны, но от которой, боюсь, — Вы в культурно-бытовом, так сказать, смысле, должно быть, совсем от- выкли. — Нечто подобное испытал я по- сле долгой жизни в Турции, и если бы не разные неизбежности и непреодолимые вещественные препятствия в начале 70-х годов, то и я, вероятно, жил бы и до сих пор в Турции, точно так же, как Вы жи- вете в Англии, то есть только на короткое

* См.: Леонтьев. Т. 6. Кн. 2. С. 36—38.

** Первым была просьба о вскрытии тела — Леонтьев опасался летаргического сна.

*** Леонтьев. С. 39. Леонтьев хотел перевезти в Оптину останки матери, тетушки и брата, советуя обра- титься за помощью к К. П. Победоносцеву или В. К. Саблеру, который, будучи в Оптиной, обещал «лично это дело облегчить и ускорить» (Там же. С. 40).

время посещая Россию и оставаясь духом ей верен, как верны и Вы. — Поэтому я и ничуть не осуждаю Вас за это, а только жалею, что этот образ жизни лишает меня всякой надежды увидеть Вас хоть раз еще! Если бы Вы жили в России постоянно, то, кто знает, если бы не набожность (ее я в Вас не замечал), то хоть Славянофильское чувство и любопытство понудило бы Вас когда-нибудь посетить нашу знаменитую Пустынь. — «Здесь русский дух! Здесь Русью пахнет!»* И во многих отношениях Русью *огень старой* даже, до сих пор еще благополучно отстаивающей себя от России *новой*, либеральной и космополитической; — от мерзкой России пара, телеграфов, электрического света, суда присяжных, пиджака, Вестника Европы, польки-трамбланти, всеобщего равномерного «диньте де л'ом!»** — Здесь — именно тот *русский Византизм*, который так ненавистен глупым Славянофилам стиля Орест Миллер*** и без которого будет «finis»**** не только для России, но и для всего остального Славянства (пока еще столь бессодержательного и не самобытного духом). — Я знаю, что Вам бы здесь очень многое понравилось; — но знаю также, что это мечта и Вам, при кратких приездах ваших в Россию и при Вашей деловой и наполненной жизни — не до путешествий в Оптину.... Я же, кажется, совершенно стал недвижим и мысль о поездке на несколько месяцев в столицы почти пугает меня. — Вы спрашиваете меня о здоровье моем. — Организм мой, по свидетельству даже лучших врачей, такой особенный и странный, что состояние его в точности и определить трудно. — Знаю только, что большая часть тех разнообразных и жестоких недугов, которыми я страдал в Москве (особенно

с 84-го года), — здесь ослабела или и совсем прошла; — но чувствую также, что я очень ослабел и отяжелел как-то. — Ходить могу очень мало; — всю зиму и раннюю весну от октября до конца апреля из дома на воздух не выезжал, чтобы *отдохнуть* от нестерпимого спазмодического кашля, который в первую здесь зиму (я здесь безвыездно с мая 87 года) мучал меня при малейшей перемене температуры. — И за эту зиму — я до того отвык и от движения не воздухе, и от тех более сильных ощущений, которые испытывает всякий человек в обществе *не-домашнем*, что со мной недавно сделалось почти дурно, после того, как я провел один день в гостях у одного здешнего соседа (Кн. Алекс<ея> Дмитр<иевича> Оболенского)*; а другой у другого (Князя Ал<ексея> Алек<сеевича> Вяземского)**.

Поневоле — будет мало охоты ехать в Москву! — Согласитесь?

Вот Вам о здоровье моем. — В таком состоянии сил и прожить можно долго и умереть легко скоропостижно. — Полагаясь, впрочем, на милость Господню и на то, что и умереть «о Господе» хорошо, и жить «о Нем же Всемиловитом» нужно как-нибудь!*** — «Благослови, душе моя, Господа и *не забывай всех воздаяний Его!*»**** Этим все сказано; все примирено и все объяснено даже! Боюсь, что, понимая *идею* эту прекрасно, Вы едва ли *по опыту* поймете то теплое *ощущение* мое, которое ее оживляет. — А, впрочем, Бог знает! Быть может, Вы и переменились с последнего нашего свидания. — Дай Бог мне ошибиться; — да и то сказать, что когда у человека очень умного есть и воображение, то он умеет перенестись без большого труда и в чужую душу, на другой тон настроенную.

* Оболенский Алексей Дмитриевич (1855—1933), князь, государственный и общественный деятель; в октябре 1905 г. обер-прокурор Св. Синода.

** Кн. Алексей Алексеевич Вяземский — уездный предводитель дворянства Козельского уезда в 1881—1883 гг.

*** Парафраз Рим. 4, 8.

**** Пс. 102, 2.

* Цитата из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» (1820).

** Ироническая транскрипция фр. выражения *dignité de l'homme* (человеческое достоинство).

*** Миллер Орест Федорович (1833—1889), фольклорист, историк литературы, критик, публицист.

**** Конец (лат.).

Вы спрашиваете еще — что я *делаю* и что *думаю*? — *Делаю* я вообще очень мало, а *думаю* для собственного удовольствия очень много. — Придумываю почти нечаянно иногда разные вещи, которые мне представляются очень полезными, новыми и умными; — но писать об них, *трудиться*, развивать, объяснять и т. д. — редко бывает охота. — Пишу очень помалу, иногда по 2-3 недели совсем не пишу, а предпочитаю читать чужое что-нибудь. — Библиотека у меня и старая хороша и разнообразна; но я и новые книги выписываю (иногда и старые, сами по себе, но для меня новые).

Почему я так мало пишу нынешний год? Охоты нет и *нужды*, слава Богу, нет. — Живу я здесь покойно, просторно, недорого, в достатке. — У меня за 400 р. с<еребром> в год совсем особая при монастыре небольшая усадьба; просторный 2-х этажный, старый дом, построенный уже давно одним набожным барином, здесь и умершим; особый садик, обращенный к лесу и загороженный домом и оградой, от людей и всякого движения, так что я иногда и по целым часам сижу в Буддийском созерцании на балконе; ничего и никого кроме зелени и леса не вижу, и ничего кроме пения птиц не слышу. — Зимой дом очень тепел и так просторен, что я один на свою долю занимаю наверху 4 комнаты с прекрасными видами из окон (даже и зимой).

Звуков — вообразите даже, зимой особенно, — никаких по целым часам не слышу; тем более, что домашние мои, зная, до чего я люблю это безмолвие и молчание вокруг, — остерегаются стучать и шуметь. Летом, впрочем, здесь бывает очень много приезжих не только среднего, но и весьма отборного общества; большею частью с целью видеть От<ца> Амвросия и посоветоваться с ним; — мое жилище тем хорошо, что оно в стороне, и от меня вполне зависит видеть людей или скрываться от них. — Зимой, так как я не выезжаю, — у меня в доме служат часто всенощные и часы; говею — 4 раза в год; недавно, по благословению старца, отказался от мяса,

которое я ужасно любил (вот одно из тех «внутренних чудес», на которые так верно указывал Хомяков, в точности его слов не помню)... не чувствую даже ни малейшей потребности его есть, когда рядом со мной едят его другие.

Пришло время — и оно не существует для меня.... *Теперь* — *очередь за литературой*; — если бы год или два тому назад — кто-нибудь предсказал бы мне, что я о мясной пище вовсе забуду и *погми* вдруг — мне показалось бы это более невероятным, чем если бы *теперь* кто-нибудь сказал бы мне, что я скоро *перестану писать для негати*. — «Просите и дастся Вам»^{*}; — а я пламенно желаю оставить всякую газетную и журнальную работу. — Пока есть еще этому одно *вещественное* препятствие^{**}, но я надеюсь скоро его устранить и тогда буду уж совсем вольный казак! И тогда благословлюсь у От. Амвросия бросить литературу — как бросил многое другое. — Это не *зарок*, — это мечта и *молитва*. — Вы совершенно правы, когда говорите, что вам приятно действовать в Англии, потому что *чувствуете*, что пишете «не зря» и «не даром». — Я же, как вы сами знаете, совсем в другом положении и *чувствую* противоположное: чувствую *именно* — что пишу «зря» и «даром» (не в денежном, конечно, а в нравственном смысле)... Ведь надоест, наконец; — да немножко ведь и стыдно станет выходить на улицу с товаром, на который мало спроса. — Один в<есьма> известный человек пишет (по *секрету* мне, в частном письме, а не печатно) по поводу моих взглядов на политику племенных освобождений и объединений в XIX веке приблизительно следующее лестное мнение: «Наша беззубая публика привыкла к пище *жёванной*; а вы даете пищу новую и твердую; читатели наши привыкли или к нигилизму, или к Катковской манере^{***} и ваши статьи производят на них даже

^{*} Мф. 7, 7; Лк. 11, 9.

^{**} Леонтьев подразумевает свои неуплаченные долги.

^{***} Жаль, что он не прибавил еще: или к обыкновенному Славянофильству.

болезненное впечатление. Это *ваша доля* и *ваша честь*»*. — Выражения «беззубая» публика и «жеванная» пища не изящны, слишком бранчивы и поэтому не нравятся мне; — но, может быть, он и прав; не могу решать и быть совершенно беспристрастным судьей в своем деле. — Но — *факт* постоянного (сравнительного) неуспеха — остается — фактом; все равно кого бы ни винить — меня или критику с публикой. Я ли «психопат» и статьи мои «психопатические парадоксы», как думает «Свет» г. Комарова**, или другим в самом деле неловко и тяжело стать на непривычную им точку зрения. — Я ли (как назвал меня некто Аристов в «Русск<ом> Деле») «старый честолюбец-неудачник», который «бредит» чем-то ужасным...*** Или ко всем рецензен-

там и большинству читателей можно приложить по этому случаю слова Страхова: «Люди *понимают* лишь то, что им *нравится*; до остального им дела нет». — Решите вы, если Вас это интересует; а я, конечно, не берусь. — Судя, впрочем, по вашей маленькой, но цветистой заметке обо мне в «Revue nouvelle»*, вы ни с Комаровым, ни с Аристовым не согласны; — (*были* по крайней мере). — Во всяком случае — тут есть что-то необъяснимое одним рассудком; а мистическое. — Видно — *не нужно, не время* и т. д. ... И многоуважаемый (и в самом деле достойный самого искреннего уважения) Александр Алексеич никогда не сберется мне возражать**, по многим причинам. — Во-1-х, возражать мне умному и *добросовестному* умом — *Славянофилу* — *очень* трудно. — За меня очевидные факты, и всякий видит, что я *жажду настоящего, культурного славяноособия*, и только указываю на те условия, которые для этого опасны и невыгодны... Во-2-х, чтобы считать себя *вправе* возражать мне основательно, нельзя довольствоваться брошюрой «Национ<альная> политика»***, а надо перечитать внимательно 2-ю мою статью в «Гражд<анине>» (не изданную отдельно) — «*Плоды национальных движений на Православном Востоке*»****. — Где ж ее ис-

* Леонтьев цитирует по памяти письмо к нему Т. И. Филиппова от 16 апреля 1889 г. Ср.: «Удивление Ваше общему молчанию в сво<ю> очередь возбуждает удивление во мне. Вы предлагаете твердую пищу беззубому читателю, который привык питаться ожевинами. Строгое, самостоятельное суждение, призывающее ум к работе и раскрывающее новые стороны в предметах, на которые взгляды — хотя и односторонние и пошлые — уже установились, производят в современном читателе ощущение болезненное. Он привык гоготать — прежде с западниками, позже с Катковым, — так ему подавай «уру»; без этого он жить не может. Он и Ашинову рад, и его экспедицию приветствует! Ну, что же Вы с этим поделаете! И не Вас одних не читают! Роман, вероятно, прочтут все и даже хвалить будут, но холодно. Это Ваша доля и Ваша честь!» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1035. Л. 10—10 об.).

** Виссарион Виссарионович Комаров (1838—1908), публицист, издатель, редактор газеты «Свет» (1882—1907). Речь идет о посвященной Леонтьеву передовой от 13 апреля 1889 г., где, в частности, говорилось: «...Его болезненно настроенное воображение, объясняющее его психопатические парадоксы» (Свет. 1889. № 84. 14 апр.). Леонтьев в своих письмах часто обыгрывал это выражение.

*** Речь идет о статье Павла Ивановича Аристова, публициста, поэта, сотрудника «Русского дела» и позднее «Благовеста», «Г. Леонтьев и его гадания». Ср.: «Истомилась жизненность не в России, не в Славянстве, а в старом честолюбце-неудачнике» (Русское дело. 1888. № 2. 10 янв. С. 15). Эту статью Леонтьев назвал в письме К. А. Губастову от 22 декабря 1888 г. «истинно бешеной», заметив, впрочем, что она его не огорчила, «а скорее утешила; — все-таки «реклама»!» (цит. по: Русская литература.

2004. № 1. С. 121). В письме к редактору «Русского дела» С. Ф. Шарапову от 4 мая того же года Леонтьев даже благодарил его за «нападки» Аристова: «...Если человек находит распространение своих идей полезным, то он должен и подобную рекламу находить нелишней, между прочим» (Там же. С. 126).

* См.: О. К. [Новикова О. А.] Une voix de Russie <«Голос из России» (фр.)> // La nouvelle revue. T. 17. 1882. 15 ao t. P. 943—944.

** Имеется в виду брат О. А. Новиковой, Александр Алексеевич Киреев (1833—1910), общественный деятель, публицист. Он все же «возразил» Леонтьеву в статье «Народная политика как основа порядка» (Славянские известия. 1889. № 28, 29).

*** Брошюра «Национальная политика как орудие всемирной революции» вышла в Москве в феврале 1889 г. (Впервые статья опубликована в «Гражданине» в 1888 г.).

**** Статья напечатана в «Гражданине» в 1888—1889 гг.

каль? — И потом, я вам скажу откровенно, что мне почему-то кажется — брат-то ваш *именно* чувствует больше других, что я прав. — Нравственный строй отражается все-таки сильно на литературной деятельности человека. — Мне Ал<ександр> Ал<ексееви>ч, без лести сказать, *ужасно* нравится; — в нем мне представляется удивительное соединение доброты с твердостью, сдержанности с чувством, осторожности с истинной прямою. — *Поэтому именно ему-то* писать обо мне неудобно. — Он не из тех, должно быть, людей, которым ничего не стоит думать одно, а писать другое. — Согласиться со мной, оправдать, расхвалить меня ему решительно неловко из-за Панславистического «оппортьюнизма» (Ведь большинство людей, — согласитесь, все-таки скорее глупо, чем умно; похвали мои отрицания — дураки, имя же им легион, закричат «Киреев от Слав<янской> партии отступился», а он не так как я; он *партии* держится). — А возражать-то (серьезному и искреннему человеку, признающему учение Хомякова и Данилевского)* — возражать-то *нечего*...

Вот видите, и здесь и личные и исторические условия не в мою пользу; ибо и возражения, и даже брань все-таки больше реклама, чем безмолвное и секретное уважение. — *Fatum!*** Провидение! Бог и т. д... С этим можно мириться; и я, как видите, мирюсь и даже весел, когда не очень хвораю; но смирение перед волей Господней (поверьте моему знакомству со Святыми отцами) ничуть не обязывает на бесплодную униженность перед людьми, которые нас знать не хотят. — Зачем давать концерты, на которые никто билетов не берет? — Христианство не обязывает быть глупым и малодушным. — *Позволят* обстоятельства устранить те вещественные препятствия, о которых я упоминал — прекрасно! Надо оставить все *это*; но чтобы не быть без дела и не скучать — надо

будет приняться за подробные и вполне откровенные посмертные записки и о себе самом и о стольких замечательных людях, с которыми я имел сношения в разных местах и на разных поприщах моей прежней, практической деятельности*. — Я думаю, это будет труд не лишенный интереса, и если я успею написать побольше, то он будет выгоден и для наследников или вернее наследниц моего литературного права.

Наследницы эти суть *пополам*: 1) Марья Владиміровна** (с которой я, положим, уже 3 года по «несовместимости нравов», не вижусь, даже и тогда, когда она на короткое время приезжает сюда к От. Амвросию; но этот неизбежный для нашего *духовного* мира *внешний* разрыв не лишает ее прав на мою глубокую признательность за ее прежнюю самоотверженную мне приверженность и помощь) и 2) *Варя****, которая замужем с 84-го года и живет с мужем**** у меня, успокаивая очень добросовестно мою болезненную старость. — (Вы, я думаю, хоть немножко, да помните их? Вы иногда называли их шутя: «Ваши дамы».) Если я исполню эту мечту мою о «Записках», и если рукопись останется после меня интересная и большая, то пожалейте *их* и Вы, и напишите об ней что-нибудь и в России, и в Англии, и во Франции, чтобы она продавалась. — Ведь за других просить не стыдно — не правда ли? Бедной, полу-юродивой же не моей****, несомненно Пра<вительст>во даст хорошую пенсию; надеюсь не менее 1/2 того, что я получаю, а, может быть, и всю. — (Правит<ельственные> лица, замечу кстати, были всегда ко мне гораздо справедливее, чем литераторы, редакторы и критики; — по службе 21 год всего на должностях второстепенных и менее: военный врач, Консул, Цензор — я едва-едва имел право на 1500 р. с<еребром>; но Гр<аф> Делянов, покойный Д. А. Толстой,

* См. об этом: Леонтьев. Т. 6. Кн. 2. С. 258–260.

** См. прим. на с. 118 к статье В. Доброва.

*** См. прим. на с. 118 к статье В. Доброва.

**** Александр Тимофеевич Пронин.

***** См. прим. на с. 115 к статье В. Доброва.

* Данилевский Николай Яковлевич (1822–1885), философ, публицист, естествовед.

** Рок, судьба (лат.).

поддерживаемые приватно Т. И. Филипповым и Княз^{<ем>} Гагариным, бывшим Товарищ^{<ем>} Мин^{<истра>} Внут^{<енних>} Дел — настояли, чтобы мне дали 2 500 р. и в указе об отставке моей сказано, что Государь Импер^{<атор>} дает мне 1500 р. с. за особенно усердную службу и 1000 за литературные труды*. — Книга моя (Восток, Россия и Славянство) была переплетена в дорогой переплет на казенный счет (как мне сказали в Петерб^{<урге>}) и представлена Государю Деляновым, который предварительно просил Филиппова заложить бумажками все страницы и места, для прочтения Государем особенно пригодные**. — (Увы! в России ничего не только сильного, но кажется, и справедливого без участия Начальства — нельзя сделать... Быть может, впрочем, это с культурной точки и лучше (т. е. — не с точки зрения по-европейски понятой цивилизации, а с точки — *оригинального* нашего развития). — Вы, конечно, знаете, что Герб^{<ерт>} Спенсер с ужасом пророчит для ближайших веков «Грядущее рабство»***. — Он как англичанин кровный, — конечно, индивидуалист и трепещет за человечество. — Я же, русский человек, гораздо, может быть, еще более его самобытный в *сфере мысли* (ибо для Спенсера личная легальная свобода и вообще либеральный европеизм — все-таки: *pes plus ultra*)****, — нахожу, что в *сфере практической воли* гораздо приятнее и полезнее —

повиноваться О. Амвросию, Дм^{<итрию>} Андр^{<еевичу>} Толстому, К. П. Победоносцеву и даже здешнему Исправнику, чем *своей будто бы* воле, подчиненной все-таки мнению большинства или общественному мнению, которое по верному определению Дж. Ст. Милля* есть все-таки, ничто иное как мнение *собирабельной* бездарности или пошлости (*mediocrity collective* во фр^{<анцузском>} пер^{<еводе>}). — Если мне иногда неприятно повиноваться От. Амвросию, Государю и даже Исправнику — то я могу утешить себя, что даже и на очень хамоватом Исправнике есть частица мистической эманации от Высшей, Церковью помазанной Власти... И ошибки Власти *мне* только *кажутся* теперь ошибками и неправдой, потому что с *моими* желаниями не согласны... Ошибки же и неправда «общества» — *тем* в моих глазах — приобретут авторитет?.. Итак, да здравствует «Грядущее рабство», если оно, разумно *развитое* Россией, ответит на очередные запросы истории и поставит нас, наконец, и *умственно, духовно, культурно*, а не политически только во главе Человечества. — *Après-vous* — т. е. после нашего культурного плодоношения — *le déluge***, т. е. *конец свету*....)

Это все, к слову, в скобках. — В письме вашему нахожу небольшое возражение, или упрек моей брошюре: «Национ^{<альная>} политика». — Вы говорите мне — зачем я «ставлю на одну ступень *национальность* с *революцией*» и еще, «что страшного в слове революция, если она есть честный протест против *укоренившегося зла*». — Затем вы остановились и прибавили: «ну да это далеко нас заведет!» — Это опасение очень верно, и я воздержусь здесь от основательной с Вами полемики. — Лучше уж, если «пленной мысли раздражение»*** будет у меня очень сильно, напишу об этом в «Гражд^{<анин>}»... «Что вот я получил част-

* См. подробнее: Леонтьев. Т. 6. Кн. 2. С. 626–636. Далее сокращенно: Леонтьев. Делянов — см. прим. на с. 115 к статье Доброва; Толстой Дмитрий Андреевич (1823–1889), граф, в 1865–1880 гг. обер-прокурор Св. Синода (с 1866 г. — министр народного просвещения), с 1882 г. министр внутренних дел; Гагарин Константин Дмитриевич (1821–1915), князь, в 1886–1889 гг. — товарищ министра внутренних дел (см. о нем: Леонтьев. Т. 6. Кн. 2. С. 389–390).

** См.: Там же. С. 631–632.

*** «Грядущее рабство» — русский перевод книги Герберта Спенсера (1820–1903) «The man versus the state» («Человек против государства», 1884). Леонтьев часто ссылаясь на эту брошюру в своих статьях последних лет, большей частью — в оставшихся незавершенными.

**** И не далее, крайний предел (лат.).

* Милль Джон Стюарт (1806–1914), английский экономист и социолог.

** После нас ... потоп (фр.).

*** Цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Не верь себе» (1839).

ное письмо от одного человека даровитого и весьма известного и у нас, и за границей, и он мне вот что пишет.... *Это ужасно!*.. И т. д.». — По крайней мере, Мещерск<ий>* деньги мне за это даст, да и Вам можно тогда вырезку прислать. — Удерживаюсь, впрочем, не без труда, признаюсь! — По поводу Вашего же определения революции — мне вспомнилась мысль Страхова: «Люди вообще понимают только то, что им *нравится*; до остального им дела нет». — Я испугался и огорчился, когда прочел это место у Вас, и подумал: «Неужели и эту выходящую из ряда вон женщину надо тоже отнести в этом случае к тому разряду людей, о которых говорит Страхов... Грустно! И не знаю — кто из нас виноватее. — Кажется — на этот раз *она!*» *Зло?* Что такое *Зло?* Стед** и Навиль*** находят «укоренившимся Злом» то, что Русск<ое> Пра<вительст>во не допускает иноверной Пропаганды, а Победоносцев, Вы и я находим это высшим благом. — Кто служит «революции» и «какой?»

Конечно, — Стед и Навиль, *а не мы с Вами*. — Мое отношение к этому не по одному пристрастию Правосл<авного> сердца, а и по *разуму наугному*. — Если определять сущность революции не так уж «добродушно» и неустойчиво, как Вы, а так, чтобы вынудить согласиться рано или поздно с этим определением одинаково и фанатиков ее, и врагов — то лучшее, самое ясное ее определение будет Прудонское****: «революция есть стремление ко всеобщему и наиполнейшему равенству и счастию на земле». «Нужно даже, по его мнению — равенство умственное». — Одно из главных средств к подобной всеобщей уже вполне *реальной* ассимиляции — есть

* Мещерский Владимир Петрович (1839–1914), князь, публицист, писатель, издатель газеты «Гражданин».

** Стед Вильям Томас (1849–1912), английский журналист и писатель, издатель газеты «Pall Mall».

*** Эдуард Эрнест Навиль, председатель «Евангелического союза», во второй половине 1880-х годов выступил с критикой притеснения лютеран в Прибалтийском крае.

**** Прудон Пьер Жозеф (1809–1865), французский социалист, теоретик анархизма.

равноправность юридическая; равноправность и *смешение* сословий, лиц, вер, племен и наций... И вообще — *смешение*...

Ставши на мою (и Прудоновскую) точку зрения, все ясно, а на вашу все темно. — Разумеется — Стед и Навиль — хотят служить революции (*смешению*, равноправности, *ассимиляции*), а не мы с Вами. — *Зло* понятие в высшей степени *индивидуальное*, пристрастное, сердечное; всеобщая ассимиляция — *грубый, эмпирический*, всеми *видимый факт*. — Для вас или для Ал<ександра> Алексее<вича> — *отчасти* и для меня — власть Турции и Австрии над славянами — есть *зло*; для Абдул-Гамида* и Франца-Иосифа** — *благо*. — Говоря беспристрастно — почему они оба ошибаются, а не вы с братом? — Если же стать на мою или Прудоновскую точку *определения*; то процесс мысли в этом последнем случае — будет гораздо сложнее, но по результату *неотразимее*. — Революция — есть *смешение, ассимиляция*. — Русские, желающие разрушить равноправностью Турцию и Австрию и из свободных славян — составить конфедерацию — значит, в *этом случае* революционеры; — они усиливают ассимиляцию. — *Но...* революционеры они только по необходимому средству, а не *по цели*; — существенная цель их — не сама свобода и равенство славян, *своеобразная культура*, хотя бы и деспотического характера; *внутренний* деспотизм Православия; *внешний* деспотизм Царизма; *экономический* деспотизм общины и т. д. Между русскими есть *один* (К. Леонтьев), который *мономан* и «*психопат*» этой особенной культуры; он беспокоится об *ней-то* собственно, кажется, больше всех других и *видя в настоящее время перед собой больше действия ближайшей цели* или необходимого средства — т. е. *эмансипации* славян, чем *подобия цели* главной — культурно-обособляющей — опасается за эту главную *собственно-национальную цель*,

* Абдул-Хамид II (1842–1918), турецкий султан в 1876–1909 гг.

** Франц-Иосиф I (1830–1916), император Австро-Венгрии.

и напоминает об опасностях эмансипации и ассимиляции; предлагая — думать как можно больше о «шапке-мурмолке» * так сказать (для крайности). — Довольно! Sapienti sat! ** — Статья ваша против Стеда *** *превосходна!!* Благодарю за вырезку; но я получаю «Моск<овские> Вед<омости>» и давно ее читал и восхищался. — И возразить — нечего! Вот это *не революция!* — Это *обособление!* — Это значит, действительно, писать *не зря и не даром* (как я пишу). — И люди, даже и Обер-Прокуроры спешат поддерживать; тут позволительно иметь те *иллюзии* (*это мы нужны*), о которых я говорил в предисловии моей брошюры ****. — А мне как же их иметь, когда *даже и Вы* не совсем так понимаете, что я пишу. — Значит — mea culpa ***** и надо принести плоды покаяния, т. е. постараться замолчать. — Терпелив-то я терпелив, но вполне от самолюбия не только я, но и великие Аскеты, по собственному признанию, до гроба не свободны. — Целую крепко вашу руку и прошу верить, что я вашего добра не забыл и вовек не забуду.

К. Леонтьев.

НВ. Аксакова у меня есть три тома *****; — и я их *очень ценю*, читаю и делал даже gratis ***** из него выписки в *Гражд<анин>*, вроде афоризмов мудрых ***** . — Если бы

* Статью под названием «О шапке-мурмолке» Леонтьев задумал еще в 1882 г.

** Для понимающего достаточно (лат.).

*** В 1888 г. вышла книга В. Стеда «Truth about Russia» («Правда о России»), одна из глав которой была посвящена Православной Церкви и носила название «Тень на престоле». О. Новикова ответила на эту главу в статье, опубликованной в «Contemporary Review». «Московские ведомости» перепечатали эту статью в сокращенном виде. См.: Русская отповедь английскому проповеднику разномыслия // Московские ведомости. 1889. № 35. 4 февр. С. 2.

**** См.: Леонтьев К. Н. Восток, Россия и славянство. М., 1996. С. 512–513.

***** Моя вина (лат.).

***** Речь идет о собрании сочинений И. С. Аксакова, выпускаемом с 1886 г. его вдовой, А. Ф. Аксаковой.

***** Бесплатно (лат.).

***** См.: Мысли, факты и афоризмы // Гражданин. 1889. № 95. 5 апр. С. 2. № 112. 24 апр. С. 2.

Ан<на> Феод<оровна> * не имела бы ко мне той физиологической ненависти, которую она пылает, я бы попросил у нее в дар все Собрание Сочинен<ий> и писем.

Это комментарий к письму Леонтьева Новиковой.

Из письма к Т. И. Филиппову
от 14–15 марта 1890 г. **

В заключение расскажу Вам нечто о двух людях, весьма противоположных, об от. Амвросии и о гр. Л. Н. Толстом ***. Толстой недавно приезжал сюда на 1 сутки для свидания с сестрой ****, которая, собираясь стать монахиней, гостила тут для того, чтобы пользоваться наставлениями о. Амвросия. Приехал он из своего имения через Белёв на своих с двумя дочерьми и племянницей. Он в одиночку правит на одних санках и с ним одна дочь, в других правит племянница и другая дочь. Был у от. Амвросия, благословения не принял, а попросил позволения поцеловаться с ним, старец поцеловал его, а потом *каялся*, т. е. обвинил себя в минутной слабости и сказал, что с Л<ьвом> Н<иколаевичем> надо обращаться как «с язычником и мытарем» *****. Ко мне Т<олстой> также пришел (в Москве он не бывал у меня, хотя я у него был раз по делу чтения в пользу Эбермана в 84 году) *****; был чрезвычайно любезен,

* Аксакова (урожд. Тютчева) Анна Федоровна (1829–1889).

** Автограф неизвестен. Печатается по машинописной копии: РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1025. Л. 76–81. Впервые фрагмент опубликован Г. Б. Кремневым: Трибуна русской мысли. № 3. 2002. С. 120–127.

*** С Л. Н. Толстым Леонтьев познакомился в апреле 1878 г. в Москве. См.: Леонтьев. Т. 6. Кн. 2. С. 615.

**** Мария Николаевна Толстая (1830–1912), графиня; впоследствии стала монахиней Шамординского монастыря. Толстой приезжал в Оптину Пустынь 28 февраля 1890 г.

***** Мф. 18, 12.

***** Владимир Михайлович Эберман (1844–?), поэт, знакомый Леонтьева. «Чтения» в его пользу устраивали Леонтьев и Вл. С. Соловьев.

просидел часа два с лишком и все время спорил о вере. Так как тут *цензуры* не было*, и он мог говорить все ясно, то я между прочим спросил: Вы, значит, в Троицу не верите? А он: «Голубчик К<онстантин> Н<иколаевич>! Как же я буду верить в Нее, когда Ее нет!» На Христа он смотрит по-Ренановски — как на *человека* почти божественного, которому подобного не было** и т. п. Я возразил ему: «А если Он не Бог, то зачем я Его буду слушаться? Я, напр<имер>, сознаюсь, никогда не был расположен к целомудрию и половой морали; без веры в Божеств<енность> Христа и в развитое из Еванг<елия> учение Церкви — на что бы я стал исправляться? А я исправил много самое *воображение* мое, никак не благодаря старости, ибо Вы знаете, что старики нередко чувственнее и гораздо изобретательнее молодых, если у них нет внутренней узды». На это он ответил так: «я не отвергаю пользы Православия и даже старчества: от Амвросий милый старец, я его очень уважаю, и в Ваше исправление я верю, разница между нами та, что я пью сам чистую Еванг<ельскую> воду, а Вам нужно, чтобы эту воду Вам пропустил монах сквозь воронку, в которой много лишнего, песку и всякого сора; я питаюсь прямо ртом, а

* Леонтьев подразумевает, что в 1884 г. Толстой не мог быть вполне откровенен со своим посетителем — цензором Московского цензурного комитета.

** Жозеф-Эрнест Ренан (1823—1892), французский филолог и историк; здесь подразумевается его книга «Жизнь Иисуса» (1863). В незавершенном романе Леонтьева «Подруги» (о работе над которым сообщалось в этом же письме) отец героини (атеист и либерал) дарит ей книгу Ренана со словами: «Вот тебе прекрасная, великая книга. — Поэзии, которую ты любишь, в ней сколько угодно; — а бредни поповские все выбьет...» Но оказывается, что «и Ренан <...> принес пользу»: «Равнодушие и презрительное забвение он заменял хоть человеческим глубоким уважением и любовью» (Леонтьев. Т. 5. С. 559). Соня «впервые стала думать о Христе и любить его» (Там же. С. 561; характерна здесь не прописная, а строчная буква, подчеркивающая отношение героини к Спасителю пока лишь «как к человеку»).

Вам ставят *клизтир* питательный. Это не беда, конечно, если нравственный результат хорош. Но Вы грешите против Вашего разума», — прибавил он еще. Я признаюсь, в свободной беседе с глазу на глаз ожидал чего-нибудь более глубокого и нового, но оказывается и из этой беседы то же, что и из статей его, что этот человек столь оригинальный и характером и в творчестве художественном, в учении своем ничуть не самобытен! Боже! Какая старая песня! *Разум, мораль* и т. д. И какая бесплодная! Так как сестра его рассказывала мне с досадой, что он не только дочерей своих обратил в свое безбожие, но и на крестьян в своем имении начинает иметь влияние, то на прощанье я сказал ему еще вот что: «Жаль, Л<ев> Н<иколаевич>, что у меня мало фанатизма. А надо бы написать в Петербург, где у меня есть связи, чтобы Вас сослали в Томск и чтобы не позволяли ни графине, ни дочерям Вашим даже и посещать Вас и чтобы денег высылали Вам мало. А то Вы положительно вредны!» А он, вообразите, простирает ко мне обе руки и с жаром восклицает: «Голубчик К<онстантин> Н<иколаевич>! Напишите ради Бога, чтобы меня сослали. Это моя мечта. Я делаю все возможное, чтобы компрометировать себя в глазах правительства и все сходит мне с рук. Прошу Вас, напишите!» Я верю искренности этого восклицания: ему хочется пострадать за свою веру и тем усилить действие своей проповеди. Я думаю, что он прав по-своему. Другое дело какой-нибудь *только* энергический, но умом ничтожный и безыменный нигилист: того сегодня повесили, а завтра забыли. А его не забудут, поэтому, пожалуй, и лучше, что его оставляют на воле. Но неужели нельзя ничего придумать, чтобы помешать ему сеять плевелы свои в крестьянской среде? Отчего бы Тульскому епископу*, *разузнавши предварительно*, действительно ли некоторые крестьяне Ясной Поляны прежде ходили в церковь, а после его убеждений

* Епископом Тульским и Белёвским был в то время Никандр (Покровский; 1816—1893).

ходить перестали (*сестре* его, Мар<ье> Ник<олаевне>, говорила это одна из дочерей его, а М<арья> Н<иколаевна> мне), — прислать бы туда для увещания толкового священника, если в Ясной Поляне нет церкви, или если приходской неспособен? Разумеется, минуя всякую полицию. А его самого почему бы (думал я также) Государю не вызвать в Петербург и не сделать ему кабинетных внушений, как делал иногда Ник<олай> Пав<лович>? Конечно, тут есть одно «дипломатическое», так сказать, соображение. Если Толстому *хочется* ссылки, то он и Государя не послушается. Не послушается Государя, тогда уж в самом деле придется сослать и усилить еще более его популярность. Десяток мужиков, правда, предохранишь, а сотни образованных юношей привлечешь к нему. Теперь, по крайней мере, многие сострадательные и щедрые молодые люди отвращаются от него потому, что слышат, что он сам не делает *ровно никаких дел «любви»*: деньгами никому не помогает, о местах просят — не хлопчет, не рекомендует; жене, как слышно, позволяет тоже быть очень скупой и т. п. Не верен сам проповеди любви, а сошли его, окажется верным проповеди безбожия. Ergo* — я думаю, что начальство право в том, что многое ему спускает, но все-таки о «меньшей-то братии» надо бы подумать. И как он сам, Толстой (если это правда) — не подумает своими же словами: «мужик бедный не умеет пить Еванг<ельскую> воду без той “засоренной” воронки, из которой даже Леонтьев предпочитает ее пить. Лишу я мужика воронки, лишу и *воды*: лишу и воронки, и воды, лишу великого утешения. Не *зло* ли я ему сделаю?» Попробую даже написать ему это самое. Кто знает? «fait ce que doit, advienne que pourra!»**

Теперь об от. Амвросии. Около *бывшего* моим Кудинова в Мещевском уезде есть деревня Карманово г. Раевского***; в Кар-

* Следовательно (лат.).

** Делай, что должно, и будь что будет! (фр.); одна из любимых пословиц Леонтьева.

*** Речь идет об имении детей Осипа Григорьевича Раевского (1814—1881). См.: Леонтьев. Т. 5.

манове есть молодой мужик Егор; был в солдатах и пришлось ему в числе других 15 человек вынимать жребий, кому возвращаться домой с билетом. Он помолился: «Илья пророк! Отец Амвросий! *Успенье Божией Матери!** помогите, чтобы домой уйти!» Жребий выпал сообразный его желанию. Егор обещал сходить в Оптину. Возвратившись домой, стал, как водится, откладывать, забывать. Вдруг он тяжело заболевает. Лежал долго, но в памяти. Конечно, стал каяться и снова молиться. Однажды лежит он и видит: входит старичок-монах в коротенькой свиточке, в старой шапочке, подходит и говорит ему: Бог тебе поможет, а исполнить обещание надо. И ушел. Были родные в избе, *но кроме его никто не видал*. Так как это было *не во сне* (что свидетельствуют и родные, т. е. что он не спал), то его это сильно поразило, конечно. Вскоре после этого он поправился, рассказал родным о видении своем и так как он не только никогда самого от. Амвросия не видал, но *даже и портрета его*, а слышал, что у помещика есть карточка, то пошел к Раевскому и увидел, что *это тот самый старикок!* На днях он пришел сюда и старец его принял. Когда он рассказал ему все, от. Амвросий сказал ему: «это по твоей вере — Бог тебе послал и за то, *что ты не пьяница, в семье хорошо живешь и терным словом никогда не бранишься*». Это и Егора и нас всех особенно поразило. Действительно Егор таков и *никогда дурными словами не ругается!* Отец же Амвросий до этого свидания, конечно, и понятия об нем не имел (его деревня верст 70 отсюда).

Относительно явлений и вообще чудес, я, разумеется, не скептик по принципу, уже потому во-1-х, что *не смею* им быть, а дол-

С. 894—895. Брат О. Г. Раевского, Константин (1803—1886) с 1864 г. жил в Оптиной Пустыни и перед смертью был пострижен в монашество. Одна из сестер Раевских, Людмила (близкая подруга М. В. Леонтьевой), стала монахиней Шамординского монастыря.

* Успение было престольным праздником в ближайшем к Карманову приходе — храме села Велина (см.: Там же. С. 792).

жен бы считать себя вовсе не годным для них, так сказать, неподготовленным, испорченным и т. д., если бы и самому мне не пришлось испытать весьма замечательные вещи во время многочисленных и разнообразных моих болезней. Мои случаи были гораздо менее поразительны, чем случай с Егором, но это потому, вероятно, что и без всякой натяжки лжесмирения, нельзя не признать, что этот юноша Егор несравненно чище и достойнее меня: не ругается, не пьет, жене верен, молод, сердцем прост, нет у него за спиной целой ноши — незаконного прошлого; ему Бог послал и видение, и пример удивительной прозорливости старца; я же на себе испытал только быстрые прекращения болей и других страданий от чудотворных икон и от могилы *Опт<инского> Старца Макария*. (Говорил Толстому, он смеется: «погрешаете, К<онстантин> Н<иколаевич>, против разума!»)

Я верю, конечно, в чудеса, но не верю, чтобы они в *наше* время могли часто случаться. Думаю, что нравственная и умственная почва наша вообще плохо для их восприятия подготовлена, быть может, и Сам Господь, ввиду того, что конец мира все близится и близится, не желает уж слишком *Себя обнаруживать*. И всегда помню слова Св. Нифонта Цареградского (которые Вы верно гораздо прежде и тверже меня знали: «что в последние века знамений не будет так много, как теперь (т. е. в его время), но зато люди, которые будут внутренним деланием служить Богу, выше знаменосных отцов станут в Царствии небесном» (цитата не по букве, а лишь по смыслу)*. Оно так и быть должно: человечество, несмотря на возможные и даже очень сильные временные реакции в пользу правильного и неправильного суперна-

* Ср.: «В последнее время те, которые поистине будут работать Богу, благополучно скроют себя от людей и не будут совершать среди их знамений и чудес, как в настоящее время, но пойдут путем делания, растворенного смирением, и в Царстве Небесном окажутся большими отцов, прославившихся знаменами» // Прп. Варсануфий Великий и Иоанн. Руководство к духовной жизни... М., 1994. С. 495.

турализма, будет опять «яко пес на блевотину»* возвращаться к материализму и рассудочности и, наконец, *плоды древа познания погубят окончательно древо жизни* (земной). Так ведь и по Гартману** даже выходит (торжество рассудка, *самосознания*, познания — приведет ко всеобщей гибели). Сил для веры не будет, а будет *сознание*, что без *этих сил* и без веры тоска! Конечно, общий ход таков, но, слава Богу, мы русские теперь на временном, *благоприятном* извороте пути, и не будь я давним послушником от Амвросия, который ни за что не позволит мне обнародовать этот случай с Егором, а будь я просто верующим и духовного ему подчинения на себя не принявшим человеком, то я бы напечатал это, отчасти как важное дополнение к всему тому, что Вы прочтете в моей статье «Добрые вести»***.

Из письма к архиепископу Алексию (Лаврову-Платонову) от 23 сентября 1890 г.****

...Как я радуюсь, что От. Иосиф, которого я полюбил как сына, попал под Ваше Архипастырское крыло!****. Это один из самых добросовестных и способных молодых людей, мне известных. — Надеюсь, что он послужит верой и правдой Церкви Господней!

* Притч. 26: 11; 2 Пет. 2: 22.

** Эдуард фон Гартман (1824—1906), немецкий философ. Сходную цитату из его книги «Религия будущего» Леонтьев приводил в одной из своих статей (Леонтьев. Т. 7. Кн. 2. С. 170).

*** Статья «Добрые вести» из цикла «Записки отшельника» впервые была напечатана в «Гражданине» (1890. № 81, 83, 87, 95).

**** Полный текст и сведения об отношениях Леонтьева с адресатом письма, архиепископом Алексием (1829—1890), см.: Письмо К. Н. Леонтьева к архиепископу Виленскому и Литовскому Алексию (Лаврову-Платонову). Подгот. текста З. Н. Ивановой, вступ. статья и примеч. О. Л. Фетисенко // Русская литература. 2002. № 4. С. 157—166.

***** Речь идет об о. Иосифе Фуделе (1864—1918), которого преосв. Алексей 9 июля 1889 г. рукоположил во дьякона, а через неделю во иерея.

Насчет моей жизни здесь, Вы, вероятно, изволили слышать и от него, и от других, что я благословляю и благодарю Бога за прекрасное успокоение моей болезненной и преждевременной старости (почти что «дряхлости» даже; ибо я едва хожу; а только умом все бодр).

Здесь мне очень хорошо; — близость любимого старца; близость монашества, которое я люблю; — хороший воздух, дом теплый и просторный; виды из окон прекрасные; — особая усадьба за оградой; полная независимость и обеспеченность на первые нужды до гроба и вдобавок еще в той самой губернии, в которой я родился и рос... Как же не благодарить и Бога и тех людей, которые по доброй воле своей послужили Ему орудием в этом случае! — Если можно, скрепя сердце, приучить себя благодарить Творца даже и за те дни, в которые мы видели «злая»*, — то при таких условиях, как мои, благодарность — сама собою, без усилия, беспрестанно движется в сердце и не один раз думается: «Благослови, душе моя, Господа! — *И не забывай всех воздаяний Его!*»**

Хотелось бы здесь окончить земной путь свой; — но кто знает Пути Божии!? Вот у нас здесь 4-й день как заболел (должно быть к смерти) 82-хлетний старец наш Архимандрит Исаакий***. — Бог знает кто

* Перифраз Пс. 16, 13 («Верую видети благая Господня на земли живых») или Пс. 33, 13 («любый дни видети блага»). Возможно, также скрытая цитата из притчи о богатом и Лазаре, Лк. 16, 25 («помяни, яко восприял еси благая твоя в животе твоём, и Лазарь такожде злая»).

** Пс. 102, 2.

*** Настоятель тогда оправился от недуга. После кончины схииерарха Исаакия в 1894 г. настоятелем Оптиной Пустыни стал архимандрит Досифей (Силаев, †1899), оптинский пострижник, с 1878 г. настоятель Георгиевского Мещовского монастыря. О событиях в монастыре, предшествующих болезни настоятеля, Леонтьев сообщал в письме к Т. И. Филиппову от 25–26 сентября 1890 г.: «А у нас здесь (в обители) вот уже более месяца волнение монашеских умов. Скончался еще летом старый казначей от. Флавиан, человек был железный, сухой, но подвижник великий и хозяин примерный. От. архимандрит Исаакий во что бы то ни стало хотел назначить казначеем благо-

заменит его и уживешься ли по-прежнему с новым? — Впрочем, я-то, вероятно, полагую как-нибудь; я ломоть отрезанный все-таки и все здешние иеромонахи мне более или менее приятели. — Но — невольно думается о судьбах прославленной старцами обители! Хорошо как выберут в Настоятели Скитона начальника От. Анатолия; это человек сердцем чистый и благородный. — Остальные иеромонахи, по-моему, все слишком «купцы» и вовсе *ко времени* не подходят; теперь. При современном движении умов (к религии) — в такой знаменитой (и достаточно богатой уже) обители нужен не столько «хозяин», сколько либо известный уже святостью человек, либо *светски* и в *уровень века* образованный че-

чинного отца Макария Струкова (из мелких дворян и замечательного практического юриста), но братия почти вся решительно восстала, через его тяжелый характер и проницательность. От. Амвросий, как слышно, сказал: «где будет большинство братии, там и мой голос!» Значит, старец и братия против отца Макария, а настоятель один горой за него: Дело дошло до Св. Синода, и оттуда пришло приказание — предоставить избрание братии. Архимандрит, несмотря на свой преклонный возраст (81 год), не уступил сразу и, кажется, хотел с разрешения архиерея еще раз сам писать в Синод, но на днях с ним сделался легкий удар: случайно ли или от скорби и волнения — решить трудно. Только едва ли он встанет! Стар слишком. Вот уже несколько дней, как он лежит, хотя и в сознании, но изнеможенный. А старца от. Амвросия уже с июля здесь нет, он в июле уехал за 12 верст отсюда приводить в порядок женскую Шамардинскую обитель, им самим созданную в течение всего 4-х лет и теперь весьма уже многочисленную. Сначала задержался делами и недугами, а теперь настала холодная погода и он останется там на всю зиму. Волнение через это в Оптиной еще больше усиливается, враги отца Макария стараются всех уверить, что старец через него удалился. Хотя это вероятно вздор. Но и без всякой преднамеренности со стороны старца видно, что для Оптиной настали дни испытаний и переворотов после долгого мира и отсутствия важных перемен в личном составе начальства.

Теперь у всех у нас взоры устремлены на игуменскую келью, где кончает все земное поприще этот крепкий и прямой старик. И все мы думаем: «кто то его заменит?» Вопрос о казначействе таким образом отошел вдруг на второй план перед более важным.

Монахи, в среде которых преобладает, конечно, купечество, — уже указывают на одного или

ловек; хотя бы и не опытный даже. — Вот вроде молодого Князя Туркестанова*... А из здешних иеромонахов — все лучшие — прежде всего «хозяева». — Старцу Отцу Амвросию тоже 79-й год... Признаюсь — страшно за Оптину! Отец Исаакий, — положим, сам из богатых прасолов; — и прежде всего тоже «хозяин». — Но зато он был непосредственным питомцем великих учителей Моисея и Макария; — человек прямой, старинный, грубоватый и даже ограниченный, но искренний и твердый; который и с людьми самого высшего круга умел обращаться просто и с достоинством... Он мне представлялся всегда как бы обломком от формации XVI-го века. — Он многого не понимал из того, что творится теперь вокруг его; — но сам внушал к себе глубокое уважение... И так как

двух из своей братии. И правда, что эти кандидаты люди добросовестные и довольно духовные. Но увы! Мало ли что годилось 30 лет тому назад. Не то время, при теперешнем повороте столь многих образованных мирян к религии, в такую прославленную обитель нужен не хозяин и не «телесный» подвижник, а человек такой, в котором искренняя и тонкая чувством религиозность соединялись бы со светским (а не семинарским) воспитанием. Ах как жаль, что Вы разошлись с К. П. Победоносцевым! Вот хорошо бы, если бы на этот раз, оставивши выборы (купеческие) в стороне, кто-нибудь внушил бы членам Св. Синода прислать в настоятели Отца Трифона (князя Бориса Туркестанова), который недавно полагал здесь начало и потом послан иеромонахом в Осетию! Не беда, что молод: дух хорош, старцу повиновался, Оптину любит, служит великолепно, умен и по-нашему образован и воспитан.

Мне-то самому ничего; я и с купцами здешними уживаюсь. Славы Оптинской жалко — вот что! Надо бы, чтобы дух обители попал в течение духа времени, благо это течение хорошо» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1025. Л. 96—98).

* С будущим митрополитом Трифоном, кн. Борисом Петровичем Туркестановым (1861—1934) Леонтьев познакомился осенью 1888 г., когда тот поступил послушником в Оптину Пустынь. 7 апреля

вообразить себе трудно, чтобы он встал с постели в такие года и при серьезной болезни, то, любя Оптину, поневоле потревожишься за ее будущность! — Кроме скитского Отца Анатолия, духовного, сердечного и мыслящего человека, — все остальные иеромонахи недостойны занять его место; или по дурному характеру, или по недостатку ума, или по *весьма средней* (чтобы не сказать — *малой*) духовности жизни, и почти все одинаково по крайней необразованности своей. — Ах! Будь я очень близок к Конст<антину> Петровичу* или к самым влиятельным членам Св. Синода — я бы сказал: «Время — особое, исключительное; — пришлите сюда Отца Трифона (Туркестанова); ничего, что молод; он полагал здесь начало и человек в уровень *наших* понятий; — а хозяйничать — помощники всегда найдутся; — на это купцы лучше; а их здесь много!»

Вот что бы сказал! <...>

Лобзая архипастырскую десницу Вашу и усердно прося Вашего благословения и Св. молитв, остаюсь навсегда признательный за Вашу любовь, с глубочайшим почитанием,

Вашего Высокопреосвященства
грешный молитвенник и слуга
К. Леонтьев.

1889 г. Леонтьев писал Филиппову: «...дворян, слава Богу, все прибавляется. Осенью поступил еще молодой князь Туркестанов, очень умный и пока идет хорошо» (РГАЛИ. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 1025. Л. 55). Осенью 1890 г. о. Трифон (тогда студент Московской духовной академии) приезжал в обитель, где «полагал начало». Следует вспомнить также, что в 1894 г. иеромонах Трифон произнес в соборном храме монастыря слово в девятый день по кончине архим. Исаакия (см.: Житие оптинского старца схиархимандрита Исаакия (Антимонова). Оптиная Пустынь, 1995. С. 138—148).

* Речь идет о К. П. Победоносцеве.



Борис Зайцев

Достоевский и Оптиная Пустынь

Очерк замечательного русского писателя Бориса Константиновича Зайцева (1881†1972), большую часть своей жизни проведшего в вынужденной эмиграции с 1922 года, написан был в Париже в 1956 году. Великолепный стилист, шедший в литературе вслед за великими классиками XIX века — Достоевским, Тургеневым, Гончаровым, Чеховым, он приобрел собственный голос, узнаваемую «зайцевскую» манеру письма. Его романы, повести, рассказы, биографические очерки, заметки — всё пронизано православным мировоззрением. На гужбине писатель жил воспоминаниями о духовных русских монастырях — Валаамском, Троицком, а, пожалуй, задушевнее всего Оптиной Пустыни. Сочинения Б. Зайцева у нас переизданы многократно — это и собрания сочинений и отдельные тома, в том числе сборник под названием «Святая Русь» (7-й том собрания его сочинений). Это один из дорогих русскому православному читателю мастеров слова.

Борис Зайцев в своем очерке очень высоко ставит духовное (и литературно-художественное, конечно) значение последнего романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы», который, несмотря на свою обширность, не был закончен. Не только Зайцев, но и многие светские и духовные писатели высоко ценили роман Достоевского как произведение духовно-действенное. Оно было очень популярно в России, не потеряло своего интереса и сегодня. Вообще «Братья Карамазовы» — одно из величайших произведений мировой литературы и переведено на все главные языки мира.

Но все-таки были и не столь положительные мнения о романе. Об этом необходимо сказать. И лучше всего послушать голос близкого к Оптиной другого писателя — Константина Леонтьева. Ограничимся лишь двумя выписками из его писем, посланных из Оптиной Пустыни в январе и мае 1891 года.

В первом он критикует мнения Вл. Соловьева и Достоевского о том, что «небесный Иерусалим» сойдет на землю. «Весьма полезно будет, — пишет он, — протест взгляды епископа Феофана. Он говорит совершенно другое, и, разумеется, под этими его рассуждениями подписались бы... все оптинские и афонские старцы. А когда Достоевский напечата-
тал свои надежды на земное торжество христианства в «Братьях Карамазовых», то оптинские иеромонахи, смеясь, спрашивали друг у друга: «Уже не вы ли, отец такой-то, так думаете?» Духовная же цензура наша прямо запретила особое издание отца Зосимы, и нашей было предписано сделать то же («Ибо, — сказано было, — это может подать повод к новой ереси»)»*.

И вот второй отрывок: «В Оптиной «Братьев Карамазовых» правильным православным сочинением не признают, и старец Зосима нигуть ни учением, ни характером на отца Амвросия не похож. Достоевский описал только его наружность, но говорить его заставил совершенно не то, что он говорит, и не в том стиле, в каком Амвросий выражается.

* Леонтьев К. Избранные письма. СПб., 1993. С. 554—555.

У отца Амвросия прежде всего строго церковная мистика и уже потом — прикладная мораль. У отца Зосимы (устами которого говорит сам Федор Михайлович!) прежде всего мораль, “любовь”, “любовь” и т. д., ну, и мистика огчень слаба*.

Это весьма заостренное мнение. Во всяком случае «Братья Карамазовы» в свое время многих привели к вере, к Православию. Они были неким порогом, ступив на который, все же можно было идти дальше. И это немало. Но — споры были и будут...

Монах Лазарь

Козельску ведет широкий большак екатерининских времен, из Сухиничей в Калугу. Вековые березы, ракиты, по протоптанным тропинкам бабы-богомолки в лаптях, с палками в руках. В самом Козельске много церквей, он располагает к себе, есть в нем даже нечто древнее: остатки валов, за которыми отчаянно и безнадежно сопротивлялись жители когда-то татарам.

За рекой Жиздрой, здесь довольно полноводной, бор — начало знаменитых Брянских лесов. В бору, тут же под Козельском, пред лугами и вековым лесом монастырь Оптиная Пустынь. Край мирный, светлый. Его можно очень полюбить.

Монастырь не из древних. Однако упоминается уже в XVI веке. Как нередко обители, претерпел разные судьбы: к концу XVIII века захирел, в нем осталось всего три монаха, из них один слепой. Московский митрополит Платон**, объезжая епархию в начале XIX века, «пленился прекрасным месторасположением Оптиной», решил восстановить ее.

Разыскал и назначил туда настоятелем смиреннейшего Авраамия, огородника Пешношского монастыря. После долгих стараний, борясь с бедностью, почти нищетою («не было полотенца вытереть руки за литургией»), Авраамий одолел наконец, вывел обитель из трудности, и она

оказалась совсем на особом пути, отчасти единственном среди русских монастырей. Единственность эта — «старчество».

Родоначальником старчества в России был Паисий Величковский, живший в Молдавии в XVIII веке. Разными путями проникло в Россию его влияние — и особо расцвело именно в Оптиной.

Старчество есть учительное установление, в духе любви и сострадания. Старец, живущий при монастыре в скиту, являлся обликом святости, укрепления, просвещения внутреннего и ободрения мирян. Монастырь и скромная келейка, в стороне от главных зданий, стоит себе на берегу Жиздры, под осенением вековых сосен, никуда не сдвигается. А вот «мир» движется к ней. В келейке старец принимает ежедневно со всех концов стекающихся посетителей. («Издалека?» — спрашивает бабу старец Зосима в «Карамазовых». «За пятьсот верст отселева...» — по тем временам не пешком ли?)

Посетители эти — больше всего страждущие, «чающие Христова утешения». Или с сомнениями, или с горем, или за советом: как поступить? Старец себе уже не принадлежит. Он ихний. И принадлежит высшему. Через него идут токи света и добра, токи любви — неиссякающей. В этом его сила и слава монастыря. Не древности, не даже чудотворные иконы, не какое-либо особое подвижничество, а вот любовь и осиянность, утешение и ласка — это и есть сила, влекущая сюда. Жизнь темна, тяжела. Кто мне брат и друг? Да, но вот там, за пятьсот верст, на берегу какой-то Жиздры, есть святой человек, все поймет, все облетит любовью, светом. Утешит, подкрепит и посочувствует — о, как нуждается сердце человеческое в утешении!

* Леонтьев К. Избранные письма. СПб., 1993. С. 568.

** Московский митрополит Платон (в миру Петр Георгиевич Левшин; 1737—1812) выдающийся церковный деятель и проповедник, философ, богослов, историк. Автор многих трудов (собрание его «Поучительных слов» вышло в начале XIX в. в 20 т.).

Почему именно Оптиная Пустынь — не известно, но она и оказалась излучением света в России девятнадцатого века. Удивительно и то, что, не будучи бенедиктински ученой обителью, оказалась она все же и неким культурно-духовным центром: издавала новые переводы святоотеческой литературы, издавала рукописи старца Паисия (Величковского). Иван Киреевский, русский философ, сын той Дуни Юшковой (в замужестве Киреевской)*, которая в детстве называла юношу Жуковского «Юпитером моего сердца», — этот Киреевский вместе с архимандритом Макарием Оптиным работал в изданиях Оптиной Пустыни. (Киреевский жил недалеко, в имении своем Долбине, где некогда написал свои шедевры Жуковский.)

Вышло вообще так, что Оптиная Пустынь помимо «окормления» крестьян, купцов, помещиц и мещанок явилась притяжением и для высшей русской духовной культуры. Не говоря уже о славянофилах, в ней побывали Гоголь, Достоевский, Владимир Соловьев, Леонтьев, Лев Толстой.

Гоголь в тоске просил оптинцев молиться за него. Леонтьев в старости поселился в Оптиной, годы жил, заканчивая бурно-страстную и удивительную свою жизнь, чтобы в конце принять постриг монашеский в Троице-Сергиевой Лавре. Приходил и Толстой. И раньше, и перед самой смертью... — великой гордыни, но и великих томлений старец: постучался и думал даже, что его не примут как отверженного. Низко ему поклонились, но как-то не вышло ничего.

С Достоевским же вышло.

Достоевский заканчивал свою жизнь грандиозно. С внешности будто и просто: скромная квартирка, клеенчатый диван, в кабинетике темновато. Смирная, обожающая жена (после скольких бурь!), де-

ти, которых очень любил. Но в квартирке такой в Петербурге и в Старой Руссе, куда уединялся, писал и написал величайшее свое, да и в мировой литературе из величайших — «Братья Карамазовы».

Начал в 1877 году. Как всегда у него, писание претерпевало изменения еще в душе, до бумаги. Роман упирался больше в детей — Алеша и дети. Сам Алеша назывался «идиотом», как бы продолжение князя Мышкина. Но общее направление с самого начала было утвердительное: против бесов несокрушимая сила.

Достоевский много колебался в жизни своей. Разные вихри раздирали его. Дьявол немало состязался в его сердце с Богом — душа познала глубоко и тьму, и свет. И сомнения величайшие. Великие падения и даже дух преступности вместила. Но жизнь шла, годы накапливались. Дьяволу становилось нелегко. «Братья Карамазовы» — уже последняя, безнадежная его борьба и поражение. Он низвергнут. Юный Алеша, как некогда пастушок Давид, окончательно побеждает Голиафа. Давид сразил камнем пращи. Алеша, в которого зрелый и окрепший Достоевский вложил светлую часть своей души, сражает Голиафа обликом своим, и за обликом этим воздымается смиренный русский монастырь со старцем Зосимой.

Встреча Достоевского с Оптиной давно назревала, незаметно и в тиши. Для замысла «Карамазовых» нужен был некий адамант, или светлый ангел, с которым легко и не страшно: поможет! Достоевский давно уже склонялся в эту сторону. «Русский инок» произрастал в его душе — последние годы сильнее, но надо было как бы прикоснуться или приобщиться тому таинственному миру, который привлекал уже, но еще не совсем ясно.

Все вышло само собой и, разумеется, не случайно. Весной 78-го года Достоевский почти начал писать «Братьев Карамазовых». В его апрельском «Письме к московским студентам»* сквозит тема романа.

* Авдотья Петровна Киреевская, урожденная Юшкова, во втором браке Елагина (1789—1878) — мать знаменитых славянофилов, братьев Ивана и Петра Киреевских.

* Имеется в виду письмо Ф. М. Достоевского от 18 апреля 1878 г. студентам Московского уни-

Но вот в мае все обрывается. Заболевает трехлетний сын Федора Михайловича Алеша — любимый его сын. «У него сделались судороги, наутро он проснулся здоровый, попросил свои игрушки в кроватку, поиграл минуту и вдруг снова упал в судорогах».

Так записала Анна Григорьевна*. Наследственность, эпилептический припадок! «Федор Михайлович пошел проводить доктора, вернулся страшно бледный и стал на колени около дивана, на который мы положили малютку. Я тоже стала на колени, рядом с мужем. ...Каково же было мое отчаяние, когда вдруг дыхание младенца прекратилось и наступила смерть. (Доктор-то сказал отцу, что это уже агония.) Федор Михайлович поцеловал младенца, три раза его перекрестил и навзрыд заплакал. Я тоже рыдала».

Можно представить себе, что это было для Достоевских. Любимый сын — и эпилепсия. Кого люблю, того и погубил. За что? За что младенцу не вкусить жизни, за что мне крест? Со времен Иова все то же и все то же, и никто не может разрешить.

Анна Григорьевна знала мужа. Любовь, женское преданное сердце подсказало ей решение: «Я упростила Владимира Сергеевича Соловьева, посещавшего нас в эти дни нашей скорби, уговорить Федора Михайловича поехать с ним в Оптину Пустынь, куда Соловьев собирался ехать этим летом».

Она не знала, конечно, какой дар приносит нашей литературе.

20 июня Достоевский уехал в Москву. Оттуда, вместе с Соловьевым, в Оптину.

Время это было — особенный расцвет Оптиной: связано со старчеством о. иеро-

верситета. В нем он размышляет о необходимости поиска «правой дороги». В романе «Братья Карамазовы», работу над которым писатель только что начал, этим же озабочен Алеша Карамазов.

* Анна Григорьевна Достоевская, урожд. Сниткина (1846—1918) — жена Ф. М. Достоевского, автор книги «Воспоминания» (1925, 1981), которую Зайцев далее цитирует в очерке.

схимонаха Амвросия, самого знаменитого из Оптиных старцев.

Человек это был явно необыкновенный. Необычайность его и в том состояла, что он будто был и обычный. В молодости преподаватель Липецкого Духовного училища, просто себе учитель, нрава живого, веселого. Иногда грустил и задумывался — с кем этого не бывает, особенно в молодости? Но в общем как все. И вот этот «обычный», гуляя однажды в лесу близ Липецка и подойдя к ручью, в журчании его вдруг явственно услышал: «Хвалите Бога, любите Бога».

Насчет монашества он решил не сразу, в конце концов попал в Оптину и себя нашел. Получилось так: перенеся тяжкую болезнь, уже лет тридцати, о. Амвросий навсегда остался слабым физически, но удивительно радостным, светлым и нежным душевно. «Монаху полезно болеть», — говорил он. В немощи его — сила. Эта сила — любовь и свет. Их нельзя скрыть. Они сами выходят, сладостно облекают приходящих.

Оттого и толпится у него народ в приемной скитского домика, в зале с иконами, портретами архиереев, с цветником за окном. Оттого получал он до шестидесяти писем в день, с четырех утра отвечал сам на некоторые, на другие давал указания, как ответить.

Позже выходил, благословлял, беседовал, давал советы. Все принимал и всех. Особенно сострадал грешникам.

Наставлял, как изживать горе, но мог научить и как «кормить индюшек господских» — баба со слезами просила: «Вседохнут!» Ему говорили: «Батюшка, напрасно теряете с ней время!» — «Да ведь в этих индюшках вся ее жизнь».

Кроткими, прекрасными глазами читал он в душе и не об одних индюшках. Человека видел насквозь, многое предсказывал. Говорили, что иногда читал письма, не вскрывая их, и диктовал ответы. Дар прозорливости был у него велик, жизнеописание изобилует им.

К нему в Оптину и попал Достоевский в июне 78-го года. Пробыл в монастыре



Федор Михайлович Достоевский

двое суток, все видел, все запомнил — об этом говорят и описания монастыря в «Братьях Карамазовых».

«С тогдашним знаменитым старцем о. Амвросием, — пишет Анна Григорьевна, — Федор Михайлович виделся три раза: раз в толпе, при народе, и два раза наедине».

Вот где уж кровная, неизбывная связь «Братьев Карамазовых» с Оптиной Пустынью, старца Зосимы романа со старцем

Амвросием: связь в страдании и утлении его.

Вторая книга романа окончена в октябре 1878 года, через три месяца по возвращении из Оптиной. В главе «Верующие бабы» описан прием посетителей у старца Зосимы.

« — О чем плачешь-то?

— Сыночка жаль, батюшка, трехлеток был, без двух только месяцев и три бы годика ему. По сыночку мучусь, отец, по

сыночку. Последний сыночек оставался, четверо было у нас с Никитушкой, да не стоят у нас детишки, не стоят, желанный, не стоят... Последнего схоронила и забыть его не могу. Вот точно он тут передо мной стоит, не отходит. Душу мне иссушил. Посмотрю на его бельишечко, на рубашоночку аль сапожки и взвою. Разложу, что после него осталось, всякую вещь его, смо-
трю и вою...»

Старец утешает ее сначала тем, что младенец теперь «пред Престолом Господним, и радуется, и веселится, и о тебе Бога молит. А потому и ты не плачь, но радуйся».

Но она «глубоко вздохнула». Ей нужен он сейчас, здесь, земное утешение ей нужно. Земное — так чувствовал и сам Достоевский. Она продолжает:

« — Только бы минуточку ед-
ну повидать, послыхать его, как
он играет на дворе, придет, бы-
вало, крикнет своим голосоч-
ком: “Мамка, где ты?” Только бы
услыхать-то мне, как он по ком-
нате своими ножками пройдет
разик, ножками-то своими тук-
тук, да так часто, часто... Да нет
его, батюшка, нет, и не услышу его
никогда... »

Так говорит баба в «Братьях Карамазовых», жена извозчика Никитушки, и из-под печатных букв выступает кровь сердца Федора Михайловича Достоевского.

Тогда старец Зосима продол-
жает так:

« — Это древняя “Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, потому что их нет”, и такой вам, матерям, предел на земле положен» *.

Пусть она плачет, но не забывает, что сыночек «есть единый из ангелов Божиих».

«... И надолго еще тебе сего великого материнского плача будет, но обратится он под конец тебе в тихую радость, и будут горькие слезы твои лишь слезами тихого умиления и сердечного очищения, от грехов спасающего».

Вот это-то самое важное, горе в тихую радость, горькие слезы — в слезы тихого умиления.

Но ведь только сказать, просто сказать страждущему — мало. Вот было у старцев Оптинских, — у Амвросия, наверное, и

[illegible]

Тогда не бояться и науки, пути дабы
новы вник и хитрости.

Останутся горюхи. Буду из
Европы в свою кувшину
и горюхи свои
и вывозить
своими руками, продаю,

* Достоевский неточно цитирует Книгу пророка Иеремии (гл. 31, ст. 15) и Евангелие от Матфея (гл. 2, ст. 18): «Глас в Раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет».

особенно, — нечто излучавшееся и помимо слова, некое радио любви, сочувствия, проникавшее без слов. Без него разве были бы живы слова?

Анна Григорьевна считала, что слова Зосимы бабе — именно то, что сказал старец Амвросий самому Достоевскому. Она мужа знала насквозь, обожала его, горе было общее, невозможно подумать, что она говорила легкомысленно.

« — А младенчика твоего помяну за упокой, как звали-то?

— Алексеем, батюшка.

— Имя-то милое. На Алексея Человека Божия?

— Божия, батюшка, Божия, Алексея Человека Божия!»

Достоевский вернулся из Оптиной, по словам Анны Григорьевны, «утешенный и с вдохновением приступил к писанию романа».

Горе не напрасно. Стоны над мальчиком Алексеем не напрасны. Встреча с Оптиной в конце жизни, в зрелости дара — более чем не напрасна: это судьба Достоевского.

Еще в «Идиоте» повеяло у него духом света. Князь Мышкин излучает светло-зеленоватые лучи — лучи надежды. Но там связано это еще с безумием. В набросках к «Карамазовым» Алеша именуется «идиотом». Но рядом с этим тянет Достоевского и к более ровному, прочному, трезвенному свету.

В письмах из-за границы он упоминает о желании побывать в русском монастыре. Монастырь и облик инока русского с некоторых пор стали все сильнее его занимать. Для «Карамазовых», при сопоставлении «да» и «нет», Бог и дьявол, подвижник стал необходим. На кого опереться? У кого свет неболезненный?

Все слагалось как надо: не умер бы мальчик Алеша, не был бы сражен горем отец, может быть, и не поехал бы этот отец с Соловьевым на лошадях из Калуги через убогий Перемышль в Козельск на опушку Брянских лесов, на реку Жиздру к стар-

цу Амвросию. Или если бы и поехал, то в ином состоянии, просто как путешественник? А ведь так получилось, что внутренне между ним и бабой, женой Никитушки, разницы нет. Оттого и принял он в душу так полно и утешительно и образ монастыря, и образ старца Амвросия.

Младенец Алексей переселился в младенца бабы и далее, выше, в Алешу Карамазова. А этот Алеша теперь уже не «идиот» набросков, а милый и красивый, здоровый русский юноша с нежной и глубокой душой. Его брат Иван знает с дьяволом, исполняет его роль, но и погибает в безумии. Победители — Алексей и Дмитрий, один в экстазе любви, другой в экстазе невинного страдания.

А над всем облик старца Зосимы — как свет немеркнущий. Любовь, кротость и страдание.

Если б не встретил его Достоевский лицом к лицу, если бы дважды, наедине, как на исповеди, быть может, в слезах, как та баба, не изливал душу — не было бы таинственного заднего плана, полуневидимого, но чувствуемого, во всей части романа, посвященной старцу Зосиме.

Константин Леонтьев, барин, эстет, душа редкостной одаренности, жизнелюб и прожигатель жизни, в духе языческом, но и отравленный иным миром, кончал дни при Оптиной. О Достоевском полагал, что христианство его «розовое». Сам был довольно суров. Ему бы все подсушить, «подморозить»*. Ему и на Афоне, где бывал, нра-

* Отстаивая самобытность исторического пути развития России, К. Н. Леонтьев убеждал современников в том, что «надо подморозить хоть немного Россию, чтобы она не гнила» (Леонтьев К. Н. Передовые статьи Варшавского дневника 1880 года // Собр. соч. М., 1912. Т. 7. С. 124). Великий мыслитель страстно обличал (в скобках заметим: за полвека до большевистского переворота 1917 года), провидчески предостерегал и отвергал социалистический, уравнилельский прогресс, усредняющий, обезличивающий человека. «О, ненавистное равенство! — восклицал он. — О, подлое своеобразие! О, треклятый прогресс! О, тучная, усыренная кровью, но живописная гора всемирной истории! С конца прошлого века ты мучаешься новыми родами. И из страдальческих недр твоих

вились больше облики властные, водители с железным посохом (Иероним). Да и само православие его с железным посохом. Но тогда, пожалуй, и старец Амвросий слишком мягок? Добр, сострадателен и снисходителен? Его тоже бы подморозить?

Достоевского пленил Амвросий. Конечно, в старца Зосиму он вложил и другое. Возможно, что упреки Достоевскому за Зосиму, — если смотреть на него, как на портрет Амвросия, — отчасти правильны («русский инок не совсем таков, крепче и мужественнее» — не один Леонтьев так считал). Главное, однако, остается. Зосима — христианнейший образ, в высшем смысле глубоко православный.

Шестую книгу «Карамазовых» («Русский инок») Достоевский написал через год, летом 79-го года, в Старой Руссе, в трудных условиях.

«Я все время был здесь, в Руссе, в невыносимо тяжелом состоянии духа. Главное, здоровье мое ухудшилось... Все время писал, работал по ночам, слушая, как воет вихрь и ломает столетние деревья». Очень Достоевский: ночь, буря, одиночество, чувство недалекого конца и чувство, что создается великое, надо успеть его закончить — жить оставалось полтора года.

«Сам считаю, что и одной десятой не удалось того выразить, что хотел. Смотрю, однако, на эту книгу шестую, как на кульминационную точку романа».

выползает мышь! Рождается самодовольная карикатура на прежних людей; средний рациональный европеец, в своей смешной одежде, неизобразимой даже в идеальном зеркале искусства; с умом мелким и самообольщенным, со своей ползучей по праху земному практической благонамеренностью! Нет! Никогда еще в истории до нашего времени не видал никто такого уродливого сочетания умственной гордости перед Богом и нравственного смирения перед идеалом однородного, серого рабочего, только рабочего и безбожно-бесстрастного всечеловечества! Возможно ли любить такое человечество?! Не следует ли ненавидеть не самих людей, заблудших и глупых, а такое будущее их всеми силами даже и христианской души?! Следует! Следует! Трижды следует!» (Там же. Плоды национальных движений на православном Востоке. Т. 6. С. 268–269).



Точка высокая, но еще выше — заключительная глава седьмой книги («Кана Галилейская») — вся книга седьмая названа «Алеша». Она и ведет к победе. Она и две следующие, 8-я и 9-я, кончены к январю 1880 года — последнего в жизни Достоевского.

«Кана Галилейская» есть некое видение Алеши. По роману он послушник старца Зосимы, обожающий его. Но должен потом идти в мир, в монастыре не остается — в мир с деятельной любовью, по завету старца. Считал Достоевский, что напишет Алешу в миру в следующем романе. Но роман этот не дано было ему написать.

Старец Зосима скончался. Ждали чуда. Но его не было, а даже коснулось тела его обычное тление («тлетворный дух»). В монастыре смущены. Враги старчества и завистники Зосимы (а такие были) злорадствуют. Смущен сам Алеша.

Но вот, вечером, он в келии старца, где над гробом его о. Паисий читает Евангелие. Чтение это от Иоанна, знаменитая вторая глава: «...И в третий день брак бысть

в Кане Галилейской... » Алеша слушает, обрывки мыслей проносятся в голове.

«И не доставшу вина, глагола Мати Иисусова к Нему: вина не имут»... — слышалось Алеше*.

— Ах, да, я тут пропустил, а не хотел пропускать, я это место люблю, это Кана Галилейская, первое чудо**... Ах, это чудо, это милое чудо! Не горе, а радость людскую посетил Христос... »

Видение в том, что в какую-то минуту полубодрствования полудремоты «... к нему подошел он, сухонький старичок, с мелкими морщинками на лице, радостный и тихо смеющийся. Гроба уже нет... Лицо все открытое, глаза сияют. Как же это, он, стало быть, тоже на пире, тоже званный на брак в Кане Галилейской...

— Тоже, милый, тоже зван, зван и призван, — раздается над ним тихий голос. — Зачем сюда схоронился, что не видать тебя? Пойдем и ты к нам». Голос его, голос старца Зосимы...

— Веселимся, — продолжает сухонький старичок, — пьем вино новое, вино радости новой, великой... »

«Что-то горело в сердце Алеши, что-то наполнило его вдруг до боли, слезы восторга рвались из души его. Он простер руки, вскрикнул и проснулся».

«Теперь выходит он из келии, в темноту ночи, уже другим человеком. Полная восторгом, душа его жаждала свободы, места, широты. Над ним широко, необозримо раскинулся небесный купол, полный тихих, сияющих звезд...»

Тут-то вот и пал он на землю, пал Алеша и вместе с ним Достоевский. «Он не знал, для чего обнимал ее... неудержимо хотелось целовать ее всю, но он целовал ее плача, рыдая и обливая своими слезами, и иступленно клялся любить ее, любить во веки веков. «Облей землю слезами радости твоя и люби сии слезы твои... — произве-

нело в душе его. О чем плакал он? О, он плакал в восторге своем об этих звездах... Как будто нити ото всех этих бесчисленных миров Божиих сошлись разом в душе его и она вся трепетала, «соприкасаясь миром иным». Простить хотелось ему всех и за все, и просить прощения...

Что-то твердое и незблемое, как этот свод небесный, сходило в душу его. Какая-то как бы идея воцарялась в уме его — и уже на всю жизнь, и на веки веков».

Это и была та гармония, над которой всю жизнь бился и мучился Достоевский. Она сошла на его героя теперь в мистическом озарении, заливая светом все противоречия, все бездны. Она явилась в скромном монастыре, пред лицом звезд, под веянье бора оптинского, в тихую ночь незадолго до земного конца.

Из средневековья вижу лишь одну фигуру. Странник и изгнанник, пешком бредущий по тропинкам Казентина или Лундждианы, с рукописью «Божественной Комедии» в мешке за спиной*. На вечерней заре подходит ко воротам монастыря и стучит. Привратник высовывает голову.

— Что тебе нужно? Чего ищешь, странник?

— Мира.

Он искал также ночлега. И получил его. И позже, в монастыре Фонте Авеллана, в горах близ Урбино, написал некото-

* Ин. 2, 3: И как не доставало вина, то Матерь Иисуса говорит ему: вина нет у них.

** Иисус Христос в Кане совершил первое чудо: на празднестве бракосочетания в знакомом семействе он превратил воду в вино.

* В очерке о Данте Зайцев рассказывает: «Быть может, если бы с 15 июня по 15 августа 1300 г. не состоял Данте приором (один из шести высших магистров республики), если бы в апреле 1301 г. не был ему поручен надзор за городскими постройками, и 14 числа не высказался он в Совете Ста против папы Бонифация VIII, то иначе повернулась бы его жизнь; может быть, его не выгнали бы из Флоренции, не бродил бы он по Италии нищим поэтом и философом, учителем поэзии и высокомерным приживальщиком. Но тогда, возможно, иной была бы и «Божественная Комедия» — мы не знаем, какой именно. Ибо слишком много гнева, тоски, скорбных раздумий дало ему как раз изгнание» (Зайцев Б. Данте и его поэма. М.: Вега, 1922. С. 19). Свой изгнаннический шедевр о странствиях человеческой души по Аду, Чистилищу и Раю Данте создавал между 1314—1321 гг.

рые песни «Рая», уложив их потом в тот же мешок.

В России XIX века три гения явились в Оптину тоже за словом «мир». Замечательно, что величайший расцвет русской литературы совпадает с расцветом старчества в Оптиной. Все приходили за утешением и наставлением. Гоголь тосковал, преклонялся к старцам в ужасе от своих грехов (собственно, в ужасе от своей особенной природы). Лев Толстой — поиски истины. Достоевский... — про него сказано уже, для чего явился. Леонтьев так и остался в Оптиной.

Великая литература, вовсе не столь неколебимая, как литература Данте, Кальдеронов, шла к гармонии и утешению на берега Жиздры, к городку Козельску.

Жизненно самый сильный след остался у Леонтьева, не гения, принявшего монашество и монахом скончавшегося.

У Толстого полная, трагическая неудача.

Встреча с Оптиной Достоевского, кроме озарения и утешения человеческого, оставила огромный след в литературе. «Братья Карамазовы» получили сияющую поддержку. Можно думать, что и вообще весь малый отрезок жизни, оставшийся Достоевскому в жизни, отданный целиком «Карамазовым», прошел под знаком Оптиной.

Его жизнь кончалась вместе с писанием. В ноябре 1880 года последние главы «Братьев Карамазовых» были отосланы Каткову. 28 января 1881 года Достоевский скончался.

Последняя песнь «Рая» написана в Равенне в 1321 году. Это был последний год жизни Данте.

21 и 24 апреля 1956 года

Впервые опубликовано: Русская Мысль. Париж, 1956. 21, 24 апреля. № 889, 890. Печатается по изд.: Зайцев Б. К. Собр. соч.: В 5 т. М., 2000. Т. 7.



Монах Лазарь (Афанасьев)

Венок близким моей душе деятелям культуры XIX века

Они углили языку родному,
Любви к Руси — отеческому дому,
Как бы распахивая двери в сад,
В простор благоуханный, в небеса,
Где краски, звуки — все неповторимы,
Где гудны весны и волшебны зимы, —
Наш мир, в котором красота и лад,
Где всякий листик ангелы святят,
Где над полями, над раздольем вольным
Звучит глас Божий звоном колокольным.
Русь — Божья: как бы ни была трудна
Ее судьба — все выдержит она.

1. Поэты Пушкинской поры

Как бодро, весело звучало —
Поэты Пушкинской поры!
Родной поэзии начало,
Кипучей юности дары,

Вся эта Пушкинская буря
Блистала золотом лазури
И сердце Пушкина сильнее
Других, что рядом, билось в ней!

2. Жуковский

Добрее он или мудрей
Других, но чувства в нем святые:
Он воспитатель двух царей —
Литературы и России.

3. Крылов

В одной не так уж толстой книжке
Сошлись лягушки, рыбаки,
Ослы, медведи и мартышки,
Разбойники и мужики.

Тут Моська, Лебедь, Рак и Щука,
Тут Тришка и Демьян с ухой, —
Все для того, чтобы наука
Как жить — не сделалась сухой.

Чтоб в полусказочном обличье
Живее басенка была, —
Чтоб как Евангельская притча
Вернее на душу легла.

4. Тоголь

Россия издали видней —
Там представляется неложно
И сколько доброго есть в ней,
И сколько быть ему возможно,

И как Животворящий Крест
Пути откроет всем сословьям —
И Русь до самых дальних мест
Духовным процветет здоровьем,

Всё всем сказать! И если Бог
Благословит нас всех в дорогу, —
Я первым выйду за порог
С душой, внимающей лишь Богу!

5. Лермонтов

Он в отрочестве зло постиг —
Оно его страшилось взгляда,
И Богом дан ему был стих,
Бичующий все силы ада.

Он вызвал Демона на бой,
Разоблачил его коварство,
При жизни всей своей судьбой
Пройдя бесовские мытарства.

Венок близким моей душе деятелям культуры

Любовь и вера были с ним
На краткой жизненной дороге, —
Да, он любил и был любим,
Но счастье видел только в Боге.

6. Азыков

Дерпт сокрушил его здоровье,
И вот волжанин на мели, —
Ни молоком уже, ни кровью
Его ланиты не цвели.

Но зря он пил чужие воды,
Вдыхая пыль чужих дорог,
Напрасно он проездил годы —
Хвастливый Запад не помог.

Зато каким здоровым цветом
Его поэзия цвела!
Во всем, так звучно им пропетом,
Святая наша Русь жила.

Москва Языкова любила,
Подхватывая каждый стих,
Особенно славянофилы
В ночных собраниях своих.

7. Иван Козлов

Ослепнув, стал Козлов поэтом,
Душа его небесным светом
Озарена была в тот час,
Как свет в очах его угас.

Затем утратил он движенье, —
Но Бог открыл ему с тех пор
Весь богосозданный простор,
И даль и высь в воображеньи.

Не видя, пел он красоту,
И всею силой вдохновенья
Он до последнего мгновенья
Душою предан был Христу.

Не знаменит сегодня он,
Но не ржаветь же золотому, —
И кто не подпоет родному
«Вечерний звон... Вечерний звон...»

8. Ростопчина

Ростопчина неуловима,
Но как талантлива она!..
При жизни Пушкиным хвалима,
Вниманьем всех окружена, —
Сдружилась с Лермонтовым близко
В салоне у Карамзиных
И в стихотворной переписке
Сердечный отзвук был у них.
Но дело все-таки не в этом —
Была ей чуткая дана
Душа, и истинным поэтом
Живет в веках Ростопчина.
Она москвичка, патриотка,
Русь для нее не звук пустой, —
О ней она молилась кротко
Перед иконою святой.
Ей мило Вороново было
И, покидая скучный свет,
Она в деревне находила
Все то, чем может жить поэт.

9. Шишков

Он, старовер и корнеслов,
Как критика его честила,
Но Пушкин понял, что Шишков —
Патриотическая сила.

Ведь он в двенадцатом году
Был автор манифестов царских
И словом галльскую орду
Бил не слабей полков гусарских.

И вновь французы — в языке
Родной литературы русской, —
Слова чужие, и в строке
Налет жеманности французской.

Напомнил нам он о церковно-
Славянском языке родном, —
О нашем достоянье кровном,
Где все сокровища найдем.

10. Аксаков

Не сыновья-славянофилы,
Не театральные дела, —
В его душе от Бога сила
Таланта редкого была.

В те дотургеневские годы,
В Абрамцеве, на склоне лет,
Рисуя жизнь родной природы,
Он в прозе чистый был поэт.

Уженье рыбы и охота,
Природных сил круговорот,
В полях крестьянская работа
И всё, что в памяти живет, —

И лучшая из книг о детстве,
Где под Багровым был он сам, —
Вот драгоценное наследство
Его, завещанное нам.

11. Глинка

Мои сердечные поминки
О самом близком давних дней
Не могут обойтись без Глинки,
Без музыки его верней.

Конечно, много в ней искусства,
Что с неба благословлено,
Но больше веры, думы, чувства, —
В ней наше все заключено.

Любые добрые движенья
Души, молитва, размышленье,
И песнь, и пляска в добрый час —
Все, все он высказал за нас.

Мы вниз летим — он тянет в гору,
И мы в нем чувствуем опору,
И вот, взойдя на высоту,
Мы вместе молимся Христу.

12. Авраам Норов

Ему оторвало в сраженье ногу
Ядром французским при Бородине.
Он был всегда душою предан Богу —
В дни счастья, в горе, в мире, на войне.

Испытывала жизнь его жестоко, —
Он стал вдовцом и потерял детей.
Но он по странам Ближнего Востока
Потом немало исходил путей.

То был Египет и Земля Святая,
Где жизнь кипела первых христиан, —
Быт, древность, языки Востока зная,
Он написал портреты этих стран.

Пять книг, забытых понапрасну ныне, —
А в них его рисунки — все святыни,
Очерченные мастерским пером, —
Ну как не помянуть его добром.

13. Куреевский

Всё с «Европейцем»... Это путь не тот,
Не так должна ценима быть Европа, —
Мы света ждем... Напрасно! Там идет
Сокрытый труд под нашу жизнь подкопа.

Кант, Гегель, Фихте Запад увели
От Бога в матерьяльную стихию,
Мы ж твердо помним то, что обрели, —
Заветные предания России.

Без Православия нет правды на земле —
Вот философия единственного рода,
Без Православия проводят жизнь во зле
Не люди уж, а целые народы...

Вот Оптиная — то университет!
И лучший для России может стать, —
Благословенье, исповедь, совет —
Все дорого от Оптинского старца.

14. Никитин

Сквозь мрак нищеты и труда,
Сквозь быт, где все было убого,
Пробился он и навсегда
Певцом стал России и Бога.

Благою была его часть,
Хотя и болел он при этом, —
Он умер нестарым, склоняясь
В постели над Новым Заветом.

15. Тонгаров

Со всеми и немного в стороне,
В литературе и как бы над нею,
Он размышлял и дольше и живее,
Чем сочинял, и был аскет вполне.

Не испытал он жизненных разломов,
Но все же зря писали про него,
Что он и есть Илья Ильич Обломов,
Ленивый барин, больше ничего.

Да и «Обломова»-то со вниманьем надо
Читать, там вовсе не о лени речь, —
Там между веком и душой разлада
Картина, там прогресса тяжкий меч

Пытается отсечь духовные заветы
От русских душ, живущих по Христу,
В Обломове мы видим много света,
Омытую страданьем красоту.

16. Шишкин

Этюдник на плече, в болотных сапогах,
С внимательным, спокойно-чутким взором,
В рассветный час он шел сосновым бором,
Где солнце загоралось на стволах.

Он как отшельник Божий был здесь свой,
Никто как он не понимал растений, —
Лес для него был книгою живой
Таинственных глубоких откровений.

И лишь его художнический взор
В глухом бору в день зимний или летний
Коры сосновой золотой узор
Мог прочесть до черточки последней.

Сосновый воздух и болотный пар
И звон ручья, бегущего в овраге,
Цветы, коряги, мхи — все Божий дар
Его холсту или его бумаге.

17. Васильев

Был не годами умудрен
Васильев — то была природа, —
От Бога яркий гений — он
Всего жил двадцать и три года.

И старший друг его Крамской
Искусству отрока дивился,
И Третьякову дар такой
Без рассужденья полюбился.

Но чем так трогал он сердца?
Не тем ли, что в его пейзаже
Святая Русь жила и даже
Дыханье веяло Творца?

Он в живописи был поэт —
Остался им он и в страданьи,
И светит нам из мирозданья
Души его приветный свет.

18. Майков

Как разнообразен поэт
И где его мысль не летала?
Казалось пределов ей нет —
Не выдохлась и не устала.

Вот древность всех стран и веков,
Вот жизнь современного мира...
На песни чужих берегов
Отзывчива Майкова лира.

Но что задушевней всего
В стихах виртуоза-поэта?
То Родина, вера его,
Что отблеском русским согрета.

19. Рачинский

Богданов-Бельский: «Устный счет», —
Посмотришь — как не умилиться?
Смышленный маленький народ
Сосредоточен, строги лица...

В рубахах с поясом, в лаптях,
Они, крестьян окрестных дети,
Не застревали на азах,
И не терялись, трудность встреча...

Рачинский удивлялся им, —
Как чутко и с каким терпеньем
Они наукой и святым
Церковным занимались пенем.

Та школа в Татеве-селе
Из тех, что ныне мы не встретим,
Тогда на русской был земле
Царь добрый — Александр Третий.

20. Калининков

Не скажешь о музыке словом,
Когда композитор исторг
Из сердца в звучании новом
Волненье, печаль и восторг.

Там есть задушевное пенье,
Дыхание русской земли,
Где русских людей поколения
Кресты своих судеб несли.

И мы в этой музыке — дома,
И сколько в ней Божьих чудес:
Молитва при грохоте грома
И рожь под лазурью небес.

И сколько веселого шума
В лесу, на земле и в воде;
И дума, глубокая дума
О жизни и Страшном Суде.

21. Фет

Стих часто не мастеровит
И рифм глагольных слишком много,
Но общий облик говорит,
Что у поэта дар — от Бога.

Вот музыка, вот жизни след,
Вот красота, любовь, природа,
Вот грусть и радость... словом Фет —
Весна, поэзия, свобода.

22. Чернов

Сначала бытия осколки,
Смешные реплики, затем
Пошли совсем другие толки,
Начался круг серьезных тем.

Он в жизни, этой страшной бездне,
Искал любви и красоты,

Но чаще находил болезни
Неверия и пустоты.

Но за смешной картиной быта,
Да и трагической равно,
Как много светлых мыслей скрыто,
Прекрасного отражено!

Нет, не утратят интереса
Для нас, всегда свежо звуча,
Рассказы, повести и пьесы —
Труды писателя-врача.

23. Левитан

Пойду я в Саввину слободку
Или поеду в тихий Плёс,
Туда, где солнце светит кротко
Сквозь листья трепетных берёз,
Пройду ль Владимирской дорогой,
Где дышит русским духом ширь,
Иль в тишине заката строгой
Пойду молиться в монастырь;
Везде, везде ты, Русь Святая —
Там, где над озером погост,
И там, где осень золотая,
И там, где ночь в сиянии звезд;
Широкий луг, изгиб речушки,
Соломой крытые избышки, —
Весь этот мир нам Богом дан, —
Ему был верен Левитан.

* * *

Вот мой помянник, — с детских лет
Я узнавал их понемногу, —
Был ими в стужу обогрет,
Молился вместе с ними Богу;
Они душе моей родня,
Она их неоплатный данник...
И, наконец, прошу меня
Простить за краткий мой помянник.

Июль-август 2005 года.

Список сокращений

ГЛМ — Государственный литературный музей

ГПБ — Государственная публичная библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (Санкт-Петербург)

ИРЛИ РАН — Институт русской литературы (Пушкинский дом) Российской Академии наук

НИОР РГБ — Научно-исследовательский Отдел рукописей Российской Государственной библиотеки

ОР ГМТ — Отдел рукописей Государственного музея Л.Н.Толстого

РГАЛИ — Российский Государственный архив литературы и искусства (Москва)

РГБ — Российская Государственная библиотека

РГИА — Российский Государственный исторический архив (Санкт-Петербург)

ЦАК МДА — Церковно-археологический кабинет Московской Духовной Академии

ЦМиАР — Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева

Оптинский альманах

Выпуск 2

Подписано в печать 11.03.2008
Формат 60х90/8. Бумага мелованная.
Печать офсетная. Объем 19 печ. л.
Тираж 7000 экз.
Заказ № 477

Издательство Введенского ставропигиального
мужского монастыря Оптиной Пустыни

249723, Калужская обл., г. Козельск,
Введенский ставропигиальный мужской
монастырь Оптиная Пустынь
Тел./факс: (48442) 50-117
E-mail: optina_is@rosmail.ru